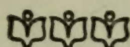

3 1761 08821037 2

Василій Немировичъ-Данченко.
Vasily Nemirovich-Danchenko

Bodruie

БОДРЫЕ-
СМѢЛЫЕ-
СИЛЬНЫЕ-

Изъ лѣтописей освободительнаго движенія.



ПОВѢСТИ, ОЧЕРКИ И РАЗСКАЗЫ.

PREBOY BOOK CO.
411 Grand St., New York.
[191-?]

БОДРЫЕ — СМѢЛЫЕ — СИЛЬНЫЕ.

1.

ВОРОБЬИНОЕ ЯЙЦО.

I.

Пройдешь мимо, — не оглянешься. Совсѣмъ незамѣтная! Блѣдная, веснушчатая, точно воробьиное яйцо. Маленькая, худая, щупленькая; издали — подростокъ. Но глаза, глаза! И теперь, зажмурясь, я вижу ихъ передъ собою. Какъ будто они долго смотрѣли въ морскую глубину, и вся она такъ и отразилась въ нихъ: измѣнчивая, загадочная, тревожащая воображеніе. Что это? Странная мысль чуть намѣчается въ ихъ безднѣ, неожиданное настроеніе — точно въ морѣ движеніе чего-то неяснаго, смутнаго. У нихъ особая жизнь, и, часто случалось, сидитъ она между нами, сѣрою мышкой въ углу притаится и слушаетъ, а всмотрѣться въ ея глаза, — какъ она далека отъ насъ! За тридевять земель, въ тридесятое царство ушла, и свѣтитъ ей тамъ не наше холодное солнце и не блѣдное небо сѣвера надъ нею. Поймаешь ее въ такую минуту, спросишь, — вздрогнетъ и виновато улыбнется. Спала, должно-быть, и видѣла сны, въ которыхъ ничего общаго ни съ нами ни со всѣмъ, что ее окружало. На меня она производила впечатлѣ-

ніе человѣка, старавшагося какъ можно менѣе занять мѣста въ чужомъ ей, непріютномъ, громадномъ мірѣ. А вѣдь такимъ именно открыта безконечность! У стѣны сидитъ, точно въ стѣну врасти хочетъ, по улицѣ идетъ — сторонкой держится. Какъ бы не застить другимъ, не помѣшать, не обидѣть. Это въ обычное время, въ будни, я говорилъ о ея глазахъ. До чего они были неуловимы! Но стоило кому-нибудь заговорить о чужомъ горѣ или о чьей нуждѣ, и вдругъ они вспыхивали и какъ! Вамъ казалось, въ окружающій мракъ сквозь ихъ блѣдный сапфиръ свѣтъ струится. И голосъ, — я любилъ слушать его, — ласкалъ, въ сердце просился. Точно стучалъ: отворись скорѣй. Въ такія минуты не было человѣка, который бы не повѣрилъ ей, отказалъ или не пошелъ за нею. И вся она выростала... Куда дѣвалась маленькая, незамѣтная женщина съ воробьинымъ яйцомъ вмѣсто лица. Вы чувствовали въ ней настоящую силу, смѣющую и умѣющую на все пойти и подчинить себѣ другихъ ради того, что заставляло горѣть ея глаза и вздрагивать голосъ... Разсказывали, что въ одну изъ расправъ клейгельсовскихъ конныхъ черносотенцовъ до-плевенскаго періода она, эта маленькая женщина, когда все бѣжало кругомъ, остановилась посреди улицы и сложила руки. Должно-быть, глаза ея жгли, потому что наскакавшая на нее пьяная морда вдругъ опустила нагайку: „Проходи, проходи, барышня! И офицеръ, вѣрно, до нынѣшней своей опричнины, учившійся чему-нибудь, крикнулъ: „Убирайтесь, вы...Шарлота Корде навыворотъ!“ Такъ и обошла ее, не тронувъ, стремительная лава полицейскаго боя.

II.

Была она на курсахъ. Мы познакомились случайно и странно. Шелъ я по набережной. Въ холодную и сырую зиму уже два мѣсяца не показывалось солнце. Бѣлый снѣгъ, сѣрое небо, сизая даль. Все точно обернуто вуалью, контуры сплывались. Кругомъ пятна, а не силуэты. Въ полутонахъ карандашемъ намѣчено и намѣченное полустерто. Блѣдныя лица тусклыхъ людей. Бродишь среди призраковъ, и вся жизнь кажется такою же призрачной. Чуть проступитъ и, не успѣвъ опредѣлиться, поблекнетъ. У Николаевскаго моста, вижу: прислонясь къ периламъ, безсмысленно оглядываетъ всѣхъ совсѣмъ зеленый рабочiй. Такой, какихъ у насъ больницы послѣ тифа выпускаютъ на улицу. Подлѣчили, и ступай себѣ умирать на всѣ четыре стороны, — полная свобода, никому до тебя дѣла, какъ до чужой собаки. Подъ глазами подтеки, исхудалъ весь, взглядъ блуждающiй. Губы бѣлыя, и стянуло ихъ вверхъ и внизъ, такъ что зубы оскалились. Точно онъ улыбается. А ужъ чему ему улыбаться! Сотни мимо прошли. Кто посмотрѣлъ, тотъ брезгливо посторонился. У каждаго своя бѣда на дворѣ, куда ужъ до чужой. А у кого рука потянулась подать, — деньги подъ шубой. Не распахиваться же. „Еще инфлуэнцу схватишь", подсказываетъ подлая осторожность, какъ червякъ спрятавшаяся въ сердцѣ. Да и толстая теплая перчатка мѣшаетъ мелочь нащупать. Много вѣдь есть оправданiй для кожаныхъ душъ... И вдругъ неожиданное, обращенное ко мнѣ:

— Послушайте, у васъ есть деньги?

Смотрю: маленькая, худенькая женщина, веснуш-

чатая, только глаза у нея, назло этому тусклому, склизкому дню горятъ. И такъ, настойчиво, властно на меня направлены, что мнѣ даже и страннымъ ея вопросъ не показался.

— Есть, а что?

— Я такъ и знала. У меня нѣтъ, а то бы я къ вамъ не обратилась. Вотъ его изъ госпиталя прямо на тротуаръ вытолкнули. На холодъ и голодъ. Съ утра бродитъ, дѣваться некуда.

— Точно, что... — хрипѣлъ зеленый парень. — Городовой и тотъ... Не беретъ... Куда, говоритъ, мнѣ такого... Коли бы ты укралъ что... или господина обидѣлъ... Ну, тогда въ тепло тебя...

И столько силы и власти, именно силы и власти, было въ голосѣ этой маленькой женщины, что рядомъ „не человѣкъ, а нарочно" скуластый, румяный, крутой, шуба кибиткой, ноги — быки быками, хоть на нихъ мостъ утверждай, — выстоятъ, тоже будто изнутри освѣтился глубокимъ чувствомъ.

— Что жъ деньги... Деньги пустое. Легче всего: подалъ грошъ и прочь побѣжалъ. Куда онъ съ деньгами-то опрокинется. Ему пріютъ нуженъ.

— Вотъ вы бы его пріютили! — рѣшительно проговорила она.

— Да ужъ видно, что такъ, мать-командирша. Ишь ты,какая побѣдоносица. Тебя и не послушать нельзя! Даже удивительно.

Подозвалъ извозчика.

— Ну, парень, какъ тебя. Гайда ко мнѣ. Тамъ будетъ видно, къ чему тебя потомъ приставить. Ты за эту самую даму Бога молить долженъ.

И вдругъ осѣкся.

— А паспортъ есть?...

— Вотъ, — полѣзъ было тотъ за пазуху.

— Въ тюрьмѣ не сидѣлъ?

— За што?

— Про то начальство знаетъ... Ну, садись, садись. Гость будешь.

III.

Толпа разошлась, мы остались одни, и вдругъ вмѣсто „побѣдоносицы“ вижу смущенную, растерявшуюся дѣвушку. И глаза потухли, и сама не знаетъ, что ей дѣлать. Потопталась-потопталась.

— Я васъ не поблагодарила!

— За что?.. Я самъ радъ.

— Нѣтъ, такъ...

И потомъ вдругъ, не прощаясь, повернулась и быстро-быстро пошла на Николаевскій мостъ къ Васильевскому острову. Я посмотрѣлъ ей вслѣдъ, — колышется вся. „Трость вѣтромъ колеблемая“. Сила-то, видимо, вся въ душѣ, а оболочка у нея, у души этой, куда какая непрочная! Дунешь, — съ мѣста сорветъ. — „Странная“, подумалъ я, и скоро забылъ о ней, да какъ-то опять новый случай свелъ насъ вмѣстѣ. Съ Невскаго валила толпа, возбужденная, необычная. Равнодушнѣе петербуржца вѣдь никого нѣтъ: не люди мы, а какія-то спиритическія проявленія. А тутъ точно ожили. Незнакомые говорятъ между собою, и, видимо, даже обычнаго страха нѣтъ у нихъ. „Чортъ возьми, хоть разъ крикнуть отъ всей души“. Вѣдь все-таки живы, — этакъ отъ вѣчнаго молчанія грудь разорветъ или задохнешься. Смотрю: между ними мое веснушчатое, воробьиное яйцо, и тоже вся въ порывѣ, въ стремленіи куда-то, и, видимо, сдержаться не мо-

жетъ. Погрози ей самъ бронзовый Петръ съ своего монолита, — она языкъ не остановитъ. Сильнѣе ея самой это. Я шелъ рядомъ. Какой-то старый генералъ отечески ей совѣтуетъ:

— Ну, что изъ этого выйдетъ — ну, ты сунешься, толку не добьешься, только сама пропадешь..

А она ему:

— Такъ разсуждать нельзя. Если на каждомъ шагу оглядываться да за шкуру дрожать, такъ лучше не жить. Вѣдь не устрицы мы, на самомъ дѣлѣ... Люди — братья. Одного ударь — сосѣду должно быть больно. Другъ за друга, а Богъ за всѣхъ. И потомъ, кому же за правду, какъ не молодымъ? Если мы теперь пріучимся молчать да терпѣть, — нечего сказать, — хороши потомъ будемъ. Кладбище выйдетъ!.. А о томъ, что „пропаду", — не бойся, дядя... Вездѣ солнце и люди. Ну, что со мной сдѣлать могутъ? Головы не сорвутъ... И повѣрь мнѣ: куда ни кинь, я на своемъ мѣстѣ и нужна буду.

— Такъ-то такъ! — грустно проговорилъ старикъ.

Должно-быть, въ свое время тоже вѣрилъ и волновался, да годы взяли свое! „Пошлый опытъ — умъ глупцовъ" если и не убилъ въ немъ человѣка, то, во всякомъ случаѣ, связалъ его по рукамъ и ногамъ. И невдомекъ ему было, что время шло, и новыя поколѣнія неутомимо двигались впередъ, благородно жертвуя собою. И въ то время, какъ и его прошлое коечто сдѣлало для будущей побѣды, онъ пересталъ на нее надѣяться и весь погрузился въ меланхолическій покой... Моя хата съ краю! А этотъ край давно ужъ впереди, и отъ нея цѣлые ряды новыхъ хатъ вытянулись Богъ знаетъ куда. Пусть люди далеки еще отъ вѣчныхъ созвѣздій свободы и братства, но уже не жмурятся, глядя на нихъ. Такъ же мучится и голо-

даетъ рабочій, но не поставляетъ мѣщанскому хомуту выносливую шею. Ворчитъ и сжимаетъ кулакъ... Скоро подыметъ и ударитъ! Что останется тогда отъ сытой подлости и насильнаго благополучія? Ото всего, что свинымъ саломъ покрылось и щетиной обросло! Въ слякоть рухнутъ, и памяти не будетъ!

IV.

И кругомъ этой дѣвушки шли такіе же молодые бойцы, только посильнѣе ея. Только что пережили ужасъ безсмысленной расправы. Вонъ у одного шрамъ поперекъ лица. Кожа вздулась, глазъ вспухъ, и кругомъ сплошной отекъ. У другого рядомъ разсѣчена голова, и кровь, струясь, застываетъ въ густыхъ вьющихся русыхъ волосахъ. Курсистка тоже сейчасъ выскочила изъ ада. Отхаркивается кровью, вся измятая, избитая. Ее опрокинули, и лошадиное копыто — не одно ударило въ ея и безъ того впалую грудь... А бульдожьи всадники видны въ глубинѣ улицы. Они и оттуда грозятся монгольскими нагайками, благо „сегодня" еще принадлежитъ имъ. Что-то скажетъ „завтра" и какъ оно откликнется этимъ палачамъ торжествующей малютовщины. Вонъ молодой студентъ держитъ въ здоровой рукѣ другую окровавленную, и едва идетъ, весь блѣдный, но глаза зловѣще сверкаютъ гордымъ негодованіемъ. Этотъ не забудетъ!.. И тутъ же сторонкой сытые, выхоленные, благополучные, явившіеся на чужой, страдальческій подвигъ, какъ на спектакль, люди торопятся юркнуть въ подъѣзды, въ ворота, въ магазины... Трусость, жалкая приниженность въ глазахъ. „Какъ бы еще теперь намъ но попасть

подъ казачью нагайку". То-то по пухлымъ щекамъ неудобный шрамъ будетъ! А въ глубинѣ другой улицы, поперечной, пьяные (ихъ нарочно поили передъ этимъ!) дворники, — изъ такихъ же замученныхъ мужиковъ, только отъѣвшіеся на столичныхъ хлѣбахъ и оподлѣвшіе въ полицейской муштрѣ, — охватили цѣлый косякъ молодежи и, точно сослѣпу, не думая, тычутъ дюжими кулаками въ живое тѣло, въ одухотворенныя лица, топчутъ упавшихъ сапожищами и, будто мѣшки, выкидываютъ полутрупы въ цѣпкія лапы городовыхъ, ожидающихъ тутъ же свои жертвы. Кругомъ смотрятъ пока еще недоумѣвающіе. Пока! Скоро придетъ время, и они выйдутъ на историческую арену живого и мощнаго протеста. Да и черная сотня насильниковъ и мучителей, пожалуй, совѣсть узнаетъ и обернется въ другую сторону. Неожиданно понесетъ кулаки и сапожища на службу тѣмъ, кого бьетъ сегодня.

— Ишь ты, рвань! — презрительно окликаетъ опухшій и одеревянѣвшій полицейскій бѣдныхъ и плохо одѣтыхъ дѣвушекъ, пробѣгающихъ мимо. Подумаешь, къ какимъ онъ самъ модамъ привыкъ!

V.

Мнѣ всегда смѣшно, когда я слышу: „Помилуйте, какая-то дрянь отрепанная". Парча, атласъ и бархатъ никогда исторіи не дѣлали. Толпу велъ за собой тотъ, кто крестъ носилъ, ну, а на кружевѣ да на дорогихъ мѣхахъ кресту-то, пожалуй, не мѣсто. И вѣдь слѣдуетъ разъ навсегда запомнить: что одни бархатные дадутъ, то другіе же бархатные назадъ отымутъ. Ну, а если

рвань сама взяла, — у нея изъ зубовъ не вырвешь. Крѣпкіе, не вставленные. Умѣютъ держать. Кабы у Петра Великаго были не мозолистыя рабочія руки, едва ли онъ сдѣлалъ бы что-нибудь, и Россіи долго бы еще оставаться ветхозавѣтною Москвою съ бѣлобрюхими боярами да оголтѣлою опричниной. Моя незнакомка, впрочемъ, „рванью“ назваться не могла. Это тоже ея особенность. Носила скромныя сѣренькія и черныя платья, застегивавшіяся подъ самую шею. Не было на ней никакихъ украшеній, да зато и грязь тоже отсутствовала. Сама на себя кроила и шила, и все на ней хорошо сидѣло, такъ что, когда я ее встрѣтилъ на какомъ-то литературномъ вечерѣ, она произвела на меня впечатлѣніе дѣвушки, привыкшей къ обществу и одинаково легко чувствующей себя повсюду. Мы сидѣли рядомъ. Она не бѣсновалась, въ оваціяхъ не участвовала, даже съ нѣкоторымъ смѣшливымъ удивленіемъ оглядывалась, на раскраснѣвшихся растрепъ, до поту грозившихся пѣвцу бѣлыми платками. Она сама меня вспомнила и, смущенная, назвала себя.

— Я тогда къ вамъ слишкомъ ужъ...

Но, вѣрно, сейчасъ же ей самой стало досадно: „съ чего - де я это...“

— А, впрочемъ, вы сами согласитесь, вѣдь на хорошее, доброе дѣло нужно прямо требовать. Да? Вѣдь если стѣсняться да раскланиваться, ничего и никогда не достигнешь. Правда?

Такъ она это сказала, что у меня въ душѣ вдругъ поднялось къ ней какое-то нѣжное, братское чувство. Захотѣлось погладить ее по головѣ, обласкать... Этакія есть хорошія большія есрдца, не разглядишь только ихъ сразу. Все они гдѣ-то хоронятся подъ спудомъ, точно золотая жила въ невидной, сѣрой каменной породѣ. И эти „золотыя жилы“ именно въ такихъ

сѣренькихъ, невидныхъ. Не замѣтивъ, пройдешь мимо — какъ около горы, гдѣ хоронятся настоящія сокровища.

VI.

Жила она въ далекой Василье-островской линіи, на третьемъ дворѣ. Вмѣстѣ съ нею въ одной и той же комнатѣ еще три курсистки. Когда я къ нимъ зашелъ, не было мѣста протиснуться между кроватями. Пришлось сѣсть на первый табуретъ у дверей. Ужъ именно — въ тѣснотѣ да не въ обидѣ!

— Будьте какъ дома! — смѣялись мнѣ навстрѣчу. — Не правда ли, у насъ уютно? А? Какъ въ коробкѣ съ сардинками. Иногда, впрочемъ, къ намъ приходятъ еще ночевать подруги, которыя безъ квартиръ. Тогда у насъ еще уютнѣе... и веселѣе...

Этому „веселѣе" я отъ души повѣрилъ! Дѣйствительно, тутъ скучать не приходилось. Къ стѣнѣ прислоненъ столъ, за которымъ онѣ занимались, пили чай, разговаривали. Надъ изголовьями жидко висѣли платья; бѣлье — въ корзинкахъ: комода негдѣ было бы здѣсь поставить. Единственное окно выходило въ домовый уголъ, и напротивъ, за такимъ же окномъ, вѣчно наклонялись къ своимъ машинкамъ швеи... Лѣтомъ оттуда доносилось однообразное, правильное жужжаніе, точно тысячи пчелъ роились въ тишинѣ неустаннаго рабочаго царства.

— Однако и тѣсно же у васъ! — замѣтилъ я моей новой пріятельницѣ.

— Зато на улицѣ свободно. Надоѣстъ здѣсь, мы

уходимъ туда. Намъ, какъ Богу, весь міръ принадлежитъ... Гдѣ вы такихъ богатыхъ видѣли?

И онѣ засмѣялись.

— Да еще развлеченіе себѣ доставляемъ. У насъ есть Эрмитажъ, музей Александра III, а вы можете похвастаться такой библіотекой, какъ Публичная, а вѣдь она тоже наша? Мы въ ней какъ дома. Вотъ насчетъ ѣды, — это дѣйствительно. Еще не приспособились вполнѣ. Хотя мы тоже утѣшаемся, — примѣняемъ историческія знанія. Не даромъ въ гимназіи учились! Вчера, напримѣръ, у насъ къ обѣду — „Нинъ и Семирамида" — черный хлѣбъ съ колбасой, сегодня къ завтраку — les trésors de Sardanapal — картофель въ маслѣ, а къ вечеру будетъ тотъ же картофель по-гвардейски, т. е. въ мундирахъ. Лѣтомъ у насъ — diner - gala à la Навуходоносоръ, — крапиву варимъ. Зато въ чаѣ себѣ никогда не отказываемъ. Это у насъ называется „Праздникъ у богдыхана" или „Русскіе въ Пекинѣ". Настоящій всеміpный потопъ на три копейки. Сахаръ...но вѣдь онъ вреденъ, а мы за гигіену прежде всего! Отъ него полнѣютъ, развивается діабетъ, заводятся мыши и, кромѣ того, поощряется воровство. Шурка такъ его любитъ, что способна цѣлый фунтъ съѣсть тайкомъ, когда мы спимъ! Товарищескаго-то! Даже отъ взлома не прочь! Зато она принадлежитъ къ философской школѣ Діогена. Разъ лѣтомъ недѣлю въ бочкѣ жила!

— Шурка, хорошо въ бочкѣ?

— Воздуху вдоволь.

— И небо всегда видно. Настоящая оперная декорація. Кошачьи сопрано на крышѣ и собачьи басы внизу. Иногда гастролеръ - дворникъ вдали покажется. Такъ и ему невдомекъ, что въ бочкѣ живая душа прячется. Точно изъ ложи любуешься.

— У нея мать богатая. Купчиха... Всѣмъ жалуется: „Я ей на этотъ развратъ, на курсы-то, благословенія не давала!“ И на иконѣ своего ангела — Варвары великомученицы — поклялась: ни копейки, пока Шурка не вернется домой... на перины сонныхъ предковъ, съ медалями — къ толстопузымъ самоварамъ и приживалкамъ въ распашныхъ капотахъ.

VII.

Оборачивались онѣ втроемъ на пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ. Даже по очереди бѣгали на галерку въ оперу.

— Да вѣдь у васъ дядя здѣсь, неужели онъ не помогаетъ? — спросилъ я у веснушчатой „барышни“.

— У него своя семья самъ-девять, а пансіону всего двѣ тысячи. Правда, разъ въ недѣлю мы скопомъ къ нему изъ нашей ѳиванды ходимъ обѣдать. Но это ужъ развратъ! Помилуйте, кулебяка, осетрина, ростбифъ. Пожираемъ трупы и мысленно краснѣемъ предъ Толстымъ. Даже пьемъ по рюмкѣ мадеры, да еще какой — „флотской“! Что вы скажете? Это вѣдь пьянство? Да? Потомъ шесть дней живемъ воспоминаніями. Перевариваемъ это... Все-таки, скорѣе, чѣмъ, напримѣръ, боа, — тому десять надо!

— А уроки?

— Рѣдко случаются. Да вѣдь мы еще обезпечены. А есть и такія, которымъ неоткуда и нечего получать. Мы имъ уступаемъ. Вы насъ видите теперь, при счастливыхъ условіяхъ. А то и такъ — ужъ говори-

ла — въ нашу комнату еще подругъ набьется. Подвое въ кровати да между кроватями, на бѣльѣ и на шубахъ. Весело, цѣлыя ночи смѣемся. Съ голоду-то не спится — значитъ, болтать нужно. Мечтаемъ вслухъ, воображаемъ себя знаменитыми пѣвицами, получаемъ тысячи по три за выходъ, къ нашимъ ногамъ летятъ букеты, брильянты... Или пишемъ такіе книги, которыя сейчасъ же нарасхватъ. На всѣ языки, и человѣчество намъ удивляется! Обѣдаемъ съ шампанскимъ, — меню восемъ блюдъ. Даже споримъ, что выбрать: фаршированную пулярку или рябчиковъ? Разъ Шурка, вонъ, изъ-за рябичка разодралась со мной, изъ-за фантастическаго! Я говорю: битый, а она: давленый; я: въ кастрюлькѣ, а она: всегда жарятъ... Едва растащили, потому что она съ голода вцѣпиться въ меня хотѣла. До вечера не разговаривала — дулась. А вѣдь такъ какъ жизнь — иллюзія, то мечта, пожалуй, — настоящая дѣйствительность. И выходитъ, что намъ еще завидовать могутъ другіе. А то мы народныя столовыя открываемъ, голодающія губерніи кормимъ. Такіе обѣды устраиваемъ имъ! Шурку третьяго дня приглашали пѣть въ Сѣверную Америку, сто тысячъ долларовъ въ сезонъ и дюжина негровъ въ придачу!

— Негры зачѣмъ?

— Какъ?... А отпрягать лошадей изъ кареты и на себѣ возить для фурору. Правда, на другой день у насъ даже гвардейщевъ въ мундирѣ не было, но она такъ устала отъ овацій, что ей и ѣсть не хотѣлось. Все увѣряла, что какихъ - то омаровъ à la l'americquain переваривается. Ужасно, говоритъ, тяжелая пища! Вотъ только одно скверно, — система предостереженій!

VIII.

— Вы думаете только для васъ, для писателей, есть предостереженія?.. Какъ бы не такъ. Наша хозяйка — своего рода „управленіе по дѣламъ печати“. Запоздаемъ мы на три дня уплатить за комнату, — первое: безъ самовара. Еще три дня, — второе: вынимаются вьюшки изъ печки, и перестаютъ ее топить... Въ трубахъ вѣтеръ, что твоя Шурка выть начинаетъ. Такой діапазонъ! Вы не думайте, что это печка такая на видъ несуразная. Она разъ даже какъ колоратурное сопрано запѣла... Чуть не трехчетное la bemol взяла. Шурка отъ зависти даже голову себѣ подушкой накрыла. А мы всѣ аплодировали. Еще такой же срокъ, — третье предостереженіе: на ворота вывѣшивается билетикъ, и цѣлые часы, пока свѣтло, сюда ходятъ милостивые государи смотрѣть „комнату съ мебелью“. Каково намъ?! Должны сидѣть смирно, пока Анна Васильевна живописуетъ имъ: „Вотъ, пустила ученыхъ - то, а ученые не платятъ... Хороши ученыя, какъ, господинъ, по-вашему? Я, вдова бѣдная, только этимъ и кормлюсь, — каково мнѣ?“ И сейчасъ же давай сморкаться въ подолъ. Значитъ, плакать собирается. Вѣдь это, собственно, предразсудокъ, — почему именно ученые должны платить?

И пока она мнѣ разсказывала, — въ каждомъ ея словѣ слышалось что - то веселое, бодрое. Никакая бѣда не страшна тому, кто надъ нею умѣетъ такъ смѣяться. А этого - то богатства сколько угодно было у моихъ новыхъ знакомыхъ. И, навѣрно, несмотря проголодь, онѣ вовсе не чувствовали себя несчастными.

Напротивъ, каждая подруга, сосѣдка, знакомая со своимъ горемъ и затрудненіемъ, бѣгала къ нимъ, зная, что эти изъ послѣдняго подѣлятся, а выручатъ. И не одно только лѣнивое добро онѣ оказывали другимъ. Деньгами - то отбояриться, когда онѣ есть, — самое легкое! Швырнулъ нѣсколько рублей — и самъ себя Богъ вѣсть какимъ героемъ почувствовалъ. Хоть сейчасъ въ райскій вѣнецъ. А вѣдь тебѣ эти нѣсколько рублей легче, чѣмъ мнѣ старуху черезъ Невскій въ самый разгонъ подъ руку провести! На лѣнивое добро и кожаныя души способны. На- -де, возьми, не нудь, и безъ тебя тошно, вчерашній обѣдъ въ брюхѣ камнемъ лежитъ и глаза слипаетъ.

Хозяйка швейной мастерской, напротивъ, черезъ дверь, скверно обращалась со своими мастерицами. Тѣ жаловались „ученымъ дѣвицамъ", плакали у нихъ, и Шурка Аристова въ первый же разъ, какъ у сосѣдей начался скандалъ, сбѣгала за дворниками, послала за полиціей, настояла на протоколѣ и торжественно потомъ у мирового свидѣтельствовала за угнетенную невинность!

— Вамъ какое дѣло? — добивалась отъ нея хозяйка. — Не васъ я трепала?

— А такое, — если вы ихъ бьете, мнѣ больно.

Много зла на свѣтѣ отъ всей той же подлой пословицы: „Моя хата съ краю, ничего не знаю". Сколько надо было выстрадать, какъ принизиться, обездолѣть, чтобы придумать такую „хату".

И вѣдь ихъ, этихъ отшельницъ василье-островскихъ, на все было взять.

Одна ухитрилась въ дворницкой три ночи провести. „Младшій" заболѣлъ, и его сразу въ больницу не приняли. А онъ хозяйкѣ наверхъ дрова носилъ и подкупилъ веснушчатую дѣвушку тѣмъ, что книги все

у нея бралъ. Какъ онъ слегъ — она къ нему, и отходила его. На одно жаловалась: ужъ очень въ дворницкой кисло пахнетъ, и тараканов пропасть. „А таракановъ я терпѣть не люблю!“ Съ тѣхъ поръ благодарный дворникъ по-своему выражалъ ей свою признательность: воровалъ дрова у богатыхъ жильцовъ и подтапливалъ ея печку, таскалъ къ ней слѣпыхъ котятъ.

— Вамъ - де для науки, потрошить.

— Да я — не медичка!

— А ужъ въ это я не вхожу.

Даже до того дошелъ, что служебнымъ тайнамъ началъ измѣнять: бывало, назначатъ его въ нарядъ, — „студентовъ бить“ онъ сейчасъ къ своей барышнѣ.

— Вы ужъ сегодня, сдѣлайте мнѣ такую милость, не выходите.

— А что?

— Да неравно ушибу.

— И не стыдно?

— А мнѣ чего стыдиться. Развѣ я своей волей? Начальство. Оно и въ отвѣтѣ. Кабы по совѣсти, да по душѣ, такъ я куда охотнѣе нашего пристава подъ это мѣсто! — тыкалъ онъ себя въ животъ. — Такъ бы его ковыркнулъ, сдѣлайте одолженіе. Либо околоточнаго... этакого пса, прости Господи! Ночью заснешь въ воротахъ, — штрафъ. А какъ не заснуть, коли все тихо и въ шубѣ согрѣешься. Или въ морду норовитъ, вотъ сюда! — показалъ онъ мѣсто, гдѣ подъ носомъ у него должны были расти усы.

— И ты взаправду бьешь?

— А то какъ. Надъ нами тоже старшой, слѣдитъ. А потомъ у самого кровь-то загорится. Разъ я тоже налетѣлъ на армянина. Тотъ, меня такъ по затылку... Долго болѣло. Кабы не по-настоящему работать, не

усидѣлъ бы. Приставъ сейчасъ домохозяину: вашъ дворникъ Малышевъ по службѣ не усерденъ, предлагаю его отставить, — ну, и ступай въ Вяземскую лавру.

IX.

Новая знакомая оказалась чуть ли не моя землячка. Родилась она и выросла въ Тифлисѣ. Родные могли дать ей не больше пятнадцати рублей въ мѣсяцъ, да и то не всегда, — но на дорогу своей гимназисткѣ сбиться были не въ состояніи. Татьяна Петровна сама мнѣ разсказывала, — тогда путь этотъ дорого стоилъ. До Владикавказа по Военно-грузинской, да оттуда въ Петербургъ по желѣзной. Новыхъ тарифовъ еще не было.

„Кидалась я, кидалась во всѣ стороны. Вамъ случалось видать кошекъ, когда имъ хвостъ въ расчелку сунутъ. Такъ и я. Учиться хотѣлось. Тянуло къ книгѣ и свѣту. Жизнь безъ нихъ не мила, а гдѣ взять денегъ? Пѣшкомъ тоже не уйдешь, — слишкомъ далеко. Вдругъ слышу, горничная пріѣзжей актрисѣ нужна. Возвращалась черезъ Харьковъ, Одессу и Кіевъ. Гостролировала. Та, которую взяла съ собой, заболѣла. Я — къ ней. Ничего, понравилась... Главное дѣло, что ужъ очень я собой нехороша.

„— Я, говоритъ, милая, терпѣть не могу красивыхъ. У нихъ другое на умѣ. Да и кромѣ того, у меня много молодежи бываетъ... А она мнѣ самой нужна! Ну, а вы душечка, простите за правду, — уродъ-уродомъ!

„Я обрадовалась, — хоть разъ въ жизни мое без-

образіе пригодилось!

„— Принесите паспортъ!

„Утромъ являюсь съ нимъ. Взглянула она и ахнула:

„— Позвольте, вы — дочь полковника?

„— Такъ что жъ?

„— Помилуйте, какъ же это? Я привыкла горничныхъ „дурами“ звать.

„— Да ругайтесь, Богъ съ вами.

„— А вдругъ вы обидитесь, да къ мировому?

„— Не бойтесь, не обижусь.

„— Нѣтъ, право, какъ же это... Я не могу...

„Думала-думала и, наконецъ, надумала.

„— Дайте мнѣ подписку, что вы не станете жаловаться „на дуру“.

„Я такъ ей и написала: „на дуру жаловаться не буду“. Успокоилась и повезла меня. Потомъ добрая оказалась, только ужъ очень шалая! То, бывало, оретъ по пустякамъ, то у меня на плечѣ реветъ и все на какія-то обиды жалуется, или при гостяхъ позоветъ и предлагаетъ:

„— Проэкзаменуйте-ка ее изъ древней исторіи. Она вѣдь куда лучше меня знаетъ этихъ Калхасовъ и Парисовъ съ Прекрасными Еленами. И про „Орфея въ Аду“ училась. Гимназію кончила съ медалью. Кабы не такая рожа (а я вѣдь тутъ же) — ни за что бы ее не взяла.

„А то, бывало, заставляетъ шампанское пить.

„— Мнѣ, говоритъ, не жалко. Хоть облейся. Только мигну, — „подлецы“ сколько угодно новаго навезутъ.

„Она „подлецами“ всѣхъ вообще мужчинъ звала.

„— Который, спрашиваетъ, безъ меня подлецъ заѣзжалъ: бѣлокурый или „шантретъ!“?

„Или:

„— Былъ подлецъ изъ драгуновъ?

— Однако и пришлось вамъ! — изумился я.

— Жизнь вообще не легкая вещь... Даромъ-то ничего не дается. У нея, у актрисы, на это свое наблюденіе было.

„— У подлецовъ, — разсуждала она, — всегда такъ: если онъ въ надеждѣ, такъ тысячи по вѣтру пуститъ, а даромъ гривенника не дастъ.

— Откровенная дама!

— Чего же ей прятаться. Она меня вѣдь за человѣка не считала, и это великолѣпно!

— Почему? — Иначе я бы должна была чортъ знаетъ въ чемъ участвовать. А такъ — какое мнѣ дѣло! Я какъ мой дворникъ. Онъ кулаками „престолотечество" спасаетъ, а я на курсы по копейкамъ сбивалась. Мы оба за начальство не въ отвѣтѣ: Мое всетаки лучше!

X.

— Главное въ жизни, чтобы она была полна, никогда не теряться и ни отъ какого дѣла не бѣгать, — тогда ничего страшнаго нѣтъ.

— А скука?

Она на меня подняла удивленный взглядъ.

— Мнѣ всегда смѣшно, когда наши барыни говорятъ: „некуда дѣваться!" Какая скука? Скука съ жиру. Голоднымъ людямъ скучать некогда. Никакъ всего не передѣлаешь! Если бы въ сутки сорокъ восемь часовъ было, и то жалко спать. Сколько узнать надо, видѣть... Какія книги прочесть, да и

работа не ждетъ, самая простая, безхитростная. Возни-то — локоть къ локтю. Гдѣ же тутъ скукѣ продвинуться? Нѣтъ мѣста ей. Вы знаете, когда я въ первый разъ скуку узнала? Въ театрѣ: чеховскія „Три сестры“ шли. По-моему, какъ онъ геніально этихъ барышень нарисовалъ. А публика-то! Вѣдь она наивно думаетъ: вотъ настоящія героини. Ужъ очень онѣ сыты... Дѣла кругомъ — полонъ ротъ, а имъ некуда времени избыть. Подумаешь, въ какой онѣ просвѣщенной и благоустроенной странѣ живутъ, что имъ и рукъ приложить не къ чему. Кругомъ — невѣжество, безправіе, обида. Кажется, человѣка нѣтъ, у котораго душа бы не болѣла. Если бы бронзовый Петръ могъ заговорить, и тотъ на что-нибудь да пожаловался. Всѣмъ свѣтъ заститъ! Темнота. Маленькій огонекъ зажечь, и то сколько труда надо. Въ душу имъ посвѣтить, чтобы она сама себя узнала. А имъ, чеховскимъ тремъ сестрамъ, еще Москву подавай, — съ трескомъ и блескомъ... Все отчего?? Ужъ очень у нихъ масштабы крупные. Пока большого да великаго дѣла нѣтъ, такъ намъ на малое наплевать! Того и не знаютъ, что на большія и великія дѣла большіе и великіе люди нужны. Да и эти большіе и великіе на маломъ сначала учатся... Я такъ думаю: кто на малое добро не способенъ, тотъ никогда и крупнаго не сдѣлаетъ. Такъ будетъ себѣ заштатнымъ великимъ человѣкомъ жить. Какъ заштатные дьякона есть... Настоящій-то на „Многія лѣта“ горло деретъ, а заштатный стоитъ въ углу и критикуетъ: такъ ли бы еще дернулъ. У меня сейчасъ бы дамы со всѣхъ четырехъ копытъ. И стекла бы вдребезги! Я - де великъ, да для меня великаго дѣла судьба не придумала. Пускай она его создастъ, — ну, и я сейчасъ же ей прошеніе объ опредѣленіи меня на дѣйстви-

тельную службу по великимъ дѣламъ... Отсюда и скука... Вы спросите у нихъ, — кивнула она на подругъ, — когда намъ скучать. Домой-то летишь какъ сумасшедшая, точно сослѣпу. Каждая минута дорога. А прибѣжишь стремглавъ, — не знаешь, за что схватиться. Сколько его, дѣла, въ эти нѣсколько часовъ накопилось. Нѣтъ, знаете, скуки не существуетъ, а есть просто никчемные люди... Какъ мыльные пузыри — полые. Ничего внутри. Ткни булавкой — и нѣтъ его. Ихъ не жалко. Кто любитъ человѣка, тотъ скуки никогда не испытаетъ. И нужда и любовь одинаково спасаютъ отъ нея. Я такъ думаю, что имъ, этимъ чеховскимъ сестрамъ просто нечѣмъ жить было, ни зги въ головѣ, — ну, тогда, разумѣется, или въ петлю, или на шею офицеру! Чего ужъ ничтожнѣе мечтать за двѣсти лѣтъ впередъ! И удивительно, эту-то самую черточку большой и вдумчивый писатель отыскалъ въ обанкротившейся душѣ... Дѣла-то — во всякомъ окнѣ сколько угодно. Только носъ не вороти да не хныкай.

— Какъ нѣтъ... Скука бываетъ, — вступилась Шурка.

— Когда? какая?

— Сама разсказывала, — когда профессоръ Оболѣповъ лекціи читаетъ.

— Такъ и то не скука, потому что, пока онъ капаетъ, я о чемъ-нибудь другомъ думаю.

— Какъ „капаетъ“?

— А такъ, послѣ дождя за окномъ... Капъ... капъ... капъ... черезъ секунду. На десятой каплѣ можно Шуркѣ въ ея челку вцѣпиться.

— Это оттого, что у тебя волоса жидкіе!

— А развѣ я говорю, что густые?

XI.

Дѣйствительно, ей скучать не приходилось. Всюду совала носъ, — касалось ея это или нѣтъ, — все равно. Разъ человѣку было плохо, приходила неожиданная бѣда, — Татьяна Петровна тутъ какъ тутъ. Не разбирала, по силамъ ей это или нѣтъ.

— Лишь бы взяться, а способы потомъ найдешь! Начнешь, и голова иначе работаетъ. Сложи руки, — всякое дѣло покажется съ гору. А въ сущности одолѣть его — не важное кушанье! — говорила она, бодро принимаясь за самыя невозможныя предпріятія.

Большое или малое, — ей было все равно. Какое же это малое, если отъ него кому-нибудь больно. Такъ въ домѣ и знали. Чуть что, — бѣжали къ ней. Хозяинъ звалъ ее „плакальщицей" и „мірскою заступницей".

— Ну, что, мати святая заступница, за кого еще меня ругать пришла?

— Да вы велѣли выгнать сапожника внизу?

— Еще жъ бы! Что я ему — отецъ? Третій мѣсяцъ не платитъ.

— А на четвертый отдастъ.

— Ты, что ль, ему поможешь?

— Не я, мнѣ не съ чего, — а найду... Онъ вѣдь не пьяница, только что у него жена больна. На нее извелъ что было.

— Мнѣ въ это входить нельзя.

Но съ Татьяной Петровной разговаривать было мудрено. На нее резоны не дѣйствовали. Какъ піявка вопьется — хоть съ кровью рви ее прочь! Отъ одной нуды на все согласишься — только отпусти: супъ на

столѣ простынетъ. Во всякое дѣло вмѣшается, и хоть ей колъ на головѣ теши!

— Да вѣдь противъ закона, — убѣждали ее часто.

— Да развѣ если бы это было по закону, — пришла бы я къ вамъ? А пришла, — значитъ, законъ на вашей, а не на нашей сторонѣ.

Хозяинъ, старозавѣтный купецъ, разводилъ руками, пыхтѣлъ, сопѣлъ, ругался, но въ концѣ-концовъ: „Только, чтобъ отъ тебя отвязаться. Вѣдь не уйдешь безъ того?“

— Разумѣется, не уйду. Мнѣ здѣсь покойно. Вотъ сѣла въ кресло, кресло-то у васъ отличное. Ишь, по самую шею ушла! И просижу такъ до вечера.

— Ну, пускай онъ за меня Бога молитъ. Скажи ему, чтобы жилъ... А потомъ насъ въ газетахъ, — кровопивцы-де. Какіе же мы кровопивцы, — совсѣмъ напротивъ, — изумлялся онъ собственному великодушію.

Сапожникъ оставался, а Татьяна Петровна, часто подъ тяжестью второго предостереженія, т.-е. при открытыхъ вьюшкахъ у себя дома, бѣгала во всѣ стороны, гдѣ бы добыть ему денегъ, нисколько не думая о собственномъ горестномъ положеніи.

— Мнѣ легче! — живописала она.

— Почему легче?

— Я еще смѣюсь. А разъ человѣкъ смѣется, ему не такъ трудно.

Не объяснять же ей, что молодость надо всѣмъ смѣется и никакими дубинами, даже придуманными людьми, состоящими на иждивеніи департамента полиціи, юную душу не ушибешь. Поэтому молодость всегда впереди, а за нею, какъ за застрѣльщиками тяжелая пѣхота, мы двигаемся по покрытой ихъ тѣлами въ неравномъ бою дорогѣ. Они и умираютъ-то не какъ мы, не съ натугой и жутью, а съ улыбкой на

устахъ, съ крикомъ „впередъ". Двигался бы міръ безъ нихъ, или застылъ въ китайскомъ благополучіи?

XII.

Бывали случаи, для дѣвицы самые не подходящіе... Внизу кухарка рожать вздумала, — совсѣмъ не вовремя. По барскому приказу гонятъ ее дворники вонъ изъ квартиры чуть не въ шею: „Ступай, куда хочешь. Экую грязь еще разводить!" Сунулась она въ больницу, — не приняли. Полнымъ-полно. Вернулась, а у ея плиты ужъ другая кухарка, какъ Юпитеръ во облакѣ, вся въ пару и чаду вкуснаго варева.

— Ты куда — затопала на несчастную хозяйка.

И сундукъ ея на черную лѣстницу выкинула... Сѣла отставная кухарка на мокрыя ступени и плачетъ... А снизу вверхъ, какъ нарочно, Татьяна Петровна подымается. Цѣлый день по урокамъ бѣгала, устала, хоть языкъ высунь; о самоварѣ точно о царствіи небесномъ мечтала.

— Ты это что?

Та, хмыкая носомъ, давай про бѣду разсказывать.

— Да ты не плачь, толкомъ говори. Не разберу ничего.

— Да чего разбирать-то! — съ отчаянія разозлилась та. — Пока мы здоровы да нужны, — насъ какъ привѣчаютъ, а чуть что... Чѣмъ я виновата? Нешто у ней, — кивнула она на двери утраченнаго эдема, — тоже полюбовника нѣтъ. Только что у нея офицеръ, а у меня — солдатъ. Естество-то одно.

Татьяна Петровна сѣла рядомъ, взяла бабу за

руку, — та и разнѣжилась, и давай ей выкладывать всѣ свои обстоятельства.

— Взяла бы я тебя къ себѣ, да что ты у насъ дѣлать будешь?

— Господь съ вами, какъ же я это въ такихъ черевахъ, да къ холостымъ дѣвицамъ! Нѣтъ, ужъ, должно-быть, что помирать.

И опять залилась слезами.

Подумала-подумала Татьяна Петровна и, не заходя къ себѣ, полетѣла опять на улицу, взяла извозчика и повезла бѣднягу въ пріютъ.

— Не примутъ... Я ужъ была! — сокрушалась та.

— Ладно, увидимъ, какъ они не примутъ...

—А у самой въ головѣ: если и выгонятъ, — не уйду. За хорошее дѣло надо не просить, а требовать, — вотъ и весь сказъ! Пусть хоть скандалъ. Не для себя вѣдь.

XIII.

Главный докторъ только что обѣдать садился съ семьей, какъ вдругъ ему докладываютъ: „Татьяна Петровна Аникѣева по важному дѣлу“. Лакей было не пустилъ ее, да она сама вошла съ больною и воинственно расположилась въ залѣ. Кухаркѣ даже страшно стало, — пальмы кругомъ, картины въ золоченыхъ рамахъ, рояль краснаго дерева. Полъ — хоть смотрись въ него, какъ въ зеркало.

— Барышня, протурятъ насъ.

— А вотъ увидимъ. Еще рукъ такихъ не выросло... чтобы турить!

Вышелъ громовержецъ злой-презлой. Губу выпя-

тилъ, бритый подбородокъ трясется. „Чего вы шляетесь — ступайте въ больницу!“ Татьяна Петровна толкомъ разсказала ему, что въ больницу не зачѣмъ, — оттуда ужъ-де выгнали. А посему она къ нему прямо, и прорви ее при этомъ: „быка-то, говоритъ, надо за рога прямо хватать“. Взбеленился „быкъ“, — кровь увидѣлъ, чуть не на стѣны полѣзъ. Затопалъ, заоралъ. Не говоритъ, а точно безконечность пульверизуетъ слюною. Аникѣева все это выдержала до конца и, когда онъ крикнулъ лакея, вдругъ сама на него: „Скоро же вы позабыли факультетскія книжки и университетскую этику. Чего вы на меня орете? Чего вы брызжете! Я и не такихъ, какъ вы, видѣла... Несчастная больная, отъ одного вашего слова ея участь, вся ея жизнь зависитъ, а вы точно съ цѣпи сорвались. Зобокъ то себѣ набили, — перестали чужое страданіе понимать. Вамъ, разумѣется, не больно. Васъ сквозь сало не прошибешь. А только я вамъ вотъ что скажу. Лакея вы не зовите. Я ее назадъ не возьму, оставлю тутъ въ залѣ. Пусть у васъ рожаетъ, а сама — прямо въ редакцію... Сообщу, какъ просвѣщенные врачи на морозъ умирающихъ выбрасываютъ“. Выпучилъ глаза на нее Зевесъ. Такихъ еще не случалось ему видѣть. Пожевалъ-пожевалъ и про себя горестно вспомнилъ: супъ-то стынетъ, и пирожки слоеные тоже, а онъ до нихъ былъ, передъ Господомъ, великій охотникъ.

— Чего же вамъ надо?

Точно въ первый разъ ее увидѣлъ... Та ему опять всѣ резоны.

— Ну, и экземпляръ вы, я вамъ скажу, — переходилъ онъ на миролюбивый тонъ, крутя носомъ назадъ, откуда слышался стукъ тарелокъ...

— Хорошо Евангеліе помню. Толцыте, и отверзется!..

— Это вы всегда такъ, нахрапомъ?..

— Какъ съ кѣмъ. Кто шкурой да щетиной обросъ, съ тѣмъ иначе нельзя.

Улыбнулся... Ужъ очень ему смѣшно показалось „воробьиное яйцо" въ ея воинственномъ азартѣ.

— Вотъ какъ! Кухарку вашу я сейчасъ прикажу водворить куда слѣдуетъ... А вы воевода Пальмерстонъ, не пообѣдаете ли съ нами? А? Я васъ съ женой познакомлю. Она тоже глаза на васъ разинетъ... Эдакій экземпляръ. Ей Богу, экземпляръ. Библіографическая рѣдкость какая-то... Въ самомъ дѣлѣ, пойдемте!...

XIV.

Аникѣева какъ-то умѣла дѣлаться общимъ другомъ. Застѣнчивая обыкновенно, она, входя въ ражъ, обижалась не за себя, а за обездоленныхъ и измученныхъ, и люди, когда она на нихъ наскакивала, это хорошо понимали, хоть за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ готовы были разорвать ее въ клочья. Что-то было въ ея голосѣ и, главное, въ глазахъ, укрощавшее самыхъ свирѣпыхъ цѣнныхъ псовъ, какіе бы шитые ошейники они ни носили. Призовые бульдоги, и тѣ съ ней пасовали, точно ихъ впервые брало сомнѣніе: Да полно въ правѣ ли я распотрошить ее? Или меня кто-нибудь самого за хвостъ да по мордѣ, по раздвоенному носу самому, палкой". Слишкомъ ли смѣло она къ нимъ подходила, терялись они передъ такою рѣшимостью, или на чужую душу, хотя и заскорузлую, вліяло то, что она никогда за себя не просила, — не знаю. Сама говорила: „Я ничего не боюсь! Чѣмъ

меня испугаютъ, — хуже вѣдь быть не можетъ“.

Есть на людей особая засуха. Горятъ они, какъ хлѣба въ полѣ. Трескается земля, гибнетъ зерно, осыпается колосъ. Вѣтеръ удушливую пыль гонитъ. Чахнетъ жаждущее дерево, умираетъ, не раскрываясь, почка, вовсе не складывается завязь. Синее, знойное, точно огненными стрѣлами, поражаетъ небо томящуюся юдоль, и закуривается подъ ними тоненькими дымками пожелтѣвшее былье. Слабая надежда дождевою тучкою мерещится на горизонтѣ. Приподымется краешкомъ, подразнитъ измученныя поля возможностью воскрешающей свѣжести, и опять сплошная лазурь слѣпитъ глаза, и мается все въ невыносимой жарѣ. И ночи какія! Дышать нечѣмъ. Звѣзды сверкаютъ раздраженно, рѣзко. И онѣ грозятся. Птица, и та молчитъ. Въ жесткомъ бурьянѣ шуршитъ ядовитая змѣя, изъ поднебесья пернатый хищникъ зорко высматриваетъ обезсиленную тварь. Змѣѣ да ему мертвая тишина съ руки. Среди общаго страха и молчанія терзай себѣ добычу, рви живье, — некому тебѣ помѣшать, никого ея крикъ не встревожитъ: своя бы шкура уцѣлѣла, куда тутъ о чужой думать. Штиль въ морѣ, засуха на землѣ, ужасъ въ душахъ, — праздникъ акуламъ, удавамъ да коршунамъ. Въ такую пору крикъ зайца въ собачьихъ зубахъ далеко слышенъ. Всѣ уцѣлѣвшіе зайцы-трусики припадутъ и замрутъ, гдѣ онъ ихъ застанетъ. Уши къ спинѣ, глаза зажмурены, только сердце до боли колотится да въ головѣ свербитъ: „Ой, страшны собачьи зубы!“ Въ воздухѣ бы пылью разсыпаться, въ нору червякомъ уйти, вѣчною теменью окутаться.

И у людей такія же заячьи сердца. И еще подлѣе они зайца: потому, — что зайцу противъ собаки сдѣлать? А человѣку противъ человѣка, коли у него

не рабья душа, — сколько угодно. Авось, неповадно будетъ головотяпамъ Георгіями Побѣдоносцами по всей землѣ разгуливать! Коли не хотятъ шарапы повѣрить, что люди — братья, такъ заставь ихъ понять: сила и у тебя на разбой и у меня на защиту — одинаковая! Только хуже косого зайца теряются люди. До подлости за свой уголъ трясутся и, чтобы съ мягкой подушкой да третьимъ блюдомъ не разстаться, готовы всякой сволочи хвосты лизать! Только иногда имъ по пути такія вотъ Татьяны Петровны встрѣчаются живымъ укоромъ: что это за жизнь, въ самомъ дѣлѣ, когда въ ней, кромѣ трепета, ничего нѣтъ. И стоитъ ли ужъ такъ за нее цѣпляться? Зайцу и Богъ велѣлъ, — малъ и слабъ заяцъ. Куда ему съ собакой или волкомъ справиться. Одна надежда на ноги, на густой соснякъ или на нору, кстати на бѣгу подвернувшуюся ему. Да и не всякая нора во спасеніе. Отъ песьей пасти спрячешся, пожалуй, на лисью наткнешься. Такъ въ вѣчномъ ужасѣ и живетъ, и все-таки каждому новому утру радуется: анъ я цѣлъ еще. Богъ не выдалъ, — свинья не съѣла. А вотъ людямъ такое существованіе въ вѣчной дрожи передъ свиньями какъ будто и не къ лицу. Да еще какимъ людямъ! Я зналъ такихъ, что хоть сейчасъ съ него Колосса Родосскаго или Илья Муромца лѣпи. Природа точно похвасталась ими: посмотрите-де, какого я вамъ на отечественныхъ тукахъ Анику-воина построила. Кулакомъ быка ушибетъ. Рубль согнетъ, кочергу галстукомъ вяжетъ. На атлетическихъ состязаніяхъ рекорды побиваетъ и ходитъ побѣдителемъ. Точно это не зарайскій или новоладожскій дворянинъ, а помѣсь чемпіона съ іокширскимъ боровомъ или черкасскимъ быкомъ. А какъ придетъ на душу такая засуха, — Аника-воинъ первый въ кусты, и съ кастрюльной физіономіи лакъ сойдетъ, и вы-

пученные глаза точно въ щелки спрячутся. А сердце, что у твоего зайца, — двѣсти въ минуту отстукиваетъ, и крикни на него въ такомъ разѣ, — на все готовъ, на кого укажутъ, того онъ и разорветъ, или самъ какъ тараканъ въ щель уйдетъ и только усиками шевелитъ оттуда. Не вовсе-де отъ страха померъ.

XV.

И вотъ въ подобное время „тихаго и мирнаго житія“ любо-дорого встрѣтить Татьяну Петровну. Эту не ушибешь сплошнымъ ужасомъ, и, какъ ни таращится на нее удавъ, — никакъ ему околдовать ее не удается. Чахлая, маленькая, — а откуда у нея сила! Еще бодрѣй она среди общей растерянности, и тамъ, гдѣ чемпіонъ весь набекрень и только о томъ и думаетъ, подъ какой бы ему диванъ забиться — авось, не замѣтятъ, — эта какъ рыба въ водѣ. Изъ двадцати четырехъ — сорокъ восемь часовъ въ сутки сдѣлаетъ, и бѣгаетъ, и хлопочетъ, и грозитъ наотмашь, и самыхъ сверхъестественныхъ крокодиловъ усовѣстить пробуетъ, и когда все это не удается, такъ она на бой выйдетъ пробуетъ, насколько, въ самомъ дѣлѣ, толста чешуя у крокодила. Нельзя ли, не вѣря зоологическимъ авторитетамъ, прокусить ее до живого мяса. Коли души не чувствуетъ, — авось, отъ боли опомнится человѣконенавистничающая амфибія. Тысячу разъ скажи „нельзя“, — а „воительница“ все свое. „Дятелъ — глупая птица, а и тотъ дубовую кору долбитъ, а я вѣдь умнѣе дятла!..“ Насупятся на нее, грудь колесомъ выпучатъ, львиныя рыканія двойныя рамы потрясаютъ, — а Татьяна Петровна — точно это

не ея касается. — „Нѣтъ, вы-де, Юпитеръ Сатурновичъ, пожалуйста, сдѣлайте по-моему, а то я и на васъ палку найду. Перуны-то ваши давно вѣдь въ Александринкѣ на театральныхъ громахъ износились, да и орелъ отъ старости то и дѣло на солнце чихаетъ. Только и хорошъ онъ на аптекахъ, — издали блеститъ, а въ сущности изъ глупаго сосноваго бревна сдѣланъ и клювъ-то у него, и когти — дерево-деревомъ“. Возятся-возятся съ ней, знакомятъ ее съ тартарарами, съ макаровыми шишками, съ благословенными краями, куда и телятъ не гоняютъ, а она все топорщится, все не сдается, все поетъ свою пѣсню, пока, наконецъ, три пошехонскія сосны не призадумаются: что жъ это такое? Всѣ народы православные между нами заблудились, а это „воробьиное яйцо“ никакого къ намъ почтенія не чувствуетъ и отлично про межъ насъ разбирается! Въ самомъ ли дѣлѣ мы ужъ такая сила? Или вся наша власть только въ томъ, что любезные наши соотечественники заячьимъ мѣхомъ подбиты? Одинъ головотяпъ сотню мужиковъ розгами поретъ, ну, а ежели эта сотня ариѳметикѣ обучится, что отъ головотяповой спины останется? Сто-то одного куда скорѣе выпорютъ, если какая-нибудь сердобольная Татьяна Петровна не порекомендуетъ имъ: „Плюньте, братцы, на каку!“

XVI.

Разразилась бѣда нежданная, и Татьяна Петровна точно сейчасъ свое настоящее дѣло нашла. Я думаю, ни одинъ почтальонъ столько лѣстницъ не сдѣлалъ, сколько она собирала всюду денегъ, — на тѣхъ,

кому онѣ теперь занадобились. Людей вихремъ сорвало изъ теплыхъ привычныхъ угловъ и выкинуло на снѣжныя пустыни! Ни крова ни пищи... У другихъ семья осталась, — и ей милостиво предоставили: помирайте-де вольною смертью, — а мы васъ казнить не станемъ. Посмотримъ-де, какъ вы безъ пайка проживете. Дѣти, какъ желторотые галчата, клювы раскрыли, ѣсть просятъ, матери теплыя шубки въ ломбардъ снесли, молока имъ купили, а ужъ Татьяна Петровна стучится: „На-те вамъ -де. На вашу долю столько-то насобирала. А на-дняхъ еще принесу. И вашему кормильцу въ каменный застѣнокъ пошлю“. „Ткнется она къ нему, — пускать не приказано. Нельзя въ дверь, — она въ окно, окно задѣлають, — въ щелку и никакъ повѣрить не можетъ, что разъ человѣкъ чего бы захотѣлъ, да захотѣлъ понастоящему, — найдется такая сила, которая ему въ этомъ помѣшаетъ. „А вотъ намъ-де не удалось!“ — „Это потому, — соображаетъ она, — что вы хотѣть не умѣете. Или быка за хвостъ схватили, а онъ и бацъ васъ рогами, а вы — за рога его...“ По пути забѣжитъ въ колбасную: сосисекъ на гривенникъ. Схлопаетъ ихъ, и руки обтереть ей некогда. Дѣло не ждетъ. А то на ходу глотаетъ... Разъ она съ легкимъ сердцемъ выкинула такую штуку, что всѣ диву дались... Какъ-то говорю я ей: со всѣхъ-то вы, трудолюбивая пчела, на улей медъ сняли... А вотъ попробовали бы съ самого удава капельку... Она вскинула на меня лучистыми глазами и засмѣялась...

— Въ самомъ дѣлѣ, это идея. Какъ мнѣ раньше въ голову не пришло! Благодарю за совѣтъ... Я завтра же.

— Вы, Татьяна Петровна, въ умѣ?

— А что?

— Да васъ такъ турнутъ... Вы про якутскіе улусы

читали? Костей не соберете.

— Волковъ бояться, — въ лѣсъ не ходить...

— Да вы это взаправду?

— А то какъ.

— Попрощайтесь хоть, больше не увидимся. Вѣдь вы знаете, къ какой гадинѣ идете? Изъ нея душу-то давно слизью выперло. Не человѣкъ, а сплошной гнойный нарывъ.

— Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, лучше всѣхъ пословицъ это: волковъ бояться, — въ лѣсъ не ходить!

И въ самомъ дѣлѣ пошла въ лѣсъ!

XVII.

Я думаю, никогда еще дѣйствительному тайному удаву, предателю по ремеслу и палачу по совѣсти, не приходилось встрѣчаться съ такими, какъ она. Вышелъ онъ, выпятилъ на нее губу: это-де еще что за мразь? Откуда? Морда у самого четырехугольная, сѣдые волосы, гдѣ они остались, — щетиной, чрево — хоть сейчасъ на немъ сводъ небесный изображай съ Большими и Малыми Медвѣдицами, — хватитъ. Въ трехъэтажномъ затылкѣ „кондрашка" до поры до времени, какъ амуры въ ямочкахъ у рубенсовскихъ Венеръ, отдыхаетъ, а подбородокъ — настоящая Екатерина Великая. Ужъ на что хорошъ въ этомъ отношеніи господинъ Лаказъ въ „Медвѣдѣ", и онъ бы позавидовалъ. „Вамъ чего?" А самъ разставилъ толстыя ноги бревнами, точно Колоссъ Родосскій, на нихъ утвердился и пухлыя, бѣлыя руки за спину заложилъ. Взглянула на него Татьяна Петровна и ус-

мѣхнулась. „Ужасно, — разсказывала потомъ, — похожъ онъ былъ на кабанью голову, именно такую, какую я видѣла въ окнѣ у Константина Романова въ Милютиныхъ лавкахъ, только что цвѣтка изъ красной бумаги ему въ ротъ не вставили да узоровъ по лысинѣ изъ сливочнаго масла не развели. А я, знаете, голодная была — въ слюну меня даже ударило! Стоитъ и сопитъ. Ну, я сейчасъ ему толкомъ: вы-де по своему зоологическому свойству схамкали такихъ-то и такихъ-то, а семьи ихъ голодаютъ теперь... да и имъ самимъ въ тартарарахѣ тоже помочь слѣдуетъ. Сначала онъ не понялъ меня: смотритъ, моргаетъ, — и такъ я и вижу въ головѣ жернова медленно медленно вертятся, мысль вырабатываютъ: что это-де передъ нимъ за проявленіе, потому что живому человѣку никакъ бы съ нимъ такой штуки не выкинуть... Руку изъ-за спины за бортъ переложилъ... Таращился-таращился поворочалъ-поворочалъ бѣльмами да какъ рявкнетъ... пудель у него былъ: страшно испугался, взвизгнулъ — и подъ кресло... Кавалеръ съ Георгіемъ выскочилъ изъ другой комнаты и весь такъ въ него и впился... Ждетъ приказа — рвать меня въ клочки... и въ лицѣ, знаете, у него полная готовность. Рявкни-де еще разъ — сейчасъ отъ нея (это отъ меня-то) пухъ и перья, и мокра бы не осталось“.

XVIII.

И рявкнулъ бы — и разлетѣлась бы Татьяна Петровна на всѣ стороны, да ужъ очень изумился. Думалъ, она со всѣхъ четырехъ копытъ о землю, а вмѣсто того „воробьиное яйцо“ стоитъ себѣ на дыбахъ да

еще и улыбается. Смотритъ на него (самъ послѣ живописалъ) съ снисхожденіемъ. „Этакая, знаете, блоха а точно она на меня сверху. Первый разъ мнѣ такая попалась. У насъ - то въ шешковскихъ застѣнкахъ я всякихъ видалъ. Какіе тигры и тѣ кроликами оборачивались. Знаю-де, что разорвешь, такъ хоть не сейчасъ только, дай передъ смертнымъ часомъ „Отче нашъ" прочесть. (Настоящіе-то бойцы только нарождались. Удавы къ нимъ не привыкли еще. Потомъ они съ ними посылали объясняться жандармскихъ офицеровъ, ласковому обращенію обучившихся въ кавалеріи. Сами не пытались, все-таки, „благородства физіономіи" могутъ быть лишены, какъ неосторожныя дѣвицы — невинности!) Вѣдь и не человѣкъ собственно, а такъ, „съ позволенія сказать"! Поморгалъ-поморгалъ онъ на нее.

Вы это что же?..

Она потомъ какъ-то случайно на заводы попала. Паровые молоты видѣла — сотни пудовъ раскаленнаго чугуна сплющиваютъ, да такъ, что въ окрестный изъ-подъ него ливнемъ золотыя искры сыплются. Такъ вотъ именно тогда она точно подъ такимъ паровымъ молотомъ стояла.

— Только я сразу почувствовала, что онъ сбился съ точки. Видимо, не понимаетъ ничего.

— Да вы про Якутскую губернію слышали?

— Я, — отвѣчаетъ, — географію - то, навѣрное, лучше васъ знаю. Потому что вы въ подпрапорщикахъ образованіе получили, а я съ золотою медалью гимназію кончила.

Помоталъ-помоталъ бычачьей шеей, видимо, ничего не понимаетъ.

— Э такъ вы, пожалуй, и къ самому бы покойному Муравьеву сунулись?

— Отчего же.

— Ну, знаете... Я на редуты ходилъ... Штатское-то послѣ надѣлъ. Для пользы службы...

И при этомъ, точно ненарокомъ, до бѣленькаго креста на груди дотронулся.

— А только... какъ вы могли подумать! Вѣдь передо мною генералы дрожатъ.

— Отчего?.. Лихорадка у нихъ? Такой же вы человѣкъ, какъ и всѣ... И душа у васъ должна быть... Дѣти у васъ есть?.. Подумайте, если бы они въ такомъ положенiи оказались.

— Ну, это — дудки-съ! Они у меня благородные молодые люди... Въ пажахъ и правовѣдахъ!

— Да вѣдь и князь Крапоткинъ пажемъ былъ, да еще какимъ!

Побагровѣлъ... Затоптался. Думала опять, — громы небесные. Нѣтъ — пересилилъ себя.

— Я васъ арестовать велю.

— Не за что.

— А потомъ вышлю въ тартарары.

— Я сама туда хочу попасть. Тамъ я нужнѣй буду.

— Что же вы обоюдоострая, что ли? Съ какой стороны за васъ схватиться?..

И вдругъ какъ расхохочется.

— Нѣтъ, это вѣдь анекдотъ. Разсказывать буду, — никто не повѣритъ. Пришла ко мнѣ — этакая... Съ подписнымъ листомъ... Откуда вы ноги взяли?

— Сами выросли!

И сейчасъ, какъ тотъ докторъ:

— Подите-ка вы къ моей женѣ. Она васъ лучше пойметъ... И разскажите ей. Сейчасъ у нея мигрень — развлечется. Эй, Кирюшка!

„Кавалеръ“ такъ и подался впередъ.

— Проводи къ Натальѣ Петровнѣ. Скажи, — я прислалъ: пусть выслушаетъ.

— Что же бы вы думали, — закончила свой разсказъ Татьяна Петровна, — вѣдь я съ нея триста рублей получила. Еще плакала — очень милая старушка оказалась. Только провести меня другимъ ходомъ велѣла. „Все - таки, говоритъ, мой мужъ на такое мѣсто поставленъ. Какъ бы онъ васъ по долгу службы не ушибъ. Ну, а для насъ, женщинъ, выше „долга“ сердце... У него, у сердца, свои долги есть, — и они поважнѣе служебныхъ. Ими весь міръ держится... Сними ихъ — вся служебная машина развалится“.

XIX.

Я было опять потерялъ изъ виду „воробьиное яйцо“, да мнѣ напомнилъ о немъ покойный Барановъ. Какъ-то пріѣхалъ онъ изъ Нижняго-Новгорода, гдѣ губернаторствовалъ тоже больше по душѣ, чѣмъ по закону, пугая однихъ, забавляя другихъ, а кое-кого приводя въ настоящее остервенѣніе.

— Вамъ привѣтъ и поклонъ.

— Отъ кого?

— Отъ нашего общаго друга.

— Какого?

— Подумайте: отъ самаго храбраго человѣка въ мірѣ!..

Мало ли храбрыхъ. Верчу мозгами, припоминаю.

— Отъ Татьяны Петровны...

— А вы ее почему знаете?

— Еще бы. У меня въ Нижнемъ работаетъ... На холерѣ...

— Да вѣдь она въ Сибирь уѣхала... Добровольно въ Якутскую область собралась...

— Мало ли что... Добралась до Нижняго, а у насъ — вы сами знаете — эпидемія такъ и коситъ народъ. Босяки и рабочіе мрутъ, какъ мухи, — ну, она и застряла. Который уже мѣсяцъ не выходитъ изъ этихъ Дантовскихъ бараковъ. И еще одинъ плюсъ за ней, — на самой грязной работѣ сосредоточилась. Я какъ-то прихожу, вижу: хилая. Дунетъ вѣтеръ, — какъ перо унесетъ. Жаль ее стало, — козявка-козявкой. Хотѣлъ было на чистое дѣло поставить, гдѣ полегче. А она сдвинула брови: „Что вы, — спрашиваетъ, — не довольны мною?“ — Съ чего вы это, матушка, взяли? Я потому, что вы устали и, должно-быть, надоѣло вамъ съ этою мерзостью возиться. — „И не устала, и не надоѣло, и никакой мерзости я здѣсь не вижу. Люди страдаютъ, надо помочь, — какая же тутъ мерзость? А для легкаго дѣла вы тѣхъ, кто больше меня стоитъ!“ — Кто же это? — спрашиваю. „А кто приготовился по наукѣ. Тѣ дороже, ихъ жизнь не чета моей. Я вѣдь только однѣми руками, а не головой“... Два раза захватывала холера ее самое, въ третій — назадъ опять вернулась — и за то же дѣло. Если есть святые... такъ именно на нее надо Богу молиться. Когда бы я ни пріѣхалъ, — Татьяна Петровна на дѣлѣ. И, главное, — другія ополоумѣли. Или мрачныя, или раздраженныя. А она веселая, бодрая. Именно бодрая. Этого въ ней — хоть отбавляй. На всѣхъ ея подругъ хватитъ! Знаете, какъ ее зовутъ больные, — „солнышкомъ“. Она, и вправду, какъ лучъ. Мнѣ, старому морскому волку, не къ лицу такіе разводы, разводить, а думаю о ней, — слезы навертываются...

Будь одна такая въ Содомѣ, до сихъ поръ бы онъ держался.

XX.

— Храбрости я пока особой не вижу.

— А вотъ погодите. Въ одномъ мѣстѣ у меня народъ поднялся. Врачи-де воду отравляютъ. Людей много стало, — ну, такъ изъ Петербурга отъ аглицкаго чиновника приказъ — умалить! Вамъ странно, а вы подумайте: для школы мы ничего не сдѣлали, — вотъ въ такіе катаклизмы и приходится съ невѣжествомъ и теменью считаться. Богъ знаетъ откуда глупые слухи, и чѣмъ глупѣй, тѣмъ имъ больше и вѣрятъ. Мужикъ измучился, наголодался, выходу ему никуда. Седьмую шкуру съ него дерутъ, — авось-де восьмая нарастетъ... Дотронуться до него точно до живой раны. Понятно, озлился. А тутъ доктора, совсѣмъ ужъ ему непонятные, живыхъ-де хоронятъ. Сами видѣли: въ гробахъ шевелятся. Все одно помирать, — такъ ужъ чтобъ не даромъ, пусть-де и имъ откликнется. Ну, цѣлая волость у меня на ноги встала. Врачебный персоналъ въ Волгѣ перетопила, бараки разломала. Хотѣли попа пришибить, да тотъ струсилъ и покаялся: самъ-де живыхъ хоронилъ по приказу. Изувѣчили и его, но оставили живого. Подневольный человѣкъ, — разсуждаютъ. Собирался было и самъ туда съ казаками, — чужіе ошибки и недосмотры намъ вѣдь приходится потомъ кровью заливать! Одинъ Толстой (министръ) сколько въ этомъ отношеніи вреда надѣлалъ! Ну, вотъ, только что я „ополчился на брань“, а тутъ вдругъ

и вывернулась Татьяна Петровна: пустите меня туда. „Да васъ, говорю, первый кулакъ съ размаху уложитъ, и рта вы не раскроете“... Стала на своемъ, — хочу-де попробовать. Я подумалъ. Время все равно, что военное, — дорога ли одна жизнь? Пусть убьютъ ее, — въ общей экономіи и на полпальца не убудетъ, а вдругъ ей удастся? Благословилъ я ее; она съ мѣста, швыркомъ туда. Скоро на это... Да прямо въ толпу и угодила, обезумѣвшую, отчаявшуюся во всемъ. Холера тамъ разразилась ужасная, а люди оказались предоставленными самимъ себѣ. Страхъ, а отъ страха, вы сами понимаете, всего жесточе дѣлаются. Кто не боится, тотъ милуетъ! Храбрые люди всегда добрые. Звѣрями только трусы оборачиваются, когда ихъ возьметъ. Видятъ: сестра милосердія... „Ты, говорятъ, зачѣмъ?.. Живыхъ хоронить, которые въ гробахъ шевелятся да корячатся?..“ Такъ бы до перваго кулака и растерялась другая. Вѣдь подымись кулакъ, — уже никакая сила не спасетъ. Не найдутъ люди въ себѣ ничего, что бы удержало добить избитое существо. А она прямо въ толпу, улыбающаяся, ласковая, тихоя.

— Я къ вамъ по душѣ. Видите, я слабая, одна, — ничего не могу. А поговорить намъ нужно, чтобы вы совсѣмъ не пропали... Дайте мнѣ только отдохнуть, — устала я. Легко ли дѣло къ вамъ попасть!

— О чемъ говорить-то?

— А вотъ узнаете, — убить меня всегда успѣете. На это много времени не надо. Я вѣдь легкая. Ничего не стоитъ швырнуть меня съ берега, — и плавать не умѣю, прямо ко дну пойду. А только я васъ не боюсь нисколько, а жалѣю очень. И тѣ, которыхъ вы погубили, тоже жалѣютъ васъ и, вѣрно, сейчасъ у Бога за васъ молятся. Знаете, какъ Христосъ на крестѣ молился: „Прости-де... Не вѣдали они, что

творили. Своихъ же друзей да за вороговъ приняли! Смой съ нихъ, съ малоумныхъ и темныхъ, милосердіемъ Твоимъ кровь нашу, чтобы ни тамъ, на землѣ, ни здѣсь, на небѣ, никто не отвѣтилъ за нее".

Тѣ на нее:

— Чего-де ты намъ врешь, глаза отводишь, коли попъ и тотъ покаялся.

— У вашего попа душа малая. Онъ смерти напугался и противъ правды Божіей пошелъ. А я смерти не боюсь и противъ правды свидѣтельствовать не стану, — затѣмъ и сюда пріѣхала. Сами видите, — безъ солдатъ, одна-одинешенька. Что хотите, то вы со мной и сдѣлаете. Вся я тутъ. А попъ вашъ съ большого страху-то прямо въ губернію къ генералу, и тамъ на васъ жалуется, казаковъ требуетъ. Вѣдь я его видѣла тамъ. Иначе, какъ разбойниками, васъ не зоветъ. Какіе же вы разбойники! Напуганные только. А со страху-то въ темнотѣ и ребенка задушишь. Нечистою силой онъ тебѣ покажется. Правда? Съ чего бы люди, которые за васъ въ больницахъ помираютъ,— у меня вотъ два раза холера была, потому я на ярмаркѣ въ баракахъ за вами ходила, — съ чего бы мы вамъ зла желали? Вы думаете, сладкое дѣло это Докторовъ вѣдь никто не посылалъ, сами добровольно послужить горю людскому пришли, по заповѣди. По найму такъ работать никто не станетъ. Сестры были такіе же, какъ я... И лучше даже, потому что онѣ изъ богатыхъ семей на страду пошли; я всегда была бѣдная, мнѣ съ полбѣды, а онѣ изъ теплаго угла отъ сладкаго куска къ вамъ. Что жъ, вы думаете, имъ платятъ за это, что ли?.. За деньги такъ не дѣлаютъ... Душу-то и совѣсть на монету не промѣняешь...

XXI.

Смотрятъ на Аникѣеву мужики, и чудной она имъ кажется, слушаютъ, разжимая кулаки, и отъ ея словъ по сердцу у нихъ разливается что-то ласковое, теплое. Ихъ вѣдь прежде всего удивить надо. А ужъ чего изумительнѣе этой маленькой женщины, съ такою вѣрою въ себя просто и искренно явившейся въ настоящій адъ. — „Дождь пошелъ, — сама потомъ разсказывала, — что намъ тутъ мокнуть, — покажите мнѣ избу побольше, гдѣ бы намъ поговорить можно. А потомъ бейте, если руки подымутся". И вдругъ изъ толпы голосъ: „Зачѣмъ намъ бить тебя, коли ты Божья!" Я, говоритъ, сейчасъ и поняла, что полдѣла сдѣлала. А тутъ и еще кто - то выкрикнулъ: „Постой, братцы... Да вѣдь это та самая, которая меня въ Нижнемъ отходила... Всѣ думали, — помру. А она не повѣрила, сутки со мной возилась и отстояла"... И вдругъ проталкивается къ ней изъ толпы широко улыбающійся парень и лапищу къ ней протягиваетъ. „Ты, говоритъ, сетра Татьяна?" — Я! — „Ну, такъ ко мнѣ въ избу, — ни къ кому другому я не пущу тебя... Потому ты моя... А родительница вотъ какъ тебѣ обрадуется... Она про тебя наслышана. Такъ что даже за твое здоровье мы „часточку" вынимали. Вы, — оборачивается, — робята, ее не трогайте. Я за нее самъ помру. Ежели кто ее хоть пальцемъ, — полголовы тому снесу. Только вотъ угостить тебя нечѣмъ, все пріѣли. Ну, да какъ-нибудь. Ты вѣдь мірская. За всѣхъ мучилась, — и для тебя всѣ должны постараться".

XXII.

— Помните боевое время? На міру-то умирать не такъ страшно, а тутъ, какъ вы ее называете, это „воробьиное яйцо", на одинокую, безвѣстную смерть, улыбаясь, пошла. Понимала, что въ послѣднюю минуту ей не за кого будетъ схватиться, прежде чѣмъ упасть оземь! Значитъ, дѣйствительно, въ ней Богъ былъ. Въ ней или съ ней! Вѣдь подумайте: благодаря этой крохотной и „хлибкой", какъ про нее говорили мужики, женщинѣ, мнѣ удалось замять скверное и жестокое дѣло. Почти никто не пострадалъ, и вмѣсто открытаго бунта съ ссылкой и каторгой суду пришлось повозиться съ народною теменью, а вѣдь въ ней, въ народной тьмѣ, менѣе всего виноватъ самъ народъ. Тутъ главные отвѣтчики — мы. Мой другъ Побѣдоносцевъ чего стоитъ! Сколько такихъ невмѣняемыхъ массовыхъ преступленій у него на душѣ, а вѣдь его на скамью подсудимыхъ не посадишь и въ каторгу не пошлешь, хоть тамъ ни одного подобнаго ему нѣтъ! Разумѣется, жертвы, какъ писала тогда одна газета, остались неотомщенными. Да вѣдь ихъ не вернешь разстрѣломъ и висѣличной петлей, хоть всю волость истреби, — это разъ, а второе и главное — новыхъ не было. И потомъ, опять-таки, кто прежде всего жертва тутъ, — надо еще сговориться и условиться. Въ волости, о которой я вамъ разсказываю, были двѣ церковно-приходскихъ школы. И священники на нихъ даже получали пособіе, а когда я послѣ туда пріѣхалъ и спросилъ, гдѣ училище, — на меня мужики только затаращились. Никогда они его, этого училища, и не видѣли!.. Зато сельскій „театръ и зрѣ-

лица" — питейный — процвѣталъ во всю, и цѣловальникъ благоденствовалъ. Не успѣлъ я вернуться въ Нижній, — онъ мнѣ на Татьяну Петровну доносъ, послалъ съ мѣста. Она, видите ли, народъ мутитъ. И кто же въ этомъ случаѣ спасалъ отечество, — съ кабатчикомъ? — нѣкій мѣстный дворянинъ, рекомендовавшій такъ пороть мужика, чтобы онъ садился, не какъ это полагается человѣкообразнымъ, а на животъ. И даже до смерти! Я ее во-время вызвалъ оттуда. А то бы, пожалуй, въ концѣ-концовъ и ей не сдобровать. Только ужъ не отъ народа. Особенно, когда тотъ же лжесвидѣтельствовавшій пастырь духовный отступился и обвинилъ ее, что она, вторгаясь въ его компетенцію, бесѣдовала съ людьми „отъ божественнаго", на что ее также, видите ли, никто не рукополагалъ!

XXIII.

Такъ и оттуда „воробьиное яйцо" вернулось побѣдоносицей, хотя и осталось вѣрно тѣмъ же. Хвостъ вѣеромъ не распускала, о собственной особѣ — ни одного слова, а когда ее разспрашивали, она или смущалась, или отвѣчала неудобопонятно. „Просто - де", а что просто, Богъ ее вѣдаетъ. Я думаю, впрочемъ, что она и себѣ не давала отчета. И въ данномъ случаѣ да и вообще. Не задумывалась, а дѣлала. Понадобилось, — пошла, уцѣлѣла, — вернулась, вотъ и все. Значитъ, для чего-нибудь еще нужна! Такая ужъ у нея была непосредственная природа. Другой всякій норовитъ съ подъѣздомъ да подходцемъ. Раскачивается да примѣривается, пока за него такія же Татьяны Петровны полработы окончатъ; а она, какъ хорошія

пѣвицы, брала самыя верхнія ноты безъ разбѣга, прямо. Прыгала съ мѣста. И судьба съ ней обращалась милостиво: черезъ Ѳермопильскія ущелья провела, мимо всякихъ ударовъ; въ перепутьяхъ толкала ее на настоящую дорогу, сквозь буреломъ выводила куда слѣдуетъ. Смѣлость ли города брала? Храброму вѣдь счастье служитъ. Отъ другихъ ея подругъ приходили письма со штемпелями невѣдомыхъ почтовыхъ конторъ, захватанныя грязными лапищами падкой на чужой секретъ сволочи. Бывало, читаешь названіе въ заголовкѣ отдаленныхъ посланій и думаешь: что это дѣйствительно „мѣсто", или просто географическая фантазія, въ родѣ никому невѣдомой квадратуры круга въ математикѣ. Нѣкоторыя изъ этихъ загадокъ отечествовѣдѣнія дѣйствовали на насъ, какъ слова „металлъ" и „жупелъ" на купчихъ Островскаго. Жутко становилось отъ чего-то таинственнаго, страшнаго, безмолвнаго, затеряннаго въ неприглядной дали, холоднаго и слѣпого, какъ молотъ надъ вами. А Татьяна Петровна, — хотя бы по всякимъ видимостямъ и давно ей пора очутиться тамъ, въ географическихъ загадкахъ этихъ, — никакъ не попадалась въ руки ревнителямъ просвѣщенія *). Какъ ни нацѣливались на нее вольные стрѣлки эти, а она знай себѣ чирикаетъ да пры-

---

*) Еще бы не ревнители! Не они ли такимъ образомъ ознакомили насъ съ мѣстами, гдѣ жить нельзя и только находиться можно! Удивляюсь, какъ географическіе конгрессы остались равнодушны и не присудили имъ золотыхъ медалей съ изображеніемъ осины, на которой древле повѣсился Іуда! Впрочемъ, можетъ-быть, потому,что по нынѣшнимъ временамъ это анахронизмомъ стало: осины-то всѣ при Плеве на розги вырублены, а Іуды по департаменту полиціи пошли на хорошіе оклады.

гаетъ по петербургскимъ улицамъ, подъ самыми дулами и надъ западнями, разставленными въ изобиліи для легкомысленной и довѣрчивой птицы милостивыми государями, прозирающими въ сокровенное — „по наряду“ и по вольному найму.

XXIV.

Можетъ-быть, потому и уцѣлѣла, что ужъ очень она казалась этимъ административнымъ Немвродамъ не аппетитной. Развѣ только и можно было прихватить ее „въ томъ числѣ“, для округленія цифры. А то, судите сами, что это за добыча. Совсѣмъ порціонная стерлядка — носъ длинный, хвостъ еще острѣе, а посрединѣ и переваривать нечего! Въ эту пору я ее встрѣчалъ часто, — вѣчно она суетилась, бѣгала и занималась всевозможными чужими дѣлами. Своихъ у нея никогда не было. Наскочитъ, бывало, запыхавшись, передастъ, что слѣдуетъ, и летитъ дальше въ пространство. И вдругъ какъ-то встрѣчаю ее и не узнаю...

— Что съ вами, Татьяна Петровна?

— Ахъ, оставьте пожалуйста... Ничего.

— Какъ ничего? Вы ни на что не похожи.

— А прежде я на что была похожа? — пробуетъ она шутить, а у самой голосъ перехватываетъ, и смотритъ она въ сторону.

Мы ее такой никогда не видали.

Замѣчали вы въ птичьихъ лавкахъ висящихъ головами внизъ колотыхъ и ощипанныхъ курицъ, съ заплаканными глазами Вотъ и Татьяна Петровна мнѣ въ этотъ разъ показалась такой.

— Горе какое?

— Оставьте... Не ваше дѣло.

— Послушайте, вѣдь мы съ вами сколько ужъ времени знакомы.

— Если что и есть, — сама справлюсь...

И шмыгъ въ сторону. Точно фантомъ, будто ее и не было никогда. Только и есть въ памяти, что порыжѣлое куцое пальто, отрепавшееся по всему подолу, да стоптанныя калоши — каждая набекрень. Даже и одѣваться какъ прежде перестала. Потомъ ужъ я вспомнилъ ее, и особенно ея глаза. Въ нихъ свѣтился холоднымъ фосфорическимъ отблескомъ непривычный страхъ. Я бы сказалъ звѣриный, — такъ мало въ немъ было сознательнаго, человѣческаго. Что за бѣда случилась съ нею? Послѣ того мы часто съ короткими знакомыми обмѣнивались вопросами:

— Не видали ли вы Татьяну Петровну?

— Нѣтъ... И вы тоже?

— Я уже мѣсяца два ее не встрѣчалъ.

— Куда она могла подѣваться?

— Надо бы справиться на квартирѣ.

— Былъ.

— Ну, и что же?

— Выѣхала за городъ, и только. Хозяйка разсказывала, — видѣла ее все плачущей.

— Татьяну Петровну? Не можетъ быть! Этакій бодрый человѣкъ!

— Вотъ подите!

— Стряслось надъ ней что-нибудь не ждано, не гадано.

— Чѣмъ это такимъ судьба ее удивитъ могла?

XXV.

А удивила-таки! Даже такую, какъ она, сбила съ ногъ, до поры до времени. Я было уже и позабывать ее началъ. Мало ли въ вѣчныхъ странствіяхъ проходитъ мимо людей и дѣлъ. Посложнѣе любого калейдоскопа. Оглянешься на нихъ, и всѣ сливаются въ общій фонъ. Не разобрать въ немъ ничего. Случается, встрѣтишь необыкновенно привѣтливаго господина, — и онъ сразу въ интимномъ тонѣ начинаетъ допросъ о вашихъ родныхъ и близкихъ. Слушаешь его и отвѣчаешь въ томъ пріятномъ тонѣ, а самъ думаешь: ради Бога, скажись какъ-нибудь, кто ты, таинственный незнакомецъ, и когда твоя жизнь такъ переплеталась съ моею, что для тебя въ ней, повидимому, ничего сокровеннаго нѣтъ? Хорошо еще, — одинъ на одинъ, а какъ третій сюда же и, увлеченный дружескимъ характеромъ бесѣды, проситъ: представь насъ... Два года прошло, мы о Татьянѣ Петровнѣ перестали и разговаривать. Такъ и рѣшили разъ навсегда: изводится на чужой бѣдѣ въ какомъ-нибудь далекомъ улусѣ, и если не умерла, такъ умретъ навѣрное. Куда ей, сквозной и хлипкой, такое испытаніе выдержать. Даже и выбраться оттуда, — надо истинное чудо Господне. Въ самомъ дѣлѣ, крохотная и, понятно, слабая среди этой снѣжной пустыни съ окованными льдомъ рѣками, траурными лѣсами и бѣшеной вьюгой, точно отпѣвающей схороненнаго у полюса и бѣлымъ саваномъ прикрытаго богатыря. Вернули какъ-то оттуда „отечествовѣда поневолѣ“, — спрашиваемъ у него. „Нѣтъ, — говоритъ, — въ нашихъ захолустьяхъ такой не было, справьтесь тамъ-то и тамъ-

то". Тамъ-то и тамъ-то тоже о ней ни слуху ни духу. „А вѣдь, пожалуй, и умерла", рѣшилъ кто-то. Бѣгала-бѣгала въ рваной кацавейкѣ по холоду и добѣгалась. Лежитъ теперь подъ черной и промерзлой землей въ никому невѣдомой могилѣ и отдыхаетъ, не знавшая устали!.. Другіе бодрые люди заслонили ее; до Татьяны ли Петровны тутъ было... Точно ее вѣтромъ скинуло, какъ снѣжинку съ кровли...

XXVI.

Иду я по Петербургской сторонѣ. Только что мѣстные хулиганы и коты вкупѣ и влюбѣ съ патріотами своего отечества, господами - дворниками, устроили какую - то высокоблагонамѣренную демонстрацію. Это вѣдь не сегодня началось! Союзъ „русскихъ людей" и тогда уже дѣйствовалъ, только подъ другою фирмой. Унесли избитыми ни въ чемъ неповинныхъ. Полицейскія физіономіи сіяли счастьемъ хорошо исполненнаго священнаго долга. Каждаго Держиморду хоть сейчасъ на мраморный цоколь — прямо въ Пожарскіе, такъ его подняло величіе героической минуты. Околоточные смотрѣли ослѣпительно-гордо. Невыносимо простому смертному было въ ихъ блескѣ, и вдругъ вижу: точно гирлянду, влекутъ по улицѣ нѣсколькихъ отщепенцевъ, а въ ихъ числѣ — Господи! — она сама, исчезнувшая было изъ вида, Татьяна Петровна. Только какая - то растерянная, совсѣмъ на себя не похожая. Я — за ней... Попробовалъ черезъ цѣпь торжествующихъ „Пожарскихъ" окликнуть ее, — не знаю, слышала она или нѣтъ, — но передо мной вдругъ выросъ чуть ли не самъ Малюта Скуратовъ, переодѣтый околоточ-

нымъ и загримированный Сусанинымъ. „Ты чего? Хочешь туда же?“ Пока я предавался недоумѣнію: когда это я съ „Иваномъ Сусанинымъ“ выпилъ на „ты“,— разорванная гирлянда и въ ней Татьяна Петровна исчезли за угломъ. Послѣднимъ моимъ воспоминаніемъ былъ какой-то кулакъ, эпохи свайныхъ построекъ, грозившій мнѣ издали, и столь величаво, что такъ и мерещилось, вокругъ нѣтъ ли сіянія и въ сіяніи надписи: „Симъ побѣдиши“. Такъ бы и увлекли Татьяну Петровну, да на ея счастье за хулиганами и котами, во главѣ дворничьихъ ополченцевъ, прослѣдовалъ въ видѣ Александра Македонскаго нѣкто, встрѣчавшійся мнѣ у Кюба. Когда-то онъ носилъ форму генеральнаго штаба, но призваніе — пресѣкать и членовредительствовать — увлекло его въ иныя сферы. И онъ въ нихъ почувствовалъ себя сразу чѣмъ-то въ родѣ гоголевскаго Вія. На что ни устремлялъ взглядъ, то и должно было умирать подъ нимъ отъ ужаса...

— Вы какъ сюда попали?

Такъ меня привѣтствовать въ другомъ мѣстѣ онъ бы не осмѣлился. Пожалуй, протянутая рука на вѣсу останется! А тутъ, чувствуя себя господиномъ положенія, пожелалъ даже обнаружить великодушіе, свойственное истинному побѣдителю.

— И самъ не знаю...

— Хотите, я дамъ вамъ провожатаго?

— Зачѣмъ?

— А чтобъ васъ моя безпардонная команда не зацапала.

— Меня и такъ Господь пронесетъ.

— Что дѣлать, — печальная необходимость... — И вдругъ ему захотѣлось слиберальничать по-старому, когда онъ еще носилъ ученый кантъ и готовился въ Наполеоны, — Видите, — отечество спасаемъ!.. На страхъ

врагамъ. Самому противно, — съ души рветъ, такіе христопродавцы у меня, коллекція „туземцевъ“, — показалъ онъ на дворниковъ. — Будете завтра у Кюба?

Я вспомнилъ жалкую и растерянную Татьяну Петровну.

— Спасать-то вы спасаете, а тутъ больную и ни въ чемъ не виноватую женщину захватили.

— Тамъ разберутъ...

— Знаете, — отдайте-ка ее мнѣ... Наши у Кюба ее знаютъ. Ну, что вамъ за охота. Придете вы завтракать, а отъ васъ, какъ отъ чумы, — на другой столъ.

— Да кто она такая?

— Въ самомъ дѣлѣ, кто она? Какъ ему опредѣлить. Заикнулся я на минуту, да кстати (иногда и ложь во спасеніе) влетѣло мнѣ въ голову.

— Сестра милосердія, родственница генерала***.— И я назвалъ имя, отъ котораго и не у такого кончика поджилки трясутся.

— Гдѣ, гдѣ?,, Эй, остановите ихъ...

Мы подошли.

— Вотъ эта самая. Здравствуйте, Татьяна Петровна!

— Эко ее обработали... опричники! — опять слиберальничалъ онъ... — Выпустить... Mademoiselle, pardon...

Хулиганы раздвинулись.

Татьяна Петровна, какъ въ туманѣ, видимо, ничего не понимая, вышла...

— Простите, сударыня. Сами знаете, — лѣсъ рубятъ, щепки летятъ... Мой почтительнѣйшій поклонъ его высокопревосходительству... Когда-то вмѣстѣ въ ученой комиссіи засѣдали.

Дѣйствительно, щепки! Наводненіе торжествую-

щихъ опричниковъ пронеслось дальше, выбросивъ одну такую щепку на берегъ...

XXVII.

— Татьяна Петровна, что съ вами?

— Постойте, дайте въ себя прійти...

Едва отдышалась... дрожитъ...

— Это я вамъ обязана? Вы сами не знаете, что вы для меня сдѣлали. Вѣдь дома ребенокъ у меня.

— Вашъ!.. Вы замужемъ?..

У нея глаза какъ-то шмыгнули въ сторону.

— Почти... Была... Теперь я опять одна съ нимъ. Ради Бога, доведите до извозчика... Если бы меня заперли, я бы о первый уголъ голову себѣ разбила... Митя съ голоду бы умеръ. Кому о немъ?.. Пока я его прачкѣ поручила, да вѣдь она часа два-три можетъ. Ей самой на работу надо.

— Какъ же вы сюда попали?

— Сама не знаю. Шла... А тутъ вдругъ налетѣли эти. Вижу, бьютъ кого-то. Я сунулась, — развѣ такъ можно... увѣчитъ?.. Ну, меня какой-то — за руки... Кажется, ударилъ даже. Обругалъ, навѣрно, и скверно обругалъ... А впрочемъ... У меня все путается въ головѣ...

— Гдѣ вы были эти два года? Или два съ половиной?

— Послѣ, послѣ... Голубчикъ, нельзя ли извозчика?

Пришлось пройти нѣсколько улицъ, и, наконецъ, мы наткнулись на сани.

— Я васъ провожу, мало ли что можетъ случиться.

— Какъ вы добры... Право... Вотъ счастье-то...

— Сколько вашему мальчику?

— Годъ почти. Славный такой. Недавно ходить началъ.

— Сами кормите?

— Куда. Гдѣ у меня молоко!.. Еле-еле душа въ тѣлѣ...

— Давно ли вы замужъ вышли?

— И не думала выходить...

Я было смутился... Но Татьяна Петровна смотрѣла на это проще.

Что вы? Я и сама не помню, какъ это меня закружило... Только и опомнилась, какъ одна съ Митей на улицѣ осталась...

— А мужъ?..

— Этотъ, то-есть... Да онъ, должно-быть, никогда и не любилъ меня... Сталъ злиться, придираться ко всему... Я вижу: силой нельзя удержать. Всегда и сама противъ была, чтобы силой... Ну, и говорю ему: уходи. Мнѣ тебя не надо. Справлюсь какъ-нибудь. И справляюсь. Трудно, да вѣдь теперь кому легко?... Всѣмъ скверно.. Я въ Воронежской губерніи у крестьянъ жила, тамъ совсѣмъ помирать приходится. Какъ они говорятъ, — нигдѣ такой правды нѣтъ, чтобы сытому быть. Работаютъ съ утра до ночи...

— Постойте, вы не о томъ, Татьяна Петровна. Меня вы занимаете. Какъ вы прожили все это время? Откуда ребенокъ у васъ?..

— Это все потомъ. Вѣдь не картонная и я! Потомъ. Теперь не до того... Встрѣтимся еще...

— Вотъ что, вы, навѣрное, не при деньгахъ?..

— Къ чему вы это?

— Могу подѣлиться съ вами.

— Нѣтъ, вы меня знаете. Я всегда сама выво-

рачиваюсь. Вотъ если у васъ работа...

— Какая?

— Все равно... На прошлой недѣлѣ, — и она вдругъ улыбнулась, весело улыбнулась, видно, ей самой смѣшно стало, — я съ четверга по субботу у одной важной барыни бѣлье стирала. На дому. Съ кухаркой щи ѣла, лакей ихній мнѣ на гитарѣ игралъ...

— Чортъ знаетъ что!

— Нѣтъ, право... Даже одобрила генеральша: „Никто, — говорила, — до сихъ поръ на меня угодить не умѣлъ. Ты, милая, и впередъ приходи. Я всегда тебѣ рада, — отлично стираешь. Вѣрно, солдатка?..' — Почему солдатка? Развѣ я похожа? Нѣтъ, не солдатка; — отвѣчаю. „Изъ какихъ же ты?“ Меня дернуло: Я, говорю, курсистка. — Дама, точно на нее змѣя зашипѣла, попятилась, только глазами моргаетъ. „Почему курсистка?..“ — Потому, что кончила гимназію и поступила на курсы и курсы въ свое время благополучно кончила. Экзаменъ сдала. Аттестатъ имѣю. — „Какъ же вы такъ себя уронили?“ и въ лорнетъ на меня. „Вы, вѣрно, изъ этихъ... Еще писатель такой есть... Горькій... Изъ босяковъ. Такъ и вы изъ Горькихъ... изъ босяковъ?..“ — Нѣтъ, говорю, а только, когда ѣсть хочется, такъ и бѣлье стирать хорошо. — „Вы бы попросили, вамъ и безъ этого помогутъ“. — А вотъ этого-то я не хочу. Я всегда сама на ногахъ была. Здоровая, молодая, какъ же мнѣ просить?.. — „А униженіе? Вѣдь вамъ мой лакей „ты“ говорилъ“, расхохоталась. — И я ему тоже, — значитъ, мы квиты. — „Нѣтъ, вы непремѣнно изъ нынѣшнихъ“. Тутъ ужъ и я заинтересовалась. — Какіе же это, спрашиваю, нынѣшніе? — „А ихъ три сорта. Одни толстовцы, — знаете, еще нашъ князь писалъ о нихъ — они не противляются... Другіе — босяки. Я даже искала та-

кого. На моихъ вечерахъ всегда что-нибудь модное. Мнѣ — градоначальникъ приказалъ — въ ночлежномъ домѣ нашли, даже такъ, что изъ образованныхъ. Только невозможно, — сей-часъ же съ мѣста пьянъ напился, обругалъ мужа и исчезъ. А третьи — съ револьверами ходятъ". — Ну, такъ я, — объясняю ей, — четвертая: бѣлье стираю!...

Съ тѣмъ и ушла... А потомъ переписка наклюнулась, — живу пока. Тутъ одна уроки найти грезилась. Да что-то не выходитъ.

Довезъ я ее.

— Можно къ вамъ?

— Только не сейчасъ. Теперь мнѣ съ Митенькой возня будетъ.

Такъ мы и разстались тогда.

XXVIII.

Черезъ нѣсколько дней работу я ей добылъ. Самому было некогда, — послалъ.

Утромъ отъ нея отвѣтъ: „Всей душой благодарна, отдала товаркѣ. Она нуждается больше меня. А я опять на ногахъ, у меня отличный урокъ на всѣ тридцать рублей въ мѣсяцъ. Знай нашихъ!.. Съ радости даже Митеньку сіамскимъ принцемъ одѣла. На пять цѣлковыхъ ему купила всякаго добра.. Если еще у васъ найдется что, — посылайте, у меня свободнаго времени пропасть, да если и не будетъ — все равно — столько народу кругомъ ждетъ работы!.. Всему будутъ вотъ какъ рады.. Если заѣдете, мы будемъ счастливы. Я изъ „угла," ушла, живу теперь съ подругой въ томъ же домѣ. У насъ своя комната,

съ живописнымъ ландшафтомъ. Въ окно видна крыша и трубы. На крышѣ вороны, а у трубъ — кошки. Одна цѣлую ночь орала неистово. Мнѣ нѣсколько разъ со сна казалось, что это Митенька. Открою глаза, — нѣтъ, это кошки во снѣ радуются".

Я прочелъ и сильно обезпокоился.

Если Татьяна Петровна шутитъ и притворяется веселой, — занчитъ, ей плохо.

Въ тотъ же день поѣхалъ къ ней.

Даже не предполагалъ, что у насъ, въ Петербургѣ, есть такіе высокіе дома. На лѣстницѣ, точно въ колодцѣ. Холодно, сыро, темно въ полдень, подъ ноги шарахаются взъерошенные коты такого воинственнаго вида, что геральдическій единорогъ на британскомъ гербѣ и тотъ бы позавидовалъ. Изъ-за безчисленныхъ дверей съ ободравшейся клеенкой неистово заливаются неподкупные псы. Откровеннаго направленія стряпухи съ подоткнутыми подолами чуть не подъ самый вашъ носъ злобно выставляютъ ведра съ помоями: „на-де жри!" Подошвы шлепаютъ по какой-то слякоти, изрѣдка наступаешь на что-то, и это что-то пищитъ. Не сообразишь сразу, крыса или ребенокъ. На первыхъ порахъ идешь бодро, но чѣмъ выше, тѣмъ дышать тяжелѣе. Пріостанавливаешься, хватаешься за перила и отдергиваешь ладонь — мокры и грязны. Вонь стоитъ невыносимая. А колодцу конца нѣтъ. Лѣстница колѣнами. Вправо, влѣво, впередъ, назадъ, и на каждомъ поворотѣ по четыре двери; въ нѣкоторыхъ — всевидящее око! Очевидно, по этой трубѣ ютится самая бѣднота. Я въ отчаяніи чуть не вернулся, да на мое счастье сверху послышались тяжелые шаги и еще болѣе тяжелая ругань.

— Экая шушера. Вотъ, погоди, скажу старшому. Онъ тебя живо въ участокъ.

Смотрю — дворникъ.

— Тутъ у васъ Татьяна Петровна?

— Много живутъ. Гдѣ ихъ всѣхъ узнаешь. По патретамъ и то не разобрать — всѣ на одну колодку! Что твой пчельникъ... Не сообразишь.

— Да ты — дворникъ?

— А то кто жъ! Третій годъ дворникъ. Нешто не видишь?

— Такъ ты именно обязанъ знать всѣхъ въ домѣ.

— Я! — и онъ искренно удивился. Точно первый разъ услышалъ такую странную претензію. — Чудакъ-человѣкъ! Да она какая будетъ? Если съ рыжимъ хохолкомъ — малявочка, за французинку ходитъ, такъ ту Варварой кличутъ.

Я объяснилъ.

— Съ ребенкомъ... Махонькая, рябенькая. Ступай въ самый верхъ. А надъ самымъ верхомъ и еще верхъ будетъ. Узенькая лѣсенка. По ней прямо на жилой чердакъ — тутъ она и существуетъ. Студенты у ней бываютъ. Съ другой дѣвицей живутъ онѣ, въ родѣ какъ бы учительши.

— Вотъ-вотъ.

— А фамилію мы знать не обязаны. Я — неграмотный. Это старшого дворника дѣло. Мое — дрова носить, дворъ въ чистотѣ содержать, улицу и тротуаръ мести. А если вамъ французинку надо, такъ вы прошли. Она ниже. Къ ней все господа съ кулечками!.. Которые съ понятіемъ.

XXIX.

Это только въ Петербургѣ можно такой жалкій уголъ отдать внаймы. Кусочекъ у чердака отвоеванъ. Вмѣсто потолка — косая крыша отъ полу въ стѣну напротивъ. Окно, какія обыкновенно вороны любятъ. Сядетъ въ него вся черная, такъ и вырѣжется на сѣромъ фонѣ, и давай себѣ стальной клювъ чистить о подоконникъ — трескъ по всей кровлѣ... И въ комнаткѣ — точно сюда кто стучится. А вычиститъ клювъ и застынетъ въ блаженномъ созерцаніи цѣлаго моря раскидывающихся подъ нею крышъ и улицъ съ островами колоколенъ и куполовъ. Тамъ, внизу, шумъ и движеніе, а около — пустынно, какъ на Монбланѣ, развѣ только другая такая же ворона, пролетая, перекаркнется съ нею. Только что я вошелъ сюда, такъ на меня и пахнуло далекой, милой молодостью. Я живалъ въ такихъ воздушныхъ кельяхъ. Цѣлые часы, бывало, лежишь въ окнѣ (на полу, потому что окно вровень съ поломъ) и прислушиваешься къ гулу громаднаго города, къ безчисленнымъ голосамъ его, и въ нихъ чудится таинственное, мистическое. Точно мало-по-малу, подымаясь сюда, на эту высоту, самые обычные звуки теряютъ все житейское, обыденное... Умираютъ на полпути, и только ихъ души, души звуковъ долетаютъ до васъ. И какой просторъ — дальше отъ земли, отъ невидныхъ за кровлями улицъ и ближе къ небу. Низко ходитъ грязная вата осеннихъ тучъ, кажется, вотъ-вотъ проползетъ и по моей крышѣ, оставивъ на ней холодный, влажный слѣдъ. Сотни кровель, и подъ каждой тоже сотни жизней — драмъ, водевилей и простыхъ. невидныхъ, незанимательныхъ

будней, — гдѣ ни драмы ни водевиля, а какая - то сплошная тянучка, скучная, вязкая!... Только не юности она кажется такою... Тутъ вѣдь съ ея высоты, — весь дальній міръ раздѣлился надвое. Я и онъ, или я долженъ побѣдить его, или онъ сломитъ и уничтожитъ меня, и наивно молодой мысли эта борьба кажется легче легкаго. Только рѣшись и войди — и сейчасъ же навстрѣчу зазвучатъ торжественныя фанфары, и герольды на великолѣпныхъ коняхъ громко провозгласятъ твое славное, еще вчера никому неизвѣстное имя... Подъ шорохъ безчисленныхъ знаменъ улыбнется тебѣ красавица - свобода, одушевляя на славный подвигъ въ ея честь! И когда ты выѣдешь весь закованный въ сталь на бой съ чернымъ рыцаремъ тьмы и рабства,—ты знаешь, что самая смерть твоя въ пѣсняхъ менестрелей будетъ счастливѣе и ярче безвѣстной и никому не нужной жизни. Тѣмъ и хороши чердаки, что оттуда, сверху, не видишь житейской мелочи, а вѣдь волю, какъ крылья, связываетъ и силу душитъ именно мелочь — незамѣтная, крадущаяся, предательская. Съ крупнымъ помѣряешься, а эти съѣдятъ, какъ мыши съѣли епископа! Вѣдь и бактеріи — ищи, въ микроскопъ не разглядишь, а она уложитъ тебя раньше времени въ тѣсный гробъ и сомкнетъ навѣки твои орлиные глаза, хоть ты ими не мигая на солнце смотрѣлъ.

Я до сихъ поръ люблю эти воздушныя кельи чердаковъ, точно плавающихъ въ поднебесьѣ надъ будничнымъ и смраднымъ городомъ. Правда, теперь полиція запретила эти кельи, — должно - быть, ужъ слишкомъ она ненавидитъ высоту и чистый воздухъ. Не для червей онъ, а для вольной пташки... Вольной, — увы! —пока злая дѣйствительность не отъѣстъ у нихъ ослабѣвшихъ крыльевъ, и дѣлается тогда орелъ обыкно-

венною ручною птицей. Развѣ только во снѣ вспомнитъ молодые полеты, и захочется ему плакать въ душной клѣткѣ благоустроеннаго курятника!

XXX.

Митенька оказался пѣтухъ -пѣтухомъ. Такой молодчинище, — дай Богъ всякому. Во-вторыхъ, передъ моимъ приходомъ онъ разодрался съ собачонкой, причемъ не онъ у нея, а она у него просила помилованія. Во-вторыхъ, на меня налетѣлъ настоящимъ героемъ, обнаруживъ столь воинственныя намѣренія, что понадобилось для моего спасенія рѣшительное вмѣшательство матери. Разочаровавшись, такимъ образомъ въ надеждѣ побѣдить меня, онъ ничего лучшаго не нашелъ, какъ залѣзть подъ кровать и вытащить оттуда злополучную Жучку за хвостъ. Глаза у Митеньки были круглые, глупые и веселые, носъ тоже круглый и задорный. Видимо, ребенокъ росъ на свободѣ, и уже въ возрастѣ когда ему и панталонъ еще не полагалось по этикету, онъ со всякой своей маленькой бѣдой привыкъ справляться самъ.

— Пыхтитъ, урчитъ, весь краснѣетъ, а не заплачетъ, — объяснила Татьяна Петровна. — Посильнѣй насъ выраститъ... Сдѣлайте одолженіе! Ныть да киснуть не станетъ. Свое, что ему отъ жизни полагается, изъ горла у судьбы выхватитъ. Пасть ей раздеретъ! Ты, Митька, у меня бойцомъ будешь? Правда? — Она подхватила и вскинула его подъ потолокъ. — Жаловаться не станешь? Чуть что, — самъ въ драку полѣзешь..

— Давно ли вы... — я запнулся, — замужемъ?

— Не очень, только вѣдь я не вѣнчана.

— Это все равно! — не нашелся я что отвѣтить..

— Я тоже думаю... Правда, Митенька?.. Коли тебѣ скажутъ, что ты — незаконный, ты вѣдь не повѣришь... А чуть что, — самъ имъ законъ покажешь...

— Трудно вамъ?

— Съ нимъ, — напротивъ. Я вѣдь мать теперь. — Точно сама себѣ оправданіе нашла. — Вѣдь настоящаго человѣка поднять, — какая это славная задача. Такого, какъ я представляю, — чтобы онъ самъ по себѣ былъ. За правду умѣлъ постоять, какъ онъ ее понимать будетъ, и ни въ чьей бы милости да жалости не нуждался. Ни въ комъ не заискивалъ и никого и ничего бы не боялся. Бодраго, главное, — бодраго!.. Онъ и теперь чуть что, — ежомъ топорщится. Дыбомъ весь, — не сразу - то за него ухватишься. Довольно наше поколѣніе жертвами было. На сантиментальности, — ужъ чего глупѣе, — воспиталось. Самыя скверныя дрожди! Во всемъ обиходномъ репертуарѣ заиграннѣе роли нѣтъ. Эти чуть что, — напроломъ пойдутъ. Правда, Митька? Мы съ тобой покажемъ имъ кузькину мать. Какъ они на задокъ кареты гвозди, такъ и мы эти гвозди на шивороты, чтобы не очень ужъ лапами хватались. Наколются, ироды! А что у насъ денегъ мало, а иногда нѣтъ совсѣмъ, — такъ это, можетъ, и превосходно. Въ нѣжности да холѣ не очень ужъ бодрые люди растутъ. Больные, слабые да слякотные, — къ сладкому да мягкому привыкли. Какъ косточка, — и зубъ пополамъ. А мы съ тобой надежными будемъ. Надежными, Митенька, чортъ намъ не братъ? А? въ Макары мы не сгодимся? Да? Чтобы на насъ шишки падали?

Митенька таращился, силился что-то произнести,

но пока только слюну пускалъ пузырями да гудѣлъ на мать точно большой шмель.

— Не очень-то и вы малодушествовали! — засмѣялся я.

— Я, знаете, когда сама себя похвалила?

— Ну?

— А вотъ какъ его отецъ бросилъ насъ на произволъ судьбы — безъ гроша и безъ знакомыхъ на Волгѣ, и я не растерялась, не скисла и головы не потеряла. Продавать-то вѣдь нечего было.

— Очень вы его любили?

— Кого? Отца Митьки?

— Да...

Она задумалась.

— Не знаю... Какъ это было? До сихъ поръ самой непонятно совсѣмъ. Это въ насъ, въ женщинъ, природою вложено. Вѣдь и я не картонная. Должно было случиться. Думаю, что онъ меня на жалость взялъ. Ужъ очень на одиночествѣ онъ хорошо выѣзжалъ... Вижу, старый... брошенный. Всю жизнь прожилъ и никому не дорогъ... А тутъ разныя святыя слова, — до сѣдыхъ-де волосъ боролся и не жилъ совсѣмъ. Говорилъ онъ великолѣпно, ну, значитъ, какая я ни на есть, а все-таки баба, а баба — какъ перепелъ, на дудку идетъ, и меня онъ приманилъ къ себѣ. Полагаю, что и онъ искрененъ былъ. Вѣдь мужчина только тогда искрененъ, когда вретъ отъ души.

— Благодарю васъ!

— Не стоитъ. Возьмите влюбленныхъ. Развѣ не Александры Македонскіе? А женится, и выйдетъ ватная душа. Жуешь — мягко, а толку никакого, только что въ зубахъ вязнетъ. Такія книги есть. Заголовокъ — на удивленіе, а внутри тексту на три копейки. Развѣ не правда?

— Еще бы.

— Ну, вотъ! Заболѣлъ онъ, я за нимъ ходила. Цѣлые вечера просиживали вмѣстѣ. Ну, и... закружилась голова. На первыхъ порахъ я и не сообразила, какъ это все случилось. Въ каждой вѣдь жажда любви, а я — такой уродъ! Мнѣ никто до тѣхъ поръ ничего подобнаго не говорилъ. Всѣ наши на меня какъ на товарища смотрѣли. Я даже радовалась, — ну, а тутъ вдругъ во мнѣ что-то проснулось... Да вы только не подумайте, чтобъ я каялась, — ни въ чемъ не каюсь... Ну, недѣли двѣ счастлива была, — значитъ, каяться не зачѣмъ. Счастья вѣдь вообще мало.

„Не въ чемъ каяться, — упорно повторила она, точно я возражалъ ей. Мнѣ казалось, что она сама съ собою споритъ, въ чемъ-то убѣдить себя старается. — Говорю, не въ чемъ и не въ чемъ. Передъ кѣмъ я въ отвѣтѣ, кому обязана? Есть ли такой человѣкъ, которому отъ этого тепло или холодно? Митька развѣ, такъ я его такого подыму, что ужъ онъ-то ни въ чемъ не упрекнетъ меня!.. Ну, а когда тотъ ушелъ, — я опять - таки не каялась. Некогда было каяться, потому отъ нашихъ покаянныхъ воплей да слезъ слабѣетъ душа, на настоящее дѣло дрябнетъ. Нѣтъ, куда ужъ тутъ, — у самой молоко пропало, а онъ все, что у насъ было, съ собою взялъ. Такъ и объявилъ: ты — какъ - нибудь, а мнѣ на дорогу надо. А что ребенокъ, — такъ подкинь его. Митьку - то, силу мою, душу — подкинуть? А? И тогда же я дала себѣ слово: такого поднять, чтобы онъ меня передъ всѣми оправдалъ. Вотъ-де, вы мнѣ, кромѣ горя, ничего не дали, а я вамъ въ отплату настоящаго богатыря на ноги поставила, который и васъ за собою поведетъ. На что-нибудь да и пригодилось „воробьиное яйцо!; Это вѣдь вы меня такъ назвали?

Я смѣшался.

Татьяна Петровна улыбнулась.

— Да вы не очень... Я вѣдь вовсе и не обижалась. Напротивъ, кличка - то какъ разъ подошла. И наши всѣ меня тожъ — „воробьинымъ яйцомъ“. А вотъ изъ воробьинаго яйца орелъ вылупился да еще какой. Полетимъ, Митька, съ тобой далеко-далеко, въ такой край, который развѣ только во снѣ теперь снится, человѣческую душу праведнымъ счастьемъ дразнить. Такія ему надо крылья, чтобы въ нихъ силы на этотъ перелетъ хватило... Далеко... Далеко!..

XXXI.

Митенька прыгалъ у нея на рукахъ. Татьяна Петровна хохотала вмѣстѣ съ нимъ, и я не знаю, у кого изъ нихъ — у матери или сына — веселѣе горѣли глаза. Непобѣдимою бодростью все вѣяло кругомъ. Такъ что я на вѣру принималъ, когда эта хилая женщина говорила мнѣ: знаете, главное — не бояться жизни, и тогда она ничего съ вами силкомъ не сдѣлаетъ. Вездѣ есть клочокъ неба, лучъ солнца, малость земли, а это вѣдь все, что нужно. Большимъ-то вѣдь, пожалуй, и подавишься; такъ и будетъ казаться: „у кого-де я это украла“. Никогда я не понимала, что значитъ страхъ передъ завтрашнимъ днемъ. О „завтра“ даже и думать нечего. Тѣмъ, которые привыкли широко раскидываться да швырять деньги на всякій капризъ, тяжело порой. Но вѣдь это ужъ развратъ. Въ каждой копейкѣ, вмѣсто души, чья-нибудь капля пота или слезы, а то и кровь... Рабочая, святая! Если на подлость тратить, а мимо добра съ застегнутыми карма-

нами проходить, — такъ лучше, чтобы тебя первый хулиганъ ножомъ въ спину или кирпичомъ въ голову. Ну, а что намъ нужно съ Митенькой, — полтинникъ въ день, такъ неужели мы его не заработаемъ? Я вотъ какъ меня съ нимъ бросили, сейчасъ же продала все съ себя, что было лишняго, — недѣли на двѣ хватило. А въ эти двѣ недѣли переводъ нашла. Даже такъ приспособилась, чтобы съ дѣткой не разставаться. Слезы, бывало, къ горлу подступаютъ, глаза горятъ, да какъ подумаешь, что мнѣ съ нимъ некогда поддаваться этому, — ну, чувство обиды, одиночества и отойдетъ куда-то, гдѣ его и не разглядишь. А поддайся разъ на жалость къ самому себѣ, — затянетъ, точно въ болото. Одна такая, тамъ же, гдѣ и я, была и ребенка уморила и съ собой покончила. Кто-то мнѣ по этому случаю говорилъ, что въ общей экономіи природы двѣ жизни — капля въ океанѣ. Можетъ-быть, и такъ, а по-моему все-таки иначе. Всякая жизнь — задача. И каждый долженъ именно въ эту общую экономію добра, правды и свободы внести свою долю. Значитъ, всякая ранняя смерть — воровство у того же человѣчества, измѣна ему. Все равно, что бѣжать съ поля битвы. Товарищи кровью и усталью исходятъ, а ты ушелъ. Держись-де одни, а я вамъ не подмога. Выходитъ предательство! И знаете что: ни одна русская пословица (а изъ нихъ много прямо-таки подлыхъ!) не вѣрна такъ, какъ та, что „у страха глаза велики". Въ самомъ дѣлѣ, лучше ужъ въ этомъ случаѣ быть близорукимъ. Мнѣ говорили, напримѣръ, что дальнозоркіе актеры всѣхъ трусливѣе. Они каждое изъ тысячи лицо видятъ! Ну, а отъ страха-то вмѣсто мыши отвѣсную гору, пожалуй, вообразишь, и всякая дорога въ эту гору, кажется, уперлась, въ самую стѣну, и дальше некуда! А ты не бойся, по-

дойди, анъ вмѣсто горы просто мертвая мышь лежитъ. Обойди ее — вотъ и вся недолга. Правда, Митенька? Мы съ тобой жизни не испугаемся! На меня тутъ одинъ муравьѣдъ оралъ: да я васъ какъ мурашекъ уничтожу... Въ тартары ушлю. — А люди тамъ есть?— спрашиваю. Опѣшилъ... Посылайте, если совѣсти хватитъ. Можетъ-быть, тамъ еще лучше, чѣмъ здѣсь. Все отъ васъ, отъ большихъ муравьѣдовъ, подальше, а съ маленькими мы и сами справимся: люди есть, и намъ не страшно будетъ. — Вы знаете, у меня былъ пріятель, страстный велосипедистъ. Такъ онъ тоже такой совѣтъ давалъ. Коли ѣдешь по улицѣ, гдѣ сотни экипажей во всѣ стороны мчатся, — не думай! Валяй себѣ по педалямъ. Вѣдь что такое колеса — продолженіе твоихъ рукъ и ногъ. Изъ всего вынесутъ! А если подумалъ: вотъ тутъ не проѣдешь, вотъ этотъ рысакъ меня непремѣнно собьетъ съ ногъ, а та коляска изъ моего велосипеда восьмерку сдѣлаетъ, — ну, и навѣрное не проѣдешь: и съ ногъ собьютъ и восьмерку сдѣлаютъ. А не думаешь, — въ щелку всякую проскочишь и уцѣлѣешь. И муравьѣдъ этотъ со всѣми вѣдь покончилъ, кто его трусилъ. Точно въ самомъ дѣлѣ они сами ему подали мысль, что онъ въ правѣ ихъ ознакомить съ тѣми палестинами, куда Макаровы телята не забирались. Это у васъ, кажется, было о Скобелевѣ. Онъ молодежи совѣтъ давалъ: никогда не спрашивайтесь, а дѣлайте. Разъ вы спрашиваете, — значитъ, сами въ правдѣ и въ правѣ своемъ сомнѣваетесь. Ну, и у того, у кого вы позволенія просите, складывается мысль: должно-быть, я могу запретить, такъ ужъ вѣрнѣе запретить, — все отвѣта меньше. Кабы люди на все указокъ искали, мало бы на свѣтѣ добра удалось сдѣлать. Говорятъ: благоразуміе, а по-моему, просто, трусость, и ничего болѣе.

XXXII.

— Да вѣдь его, добра-то, дѣйствительно мало.

— Больше, чѣмъ вы думаете. Вы его не тамъ ищете, какъ надо.

— А по-вашему, гдѣ искать?

— Не смотрите слишкомъ сверху. Сверху-то ничего не видно. Въ простой жизни добра много. Вотъ какъ насъ бросили съ Митенькой тогда. Вверху-то мнѣ никто не помогъ. А на днѣ — всѣ. Кухарка остатки отъ обѣда намъ носила, горничная барыни одной, пока я работала, пеленки да рубашечки его урывками стирала, а городовиха въ свободную комнату, пока что, жить пустила. Такъ меня горе-то сбить съ ногъ и не могло! Потому, что чувствовала: не одна я. Народъ кругомъ — локоть къ локтю. И я сосѣдній локоть почувствовала,— ну, и не такъ страшно. Своя круговая порука внизу. Другъ за друга, а Богъ за всѣхъ. Не будь этого, — отъ нашей Россіи давно бы пустое мѣсто осталось! Ждать-то, когда изъ Питера или изъ Москвы помогутъ, некогда. Тамъ еще раскачиваются, пишутъ, отписываются да политику наблюдаютъ. А тутъ — въ нуждѣ сосѣдъ самъ идетъ къ тебѣ и не спрашиваетъ, подала ты прошеніе съ гербовой маркой или нѣтъ, выдали тебѣ откуда слѣдуетъ свидѣтельство о бѣдности или рѣшили, что животъ тебѣ еще не совсѣмъ подвело и голодать ты можешь безопасно... Разумѣется, бываютъ катаклизмы! Этакій вулканъ въ родѣ Кракатоа вдругъ разверзнется — и, смотришь, все кругомъ смело прочь. Начисто! Ну, тутъ ужъ стихія. Да и то вонъ отъ одного такого изверже-

нія вы меня выручили! Свинья все-таки не съѣла, а вѣдь какая патріотическая была! Нѣтъ, бояться жизни — значитъ дать ей возможность смять васъ и уничтожить. Бодрые да смѣлые хорошо видятъ, гдѣ настоящая опасность, а трусамъ она вездѣ мерещится... Да и смѣлому задача: идетъ на него сила, — надо еще рѣшить, сила ли это настоящая, или потому она и величается, что кругомъ слякоть да слабость? Можетъ быть, отъ одного хорового окрика отъ силы-то слизь только и останется! Вѣдь и китайцы своихъ драконовъ не даромъ изъ дерева и картона строили. Были же у нихъ противники, которые этихъ кулисъ боялись и близко не могли подойти. Ну, а подошли бы, — прямо бы въ морду этому дракону харкнули. Получайде въ свое удовольствіе, ваше богдыханство. Только бы и эффекта было!..

XXXIII.

Лѣтомъ Татьяна Петровна исчезла... Ея подруга по комнатѣ, когда я навѣдался къ ней, ничего не могла сказать, гдѣ та теперь околачивается со своимъ Митенькой.

— Рѣшила, что ей для ребенка воздухъ другой нуженъ, и уѣхала.

— Куда?

— На югъ. Къ морю, говоритъ, хочу.

— А деньги?

— На желѣзную дорогу наработала. Въ третьемъ классѣ теперь дешево.

— Что же она ко мнѣ не навѣдалась?

— Да вѣдь вы ее знаете? Она и то жаловалась на васъ: „У него, говоритъ, настоящей работы нѣтъ,

а онъ все мнѣ ее выдумываетъ. Фантазіи-то не занимать стать! Я у него вонъ французскія книги въ порядокъ приводила, заголовки по листкамъ, — что твой адресный столъ! А потомъ, смотрю, всѣ эти книги на рынкѣ. И ему не нужно, и я, оказывается, благотворительностью пользуюсь". А она этого терпѣть не могла.

— Какъ же она тамъ будетъ?

— У нея одинъ рецептъ: „Работа нужна вездѣ. А разъ нужна работа, — и я не пропаду. Кто просто къ жизни относится, не обманываетъ ее, того и она не обманетъ".

— Обѣщала писать вамъ?

— Нѣтъ! Она вообще не охотница до писемъ. Къ чему они?

Она, дѣйствительно, была не охотница до писемъ, но со мною иногда, — назло пространству, раздѣлявшему насъ, — перекликалась. И въ этотъ разъ случилось тоже. Я, какъ и многіе изъ насъ, по временамъ приговариваюсь судьбою къ молчанію. Едва ли во всемъ уголовномъ кодексѣ нашемъ есть наказаніе по своей жестокости равное этому. Человѣкъ прожилъ громадную полосу событій, нѣсколько поколѣній смѣнилось на его глазахъ, одни идолы были свергнуты, на ихъ мѣсто воздвигнуты другіе. Короткою памятью настоящаго готовится повтореніе прежней ошибки: а ты молчи. Двадцать пять лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ рѣкою на далекомъ югѣ лилась неповинная кровь и „святая, сѣрая скотина" расплачивалась за чужія ошибки, и вновь ее гнали на-смерть! Святыя слова были забыты — новоявленные Колумбы, обрѣтавшіе нѣкоторое имъ подобіе, рядились въ павлиньи перья, то, что это еще недавно для всякаго честнаго и умнаго человѣка было азбукою, теперь опять нуждалось въ

постановкѣ и доказательствахъ. Недавняя смѣлость въ исканіи правды смѣнялась безстыдствомъ погони за ощущеніями. Совѣстливые люди поневолѣ отступали передъ неистовыми наглецами, въ святое святыхъ ворвались чумазое пьянство и торжествующій развратъ, и недавніе храмы обратились въ дома терпимости. Хотѣлось крикнуть, напомнить, сказать. Образы и мысли тѣснились въ головѣ, грудь разрывалась отъ презрѣнія, негодованія, жалости. Молчать казалось преступленіемъ, а говорить было негдѣ. Уцѣлѣвшія каѳедры обратились героями сегодняшняго дня въ ватеръ - клозеты. Куда было сунуться? Безмолвствовать приходилось поневолѣ, сознавая, что завтра уже будетъ поздно, что съ ликующими побѣдителями потомъ не справиться! Торжествующія свиньи хрюкали во-всю, и человѣческимъ голосамъ въ этой благонамѣренной какофоніи не было мѣста. Въ такое именно время я отъ Татьяны Петровны получилъ нѣсколько словъ.

— До какихъ поръ вы будете молчать? Воды въ ротъ набрали? Неужели вамъ не стыдно? Крикните!

А спрашивается, гдѣ та колокольня, съ которой я могъ крикнуть? Всѣ онѣ обратились въ полицейскія каланчи, и вмѣсто благовѣста оттуда раздавалось воскресшее только внезапно во всей своей красѣ „слово и дѣло".

XXXIV.

Письмо Татьяны Петровны было помѣчено далекимъ южнымъ городомъ. Онъ точно вьявь воскресъ передо мною. Аметистовыя горы позади съ воздушными снѣговыми вершинами, голубая, нѣжная даль Чернаго

моря сливается съ ласковыми, чистыми, святыми небесами. У самаго берега — плоскія кровли, изъ-за пышныхъ, всей полнотою жизни завораживающихъ садовъ. Звонъ тихихъ струнъ и ароматъ цвѣтовъ, отъ котораго кружится голова и сладко-сладко бьется сердце... Куда-то тянетъ, къ кому-то зоветъ. Что-то смутное, радостное, счастливое дразнитъ невыразимой сказкой, — такъ хочется вѣрить въ нее, искать волшебнаго края, гдѣ она вся осуществленная дѣйствительностью. За плоскими кровлями — зеленый миражъ, по которому, то подползая къ аметистовымъ горамъ, то вольными кольцами раскидываясь къ городу, катитъ прозрачныя воды рѣка... Наконецъ-то Татьяна Петровна попала въ чудный уголокъ, гдѣ даже она, неугомонная, безпокойная, вся горящая неугасимымъ огнемъ жалости къ больному и бѣдствующему человѣчеству, найдетъ минуту отдыха, чтобы набраться новыхъ силъ на остальную жизнь. Нельзя же вѣчно быть на страдѣ, — усталымъ рукамъ нужно короткое бездѣлье, а измученную душу поэтическій сонъ природы исцѣлитъ отъ всѣхъ ея недуговъ. И Митенькѣ должно быть тамъ отлично. Поди, топочетъ теперь толстыми мягкими лапками по золотому песку береговыхъ отмелей и съ громкимъ смѣхомъ бѣжитъ прочь отъ надвигающихся на него вспѣненныхъ волнъ... Сердечно порадовался за вѣчную мірскую печальницу. Наконецъ-то и на ея долю выпалъ недолгій славный праздникъ... И только потомъ мнѣ привелось узнать, насколько мало я понималъ эту боевую натуру. Именно боевую! Съ тонкихъ бѣлыхъ минаретовъ по утрамъ и вечерамъ муэдзины будили правовѣрныхъ, меланхолическими напѣвами сзывая ихъ на молитву. Въ душѣ у Татьяны Петровны былъ свой недремлющій муэдзинъ. И онъ не давалъ ей отходить въ ласковое царство дремы, не

позволялъ успокоиться ни на минуту. Некогда! Жить надо! Въ могилѣ наспимся вволю. Тамъ ужъ никто и не разбудитъ, и сердце не забьется чужому страданію отвѣтною болью... Некогда!

XXXV.

Не прошло и двухъ недѣль, какъ Татьяна Петровна написала мнѣ опять. Отъ яркаго марева юга не осталось ничего. Все облетѣло, осыпалось, какъ цвѣты осенью. Дѣйствительно, нѣсколько строкъ этого письма студенымъ вѣтромъ повѣяли на замечтавшуюся душу. Разомъ вернули къ безпощадной правдѣ жизни... Въ благоуханномъ раю, между аметистовыми горами и сиреневою морскою далью, совершалось что-то невообразимое. Сотни мирныхъ и кроткихъ семей, оторванныя отъ своихъ очаговъ, ждали, скучась на песчаномъ берегу, громадныхъ пароходовъ, чтобы навѣки бросить политыя ихъ кровью и потомъ мѣста и уйти въ таинственную даль, къ чужимъ людямъ. Не желавшіе зла никому, они были гонимы, какъ волки. У себя дома ихъ ждала медленная и лютая смерть за кроткую проповѣдь любви и добра. Обѣтованіе исполнялось не разъ. Послѣ своей крестной смерти Христосъ часто приходилъ въ міръ, утонувшій въ ненависти, возвращался рабомъ и нищимъ, и человѣчество не узнавало его. Въ каждой странѣ и у всякаго народа были свои Голгоѳы, и Мессію распинала на нихъ ликующая сила. Вѣкъ за вѣкомъ Пилаты Понтійскіе умывали руки, воины бичевали мученика, вбивали гвозди въ живое тѣло, прободали ему бока, и кровью оттуда обрызгивало насъ, не умѣвшихъ и не хотѣвшихъ понять,

что это значитъ: кроткое и тихое, изъ сведенныхъ страданіями блѣдныхъ устъ: „Прости имъ... не вѣдятъ, что творятъ". Писатели должны были звать къ милосердію, ученые — дѣлать такъ, чтобы не было невѣдающихъ и, слѣдовательно, злыхъ, но и тѣ и другіе шли иными путями — до новой Голгоѳы, до слѣдующаго Пилата... Въ концѣ-концовъ всѣ обратились въ такихъ Пилатовъ, и когда жалкое, заброшенное, хилое, но сохранившее душу живую существо, — въ родѣ моего „воробьинаго яйца", — кричало благимъ матомъ „помогите", мы удивленно оглядывались, морщились и расходились по своимъ дѣламъ, твердо памятуя народную подлость (ужъ никакъ не мудрость!) выразившуюся въ отвратительномъ присловьѣ: „Моя хата съ краю, — ничего не знаю". Евангельская легенда повторялась и повторяется всюду, и ослѣпшее человѣчество не видитъ и не угадываетъ ея страшной дѣйствительности. Даже купленная вѣковыми муками и святѣйшею кровью свобода не можетъ родиться, какъ и Христосъ, чтобы одурѣвшій въ угарѣ власти и слѣпой силы Иродъ не приказалъ истребить младенцевъ, воображая, что тѣмъ самымъ онъ можетъ убить божество въ человѣкѣ!

Христосъ шелъ и по тѣмъ отдаленнымъ мѣстамъ, между аметистовыми горами и синимъ моремъ. Его гнали такъ же, какъ тысячу девятьсотъ лѣтъ назадъ, къ далекой Гоглгоѳѣ, тамъ — на крестъ, здѣсь — за тридевятое царство, въ тридесятое государство... Татьяна Петровна, разумѣется, не могла защитить новаго Мессію, но въ ея силахъ было другое. Узкое костлявое плечо подъ его крестъ. И она пошла вмѣстѣ съ нимъ. И не только сама пошла, но сдѣлала нѣчто большее. Съ собою повела и ребенка. Ужъ ей ли, матери, не имѣть правъ на безспорное Пилат-

ство. Кого-кого, а ее бы никто не обвинилъ. Татьяна Петровна поняла свое назначеніе иначе. „И у тѣхъ есть дѣти, и тамъ много матерей, — чѣмъ же я лучше?“ Гонимыя матери коснѣли въ невѣжествѣ, и въ новой странѣ имъ нельзя было бы обернуться и стать на ноги... „Я вѣдаю, и мнѣ не простится, если не помогу имъ вѣдѣніемъ“.. Простится только невѣдающимъ, — и Татьяна Петровна такъ же просто, какъ все дѣлала эта несложная душа, взяла да и перешла съ твердой земли на пароходъ вмѣстѣ съ ними, голодающими, темными, измученными...

— А Митя? — спрашивали ее.

— Что жъ, Митя? Еще бодрѣй и сильнѣй выростетъ!

А если не выдержитъ?

— Посмотрите, сколько тутъ дѣтей. Чѣмъ мы лучше? Главное, — если хочешь помочь, не надо думать и колебаться. Сдѣлай, а потомъ думай. Иначе никогда и ничего не выполнишь... Ударятъ ночью въ набатъ, — и люди, не соображая, голы или одѣты, какъ есть, такъ и бѣгутъ на чужую бѣду. А вѣдь это настоящій набатъ!.. Благоразумные, — вонъ они! — кивнула она на праздную и любопытствовавшую толпу зѣвакъ. — Тишь имъ да гладь, а мы другого поищемъ, авось, и найдемъ.

И ничего особеннаго, геройскаго не было въ ней, этой тощей и блѣдной женщинѣ. Скорѣе дѣловое. Озабоченно смотрѣли большіе лучистые глаза, бѣлесыя брови сдвигались, и, оглядываясь кругомъ, она, видимо, соображала, за что ей приняться сейчасъ, не теряя времени, какимъ плечомъ подпереть тяжкій крестъ Христовъ по тернистому и мучительному пути къ далекой Голгоѳѣ...

XXXVI.

Ожидала этой Голгоѳы впереди, а на дѣлѣ оказалось: настоящая-то, заправская Голгоѳа позади осталась. Мнѣ писали съ дороги, и блѣдный образъ Татьяны Петровны такъ и воскресалъ передо мною. Невидная и скромная героиня! Вотъ ужъ именно ей не приходилось складывать рукъ. Способности и знанія такихъ, какъ она, никогда не выступаютъ до поры, до времени изъ общаго фона. Думаешь, что въ ней, и мало ли такихъ, какъ она. А при случаѣ вдругъ „воробьиное яйцо“ обернется такою силою, какая и иному орлу будетъ не по размаху его могучихъ крыльевъ. Въ первые же часы послѣ посадки нашихъ изгнанниковъ, на англійскій пароходъ Татьяна Петровна оказалась общей переводчицей и заступницей. Гдѣ и когда она выучилась языку или, — если знала его раньше, — какъ ни однимъ словомъ не обмолвилась объ этомъ, — я и ума не приложу. Для духоборовъ въ этотъ долгій и мучительный путь она была настоящимъ Провидѣніемъ. Отстаивала ихъ на пароходѣ, не давала въ обиду, добивалась такихъ удобствъ, безъ которыхъ дѣтишки на половину бы перемерли; въ досуги, когда покойное море допускало это, читала имъ и родное и чужое. Свое, связывающее ихъ еще крѣпче со всѣмъ добрымъ и хорошимъ, что осталось позади, дома; чужое, что впередъ знакомило ихъ со страной, куда подъ чернымъ дымнымъ знаменемъ по густой синевѣ теплаго океана и подъ огневыми стрѣлами безпощаднаго солнца уносилъ ихъ корабль. Сидя

вокругъ, они жадно слушали, что ихъ ожидаетъ въ вольной чудесной странѣ, гдѣ человѣкъ давно призванъ быть человѣкомъ, и никакому палачу не приходитъ въ голову взбалмошная и дикая мысль обратить ближняго, брата и друга, въ скота подъяремнаго или издѣваться надъ нимъ и его душою, какъ надъ шутомъ и рабомъ безотвѣтнымъ. Она разсказывала имъ объ особенностяхъ и характерѣ людей тамъ, чтобы въ первыхъ столкновеніяхъ съ чужимъ обиходомъ бѣдные и кроткіе не потерялись, не разочаровались, а бодрѣе принялись за работу. Должно-быть, Татьяна Петровна дѣйствительно была счастлива въ эту минуту. Тутъ ей никто не мѣшалъ дѣлать свое, не бросали ей палки въ колеса и не предъявляли требованій патента на право совершать доброе и праведное. Весело шелестѣли флаги съ высокихъ мачтъ; взбираясь на синіе океанскіе валы, пароходъ бодро одолѣвалъ ихъ и, падая въ пѣнящіяся бездны, съ еще большею мощью взлеталъ на крутые склоны. Воздухъ, разсѣкаемый его движеніемъ, весело шепталъ въ уши свое славное „здравствуй!“ и серебряное кружево пѣны позади уходило Богъ знаетъ куда, точно царственный шлейфъ величавой свободы... А по сторонамъ мерещились невиданныя страны и чудные обликомъ народы. Золотыя подъ этимъ солнцемъ, среди пальмъ гордыми памятниками стояли руины старыхъ цивилизацій, и, казалось, человѣкъ такъ великъ среди всей этой красоты, что въ его такую маленькую грудь вмѣщался цѣлый міръ, разстилавшійся передъ нимъ. Иногда, оставаясь одна, когда дремота не охватывала ее, Татьяна Петровна подъ незнакомыми звѣздами южнаго неба уходила грустною мечтою въ оставленный край... Что ей грезилось въ такія минуты?

XXXVII.

А декорація грезамъ была удивительная! Не надо мѣсяца — довольно сіянія безчисленныхъ яркихъ свѣтилъ ночного неба, чтобы видѣть все кругомъ. Даже въ эти поздніе часы синими чудились мѣрныя и ритмическія волны, сверкавшія бездною невидимой днемъ жизни. Вспыхивали, разбиваясь о киль, медузы; лучились и горѣли сказочные обитатели недоступныхъ глубинъ; по гребнямъ валовъ, неуловимые простымъ глазомъ, но сильные чудовищнымъ количествомъ, мерцали сплошнымъ фосфорическимъ свѣтомъ безконечно малые... Порою во мракѣ, подъ поверхностью океана, навстрѣчу парохода рѣзали теплую влагу тоже едва-едва охваченныя голубоватымъ блескомъ странныя чудовища, а даль, строгая, таинственная волшебная, чаровала Татьяну Петровну дивною прозрачностью, смутными обѣтованіями счастливаго будущаго. И надо всѣмъ — это несравненное, божественное, полное вѣчныхъ загадокъ небо, гдѣ вокругъ каждой свѣтоносной пылинки вращаются заповѣдные намъ міры, съ еще величайшими этого океанами, материками, царствами, человѣчествами, колыбелями и руинами человѣчествъ, и въ огненныхъ вихряхъ создаются новыя вселенныя... Вездѣ бодрость, сила, творчество. Бодрость и сила — въ жизни и смерти, потому что смерти нѣтъ нигдѣ, а есть только мгновеніе перехода къ иному, лучшему, еще лучезарнѣе, громаднѣе, живѣе!.. Въ молчаніи и тишинѣ громче говорили чуткой душѣ флаги... И слышалось въ нихъ тысячи разъ повторенное: „Свобода, свобода!..“

Свобода, свобода, свобода! Есть на языкѣ человѣческомъ удивительныя слова, — сколько разъ ни скажи ихъ, — все равно: они звучатъ одинаково, точно отзываясь гулкими торжественными колоколами каждому біенію пульса, всякой мысли, зародившейся въ головѣ, чувству, вспыхнувшему въ сердцѣ и еще не нашедшему себѣ выраженія. Свобода, свобода, свобода, — и смутно чудится: цѣлый міръ притаился и боится проронить этотъ кличъ, и какъ бы ни было велико сердце земли, оно слѣдуетъ за нимъ своимъ вѣчнымъ біеніемъ. Свобода, свобода, свобода!.. Будто громадныя вѣщія птицы во все небо раскинули чудовищныя крылья, на полміра бросившія тѣнь, и въ своемъ могучемъ полетѣ къ солнцу роняютъ всему, что ждетъ, вѣритъ и думаетъ, эти священные завѣты... Свобода, свобода, свобода, — и грани вселенной раздвигаются боевому зову молодыхъ дружинъ, эта тропическая ночь въ безконечную глубь ушла, чтобы дать ему мѣсто... И все-таки мало его, — мало потому, что вольной мысли нѣтъ предѣловъ и нѣтъ конца. Она вѣчна и безконечна, какъ Богъ, потому что самъ Богъ есть не что иное, какъ величайшая свобода...

Бездна вверху, бездна внизу, бездна по сторонамъ... Міровая бездна чудной, жаркой, звѣздной ночи, и въ этой безднѣ только и есть сейчасъ живого, что корабль, стремящійся къ вольному, далекому еще краю, да праведная бодрая душа на его палубѣ. Смутно рисуются высокія мачты, синій туманъ подымается надъ океаномъ, строже въ эту зеленую глубь смотрятъ безсонныя очи звѣздъ. И вдругъ Татьянѣ Петровнѣ кажется, что ни міра, ни тверди, ни моря нѣтъ кругомъ. Ее подхватило чье-то крыло и, назло разстоянію и времени, уноситъ въ царство

самой свѣтлой, самой поэтической сказки, какую только создавало воображеніе человѣка... Да, весь мракъ, все злое, насильное, подлое осталось позади... Летите же, волшебныя крылья, шуми внизу, неугомонная стихія, тысячами звѣздъ гори недосягаемая высь... Она, Татьяна Петровна, слышитъ одно кругомъ: свобода, свобода, свобода!..

XXXVIII.

И вдругъ, точно обрывокъ забытой пѣсни, откуда-то вѣтромъ нанесло недавнюю быль... Страна молчанія, къ самому полюсу прикованная льдами... Холодны эти оковы... Солнце правды давно жжетъ ихъ лучами. Таютъ сверху льды, шумными водами несутся порою по бѣлой, на саванъ похожей, глади... Но воды уходятъ, солнце прячется, и льды растутъ опять. Растутъ и еще крѣпче куютъ край молчанія, еще надежнѣе спаиваютъ его съ царствомъ смерти — полюсомъ... Безмолвенъ великій народъ, еще ожидающій подъ этимъ саваномъ своего „да будетъ", чтобы громко, на весь міръ, отозваться: „Слава тебѣ, показавшему намъ свѣтъ"... И жалко ей, дочери этого народа, отцовъ и братьевъ, оставшихся тамъ, откуда ее унесли волшебныя крылья. Ей откроются новые заласканные небомъ и моремъ края, а что будетъ съ тѣми, измученными и обвитыми саваномъ, позади?

Точно подстрѣленная птица, падала мысль.. Падала и билась на палубѣ парохода, гдѣ только рулевой позади да вахтенный на самомъ носу не спали... Татьяна Петровна вставала и подходила къ высокому борту. Ярче и ярче свѣтились разбивавшіяся волны.

На минуту вспыхивали раздраженнымъ голубымъ свѣтомъ цвѣты загадочнаго моря и снова гасли, и такъ же вспыхивали и гасли въ душѣ одинокіе родные образы и чувства, незнакомые этому торжествующему вольный праздникъ морю...

Въ самомъ дѣлѣ, не ея ли родина создана для счастья, не она ли вольна ото всего, что такъ долго связывало другіе рядомъ живущіе народы и не давало имъ двинуться впередъ! Куда ни взглянешь, вездѣ прошлое у нихъ, крѣпко держитъ въ цѣпкихъ когтяхъ сегодняшнюю быль... Тамъ люди не могутъ выйти изъ-подъ тѣни царственныхъ старыхъ соборовъ, дворцовъ и башень. Они дѣтьми росли подъ ними, и сердце точно улитка присосалось къ древнимъ камнямъ, — отвори, — кровью брызнетъ. Пирамиды Египта, колонны Пальмиры, акрополи Эллады, царственныя руины Лаціума, мечети и альказары Иберіи, базилики и замки Франціи и Германіи... Поди, развяжись съ этимъ... Вѣчная исторія къ ногамъ старыхъ народовъ привязала тяжелое „каменное“ ядро, затрудняющее ихъ бѣгъ къ свѣту и свободѣ. А въ средневѣковомъ прошломъ не счесть у нихъ, можетъ-быть, и призрачной, но все же красоты! Какую благородную роль играла женщина, сколько, хоть подчасъ и насильнаго и глупаго, героизма было у мѣднолобаго рыцаря. А поэзія менестрелей, трубадуровъ, а легенды, которыя до сихъ поръ вяжутъ и туманятъ человѣчество?

Такова ли ея „деревянная“ родина, у которой еще, пожалуй, есть „вчера“, а „третьяго дня“ уже уходитъ изъ памяти... Да какъ же ему и сохраниться, если все старое здѣсь выгораетъ отъ красныхъ пѣтуховъ и Божьяго произволенія. Россіи ли останавливаться на своемъ побѣдномъ и великомъ пути!

Что связало ея сердце съ давно позабытою былью? Батоги, рваныя ноздри, батыевщина, опричнина? У сосѣдей есть романтическія преданія, — тамъ столько красоты въ прошломъ, обманчивой, фальшивой, да все-таки красоты. Вѣдь и мишура и стекло со сцены горятъ, какъ настоящее золото и алмазы... Если есть народъ будущаго, такъ это — ея народъ; если кому и суждено вывести человѣчество изъ земли халдейской въ землю ханаанскую, такъ это именно ея отцамъ, братьямъ и сестрамъ... Что же они молчатъ, что спятъ былинные богатыри съ палицами, не ударятъ въ ледяныя скрѣпы?..

XXXIX

Звѣзды отражаются морскою глубью... Звѣзды, дрожащія въ вѣчно движущейся стихіи... Удлиненные огоньки въ трепетѣ холодной страсти, точно она въ отвѣтъ на ласку неба вспыхиваетъ чѣмъ-то живымъ, какими-то мыслями, внезапно рождающимися въ ней... Какъ это все соотвѣтствовало тому, что думала и чувствовала Татьяна Петровна, переживая во мракѣ среди пустыннаго, движущагося моря свое прошлое и будущее... Они сливались во мгновеніи настоящаго, въ этомъ поцѣлуѣ двухъ ангеловъ смерти и жизни... Ибо что такое настоящее, какъ не мгновенная прощальная улыбка умершаго прошлаго съ бодрымъ привѣтомъ ужъ стоящаго у порога его могилы будущаго? Гробъ и колыбель вмѣстѣ. Надежда, выростающая изъ трупа, когда-то бывшаго, въ свою очередь, надеждой... Умирая, она осуществляется... Милліарды такихъ огоньковъ колебались вокругъ парохода, черные клубы вверху тяжело и грубо отдѣляли его отъ свер-

кающей вѣчными тайнами высоты... Густые клубы, какъ пережитое, оставались позади и на чистую морскую поверхность падали пепломъ перегорѣвшихъ страстей. Онѣ уже двинули то, въ чемъ зародилось будущее, далеко-далеко, а сами остались здѣсь, служебныя, никогда сами для себя не существующія... И выше звѣздъ чудилось что-то еще громаднѣе, страшнѣе, безумнѣе, божественнѣе, чуждое нашимъ маленькимъ мыслямъ и сгорающимъ въ пепелъ страстямъ, вышедшее изъ предѣловъ земныхъ измѣреній, — то, что мы, въ безсиліи понять и опредѣлить, назвали однимъ великимъ „ничто“. „Ничто“... Можетъ-быть, въ этомъ „ничто“ — вселенная только пылинка въ солнечномъ лучѣ, какъ въ „безконечности на ноль“ — миріады цифръ и измѣреній!..

XL.

Мы получили первые свѣдѣнія о Татьянѣ Петровнѣ стороною. Какъ-то приходитъ ко мнѣ взволнованная, радостная ея подруга, съ которою она жила въ Петербургѣ въ послѣднее время.

— Что это вы?.. Съ праздникомъ?..

— Да, дѣйствительно...

— Во всякомъ случаѣ, не календарнымъ?

— Нѣтъ, съ настоящимъ... Есть извѣстія о т т у д а.

Она махнула рукою въ пространство и на мой удивленный взглядъ пояснила:

— Отъ Тани!

— Вы указывали на сѣверъ, а она вѣдь теперь на западѣ.

— Все равно. Читайте.

Протягиваетъ англійскую газету. Какой-то „иксъ“ собщаетъ впечатлѣнія во время переѣзда въ Америку. Онъ сѣлъ въ Коломбо, и его остановило прежде всего невиданное зрѣлище „русскихъ методистовъ“. Описавъ ихъ наружность довольно вѣрно, онъ подмѣтилъ одну особенность. „Это была дѣйствительно община (русскій бы сказалъ: міръ, громада). Тутъ все: и чувства, и мысли, и молитвы коллективны. Люди и думали и пѣли хоровымъ строемъ. У нихъ были свои псалмы, и матросы прислушивались къ нимъ съ видимымъ уваженіемъ. Англичанина поразила любовь, съ которою изгнанники относились къ куліямъ-китайцамъ и индусамъ, которыхъ британцы хотя и считаютъ выше узкоглазыхъ сыновъ Небесной Имперіи, но все-таки далеко ниже себя. Русскіе называли ихъ братцами, и это было не формальное, обрядовое, а дѣйствительное, внутреннее, духовное, что и сказывалось въ ихъ манерѣ разговаривать, помогать, дѣлать сообща, что имъ нужно было въ данную минуту. Куліи-китайцы пользовались этимъ, чтобы гдѣ можно поднадуть новоявленныхъ братцевъ; индусы, напротивъ, были отъ нихъ въ восторгѣ. Англійскій корреспондентъ, разумѣется, при этомъ не могъ удержаться отъ экскурсіи въ области политики. Онъ облетѣлъ мыслью недалекое, по его мнѣнію, будущее, когда русскія войска войдутъ въ Индію. Благодаря этому „братству“, инстинктивному чувству единства всѣхъ людей, хоровому началу, разумѣется, завоеватели разомъ пріобрѣтутъ любовь нынѣшнихъ данниковъ британской короны... И т. д., все въ томъ же родѣ. Повѣрь этому, мы такъ бы высоко задрали головы, — „какіе-де мы, такіе, сякіе, немазанные!“ Правду сказать я на этой глупости и не останавливался. Меня

заняло другое. Нѣсколькими строками ниже я прочелъ: „Душою этой религіозной коммуны является мистриссъ Татьяна Аникѣева, добровольно послѣдовавшая за изгнанниками, чтобы служить имъ на новомъ и трудномъ пути“...

XLI.

Нужно отдать должное англійскому наблюдателю: онъ подмѣтилъ, прежде всего, характерную черту Татьяны Петровны: „И между нашими женщинами не мало самоотверженныхъ и великодушныхъ героинь, но онѣ сами выдвигаются впередъ повелѣваютъ, направляютъ. Эта — напротивъ. Она — частица общаго хора. Съ удивительною скромностью сливается съ нимъ и, будучи его душою, дѣятельною мыслью, нигдѣ не занимаетъ выдающагося положенія, первенствующаго мѣста. Въ этомъ случаѣ сходство съ душою было еще ближе. Какъ душа, она пряталась въ массѣ, и о ней можно было судить только по дѣйствіямъ всей коммуны... Лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда пароходное начальство попирало въ чемъ-нибудь права переселенцевъ или притѣсняло ихъ, мистриссъ Аникѣева смѣло выступала, объяснялась за соотечественниковъ и съ такою энергіей требовала возстановленія нарушеннаго права, что мужчины поневолѣ отступали передъ этой боевой натурой... У мистриссъ есть сынъ, который ведетъ жизнь, одинаковую съ дѣтьми переселенцевъ. Сколько разъ ни предлагали матери окружить ее и его большими удобствами, она рѣшительно отказывалась отъ него.

— Онъ — такой же переселенецъ, какъ они... Въ

общихъ съ ними лишеніяхъ его связь съ покинутою родиной...

Разумѣется, Татьяна Петровна выражалась проще, но англичанинъ перевелъ ея мысль по-своему.

Аникѣева не складывала рукъ, ухаживала за больными, и пароходный врачъ самъ отдалъ ей справедливость, признавъ, что именно ей палубные пассажиры третьяго класса обязаны сноснымъ санитарнымъ состояніемъ. Она одушевляла малодушныхъ, не позволяла слабымъ падать духомъ, смиряла тѣхъ, которые хотѣли выдаться и личные интересы поставить выше общаго, хорового... „Мы въ первый разъ, — говорилъ англичанинъ-корреспондентъ, — знакомились съ тѣми удивительными по энергіи, характеру и самоотверженію русскими женщинами, о которыхъ такъ много говорили намъ до тѣхъ поръ письма съ ихъ далекой и холодной родины. Если русскій народъ заслужилъ свободу и человѣческія права, такъ во многомъ онъ обязанъ своимъ матерямъ, женамъ и сестрамъ“...

Далѣе шли несущественныя подробности и мы ихъ опускаемъ...

XLII.

Всякія свѣдѣнія надолго прекратились о Татьянѣ Петровнѣ. Точно она растаяла. Мы уже думали, не умерла ли она. Тѣмъ, кто уходитъ отъ жизни, жизнь не оставляетъ мѣста. Уцѣлѣвшіе сдвигаются, локоть къ локтю, и вернувшемуся, пожалуй, будетъ некуда сунуться. Я часто задавался страннымъ вопросомъ. Пусть послѣ любой смерти пройдетъ годъ. Умершаго оплакали, даже продолжаютъ оплакивать, но какъ воз-

духъ не терпитъ пустоты, такъ и условія жизни не допускаютъ пробѣловъ. Она тотчасъ начинаетъ созидательную работу, и не пройдетъ мѣсяца, двухъ, трехъ, какъ промежутокъ выхваченнаго смертью мѣста уже оказывается затканнымъ. Воскресни мертвый, — если это не дитя къ матери, — и вернись онъ къ женѣ, сестрѣ, мужу, друзьямъ, — все равно, — люди сдвинулись локоть къ локтю, образовались новыя связи, отношенія, знакомства. Все переплелось и живые сдвинулись до такой степени, что новому и нѣсколько запоздавшему Лазарю, пожалуй, будетъ некуда дѣваться. Развѣ итти назадъ, въ некстати оставленную могилу... То же и съ отсутствующими. Ихъ забываютъ не настолько, но все-таки забываютъ. Вернется, — ему рады, но съ нимъ уже не знаютъ, какъ держаться. Онъ ушелъ изъ русла, и, чтобы попасть въ него опять, ему надо раздвинуть многихъ, которые безъ него отлично себя чувствовали... Поговорили и мы о Татьянѣ Петровнѣ и перестали. Ждали, что она будетъ писать, но ей было не до того, некогда, или не о чемъ, — такъ она и ушла тусклымъ пятномъ назадъ, въ тотъ общій фонъ, въ который всегда сливается всякая быль... Вспоминали мы о ней только тогда, когда въ газетахъ, часто въ злорадномъ тонѣ (чѣмъ это они ужъ такъ счастливы!), появлялись слухи о неудачахъ, постигшихъ русскихъ переселенцевъ на далекій западъ. „Бѣдная Татьяна Петровна, что-то съ нею теперь?“ перекидывались мы незначащими фразами, никого и ни къ чему не обязывавшими. Въ нихъ много лицемѣрія. Повидимому, люди сочувствуютъ, но отъ ихъ сочувствія никому не тепло, а иногда — такъ холодно, что сквозитъ, и насморкъ получишь! Даже начинали слышаться нѣкоторыя укоризны. И что-де ее понесло туда, — у насъ, что, ли, мало дѣла? Да еще

съ ребенкомъ. Тоже мать! Подыми сначала своего, а потомъ заботься о чужихъ. И тому подобныя пакости.

XLIII.

Дурнымъ вѣстямъ особенно радовалась полицейская печать.

Она — какъ воронье на падаль. Гдѣ трупомъ смердитъ, туда и она раскидываетъ черныя крылья и загодя каркаетъ во-всю. Вотъ-де, искали свободы, а въ свободной странѣ имъ еще горше. Разумѣется, это „горше" понималось особенно. Литературные сыщики коротки памятью. Они забыли, что тамъ, гдѣ теперь мучатся въ непривычной обстановкѣ искатели вѣчной правды, имъ все-таки нечего опасаться ни за свои спины ни за своихъ дочерей. Никому тамъ вѣдь не придетъ въ голову насиловать и заражать сифилисомъ ихъ дѣвушекъ и стегать плетьми отцовъ такъ, чтобы живое мясо вокругъ клочьями разлеталось. Голодно, холодно, да человѣческое достоинство зато не поругано, и душу не выматываютъ Торквемады кустарнаго производства. Отвѣчать на карканье не всегда удобно, а здѣсь и подавно. Во-первыхъ, карканье было столь побѣдоносно, что по нашимъ мѣстамъ за всякое „цыцъ" по существу прежде всего оказывался собственный шиворотъ въ опасности, а во-вторыхъ, и отвѣчать намъ было нельзя, — данныхъ недоставало. Мы только сердцемъ болѣли за мучениковъ и въ этомъ ихъ именно и обвиняли. Экіе-де неисправимые идеалисты! Куда ихъ ни приткни, — вѣчно они по догмату, а не по настоящей жизни дѣйствуютъ. Ужъ тамъ ли имъ не сла-

вословить Творца, создавшаго такіе туки, а они, — на, поди! — ничего не забыли, ничѣмъ не поступились и въ своемъ обиходѣ ничего не измѣнили!.. Даже отъ сочувственниковъ (прямыхъ потомковъ Пилата Понтійскаго) случались:

— Слышали?

— Какъ же!

— Ну, ужъ это, простите меня, печатные дураки...

— А мы еще за нихъ копья ломали...

— Тамъ-то не ужиться...

— Насъ бы туда пустили!

Точно ихъ кто-нибудь держалъ за хвостъ. Экспедиція выдачи заграничныхъ паспортовъ не за горами. Взялъ бы „Пилатъ" извозчика, да и съѣздилъ съ установленнымъ полицейскимъ свидѣтельствомъ безпрепятственности на Адмиралтейскую площадь. Отдалъ пятнадцать цѣлковыхъ, и стремись въ Эльдорадо. Даже на границѣ, вручая тебѣ зелененькую книжку, жандармы подъ козырекъ сдѣлаютъ: все-де въ порядкѣ, ходите вольно, только по ту сторону...

XLIV.

И вдругъ совсѣмъ неожиданный оборотъ.

Было преподлое время.

Сѣрая и грязная петербургская весна съ инфлуэнцей, лихорадками, тифами и дифтеритами точно съ цѣпи сорвалась. По небу ползла неопрятная вата; жить, дышать, думать было холодно и мокро. Что - то выло по улицамъ, било то снѣгомъ, то дождемъ въ тусклыя, изнутри закутанныя окна, влетало сквозь трубы въ печи и тамъ плакало, — я-де тебя найду, ку-

да ты ни спрячься. Люди ходили точно тарантасы, поднявъ кибитки вверхъ и выставляя на эту подлость одни носы. Всѣ злились, шипѣли, и будь такая электрическая пуговка, нажавъ которую можно было бы истребить всю планетную систему, исключая собственнаго логова, — ей бы не просуществовать и часу. Хлюпало внизу, лилось сверху, дуло со всѣхъ сторонъ. Сырѣло въ головахъ, и тамъ заводилась плѣсень съ бѣлыми, какъ въ непроглядныхъ тюрьмахъ, грибами. Тѣ, которые притворялись въ этой отвратительной сутолокѣ веселыми, поминутно измѣняя себѣ, чертыхались. Жутко было всѣмъ, самыя скромныя домашнія животныя начинали въ отчаяніи колебать основы, и лишь одно 20-ое число стояло незыблемо. До него не осмѣливалась коснуться ни одна святотатственная рука, ибо народы, царства и цари, — все прейдетъ, рѣка временъ въ своемъ теченіи утопитъ материки, осушатся океаны, а 20-ое число останется свидѣтельствовать новому человѣчеству о необъятной мудрости отцовъ отечества.

Въ такую скверную пору сижу я у себя и злюсь, какъ вдругъ ко мнѣ письмо съ американской маркой...

— Батюшки, да неужели „воробьиное яйцо" цѣло еще? Даже стихіи противъ его хрупкой скорлупки остались безсильны.

Въ самомъ дѣлѣ, — почеркъ Татьяны Петровны... И съ первыхъ же строкъ на меня пахнуло настоящею весной, яркой, теплой, солнечной, полной обѣтованій, что лѣто будетъ еще ярче, теплѣе, солнечнѣе, и всякое дыханіе восхвалитъ Господа.

XLV.

Жезлъ Аароновъ процвѣлъ.

Да еще какъ...

Воображаю, какъ счастливо и торжествующе лучились большіе сѣрые глаза „мистриссъ Аникѣевой", когда она уписывала мнѣ мелкимъ и дробнымъ почеркомъ (почтовый листъ малъ, а сказать надо такъ много) эти четыре странички... Сначала покрыла ихъ вдоль, захотѣлось еще прибавить кое-что, перекрестила по-перекъ такъ, что я съ трудомъ разбирался въ этихъ женскихъ переплетахъ... Однако, чѣмъ дальше читалъ я тѣмъ выше подымалась у меня въ груди радостная, бодрая волна. Такъ и тянуло въ эти минуты поѣхать самому и посмотрѣть, какъ на далекой чужбинѣ устроились въ одно и то же время и кроткіе и смѣлые люди. Къ крайнему моему удивленію, сначала пришлось узнать, что никакихъ злоключеній, такъ обрадовавшихъ многихъ, съ переселенцами не случилось вовсе въ описанныхъ рептиліей размѣрахъ. Были случаи, но не сплошное горе, оказались фанатики и идеалисты — но какъ исключеніе, а не вся масса со-слѣпу бросилась на гибель... Напротивъ, наши основались прочно, какъ вся земледѣльческая Русь, осѣли на выбранномъ мѣстѣ и къ тому времени, какъ мнѣ писала Татьяна Петровна, обстроились на славу. „У насъ прекрасные дома и отличная школа, гдѣ я, какъ вы уже догадываетесь, учительницей. Хлѣба и сады превосходные. Скотъ сильный, и больше чѣмъ его надо. Жизнь въ краю свободы наладилась такъ, что въ общественныхъ дѣлахъ—ни ссоръ ни распри. Все идетъ по-хорошему, и хозяева говорятъ: „Наконецъ-то

мы свѣтъ увидѣли". Молодежъ растетъ здоровая, крѣпкая. Сосѣди, и тѣ, удивляясь, спрашиваютъ: „Неужели у васъ, дома, много такихъ?" И при этомъ выводятъ: „должно-быть, Россія богатый край, если допускаетъ выселяться за рубежъ чудеснымъ работникамъ!.." Мой Митенька, — вотъ бы вы посмотрѣли на него! — растетъ хотя и въ Америкѣ, но русскимъ гражданиномъ. Я пуще всего стараюсь воспитать въ немъ мужество, силу, характеръ, и, кажется, мнѣ удается это. Онъ и смотритъ здѣсь иначе, и говоритъ, и думаетъ независимо, хотя мнѣ еще и до плечъ не доросъ. А я вѣдь, помните, маленькая. Я простила все его отцу, давно простила за такой подарокъ, какъ мой сынишка. Женщинѣ трудно бороться самой, но она можетъ поднять хорошихъ бойцовъ за добро и правду. И такого подымаю я. Митенька съ моихъ разсказовъ научится любить Россію и въ отношеніяхъ со здѣшними подчеркиваетъ, что прежде всего онъ — русскій и принадлежитъ душой и тѣломъ своей далекой родинѣ.. Глядя на него, я знаю: когда онъ понадобится ей, понадобится на настоящее святое дѣло, — его здѣсь не удержитъ ничто, — ни довольство, ни свобода, ни любовь... Онъ **вернется**... Вѣрьте мнѣ, онъ вернется"...

Это „вернется" было подчеркнуто твердо. Даже бумагу прорвала рука Татьяны Петровны, въ это мгновеніе двинутая страстнымъ подъемомъ всколыхнувшагося сердца...

„Въ насъ было слишкомъ много жалости. Мы выросли среди страданій, и потому сами привыкли плакать. Лучшіе люди наши были все-таки нытики. Мягкость сердца не ладится съ силою рукъ, отвагой и дерзостью мысли. Въ здѣшнихъ они помирились, но вѣдь здѣшніе мои родичи крѣпки въ отпорѣ, а не въ

нападенiи. Это совсѣмъ другое. Кроткiе люди могутъ умирать, но не сдаваться. Митенька будетъ изъ тѣхъ, которые не станутъ ждать удара, а сами нанесутъ его. И, повѣрьте, мы слишкомъ долго были одурманены прекрасною для человѣчества вообще, но пагубною для насъ заповѣдью непротивленiя... Мой сынъ съ другими дѣтьми здѣсь по этому вопросу безконечно споритъ. Не суждено ли ему, какъ Сампсону, разорвать львиную пасть и ослиною челюстью побить филистимлянъ?... Только, повторяю вамъ, когда онъ понадобится т.-е назрѣетъ время, и всѣ завопiютъ отъ филистимскаго угнетенiя, Митенька вернется домой, никакая сила человѣческая его здѣсь не удержитъ".

Онъ вернется...

XLVI.

Это „вернется" звучало въ моихъ ушахъ свѣтлымъ обѣтованiемъ. Я убѣжденъ, что не одинъ онъ окажется среди насъ — сильный, бодрый, смѣлый. Вернется и Ванька-Встанька*) и другiе, воспитавшiе русскую волю свою среди чужихъ образцовъ, въ школѣ борьбы, окончившейся побѣдою... Когда я дочиталъ письмо Татьяны Петровны, за окнами темнѣло. Въ закутанныхъ комнатахъ было душно. Все, все кругомъ — и картины, и дорогая мебель, и масса ненужнаго — давило. Тянуло къ простору, къ вольной степи и бурному морю изъ нашихъ пестрыхъ и глупыхъ бомбоньерокъ съ ихъ преступною позолотой и никому не ну-

*) Разсказъ подъ этимъ названiемъ дальше.

жною роскошью. Кандалы чувствовались въ этомъ довольствѣ, красотѣ, обиліи... Не въ такихъ условіяхъ выростаютъ Митеньки, которымъ суждено въ добрый часъ вернуться къ намъ!.. Я не зажигалъ огня. Сумракъ густился въ углахъ. Въ окна стучалъ все тотъ же назойливый до подлости дождь, вѣтеръ вылъ въ печахъ и громыхалъ порою заслонками... За моими стѣнами метель то падала, то вдругъ неистово, злобно кружилась снѣговыми призраками. Далеко-далеко слышались глухо и отраженно пушечные удары... Нева подымалась. Грязная вода, вотъ-вотъ перекинется черезъ гранитныя оковы набережной и, шипя и пѣнясь, зальетъ убогіе подвалы. Но въ ней есть хоть гнѣвъ, хоть сила. Она не справляется съ чужою косностью... А тутъ, въ душной тишинѣ, — ни гнѣва ни силы... Одно нытье, подавленность, безмолвствованіе... И глупый сонъ послѣ еще глупѣе проведеннаго дня...

Онъ вернется!

Ну, а когда бодрость вернется въ наши, окованныя срамными привычками, покойныя, прирученныя, домашнія души?

II.

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА.

I.

Слякоть, туманъ за окнами. Хмурые, дряблые люди кругомъ. Не на чемъ отдохнуть ни взгляду ни мысли. Точно попалъ въ какой-то кисель и барахтаешься въ немъ и боишься задохнуться. Разинешь ротъ, а скверная, прокисшая и затхлая жижа уже ползетъ туда вмѣсто чистаго живительнаго воздуха. Было не время, а междувременье. Петръ Петровичъ Пѣтухъ, великолѣпно варившій макароны по-итальянски, двадцать лѣтъ стоялъ баскакомъ надъ раздавленною Россіей. Корнетъ Отлетаевъ, завсегдатай отдѣльныхъ кабинетовъ у Кюба и адресъ-календарь столичнаго разврата, направлялъ внутреннюю политику и военнодѣйствовалъ на Казанской площади. Онъ же стоялъ у руля священнѣйшаго изъ нашихъ государственныхъ учрежденій Департамента Полиціи. По бездорожьямъ, засыпаннымъ снѣгомъ, медленно двигались „бодрые и смѣлые", которымъ не оказывалось мѣста въ царствѣ „моей хаты съ краю — ничего не знаю". Печать похожа была на расшиву со старымъ юсомъ у руля. Двадцатое число

съ арендою казались „отнынѣ и вовѣки вѣковъ“, и приказная гангрена невозбранно разъѣдала громадный край, весь замученный произволомъ, одурманенный искони стоячей духотою, вьявь видѣвшій величественные сны, въ которыхъ подъ его всемогущимъ кулакомъ преклонялась вселенная. Было хоть это утѣшеніе, и пока онъ въ него вѣрилъ, все обстояло благополучно. За рубежомъ подымались новые народы, свободные, грамотные. Электрическое время на всѣхъ парахъ гнало впередъ и впередъ къ наукѣ, труду, великимъ открытіямъ и завоеваніямъ духа самоуправлявшихся сосѣдей, а дома отечественные туки недвижнымъ болотомъ, чуть не отъ полюса до тропиковъ, удивляли міръ зловѣщими миражами средновѣковья. На всю вселенную сопѣлъ еще на своихъ полатяхъ Илья Муромецъ, Микула Селяниновичъ деревянною сохой царапалъ отощавшія, чахлыя груди кормилицы земли, и только Алеша Поповичъ на краденые родительскіе милліоны дѣйствовалъ во-всю по публичнымъ домамъ и отдѣльнымъ кабинетамъ, Это было дѣло дворянское, лестное, завидное. Въ каменныхъ мѣшкахъ и застѣнкахъ умирала мысль и обезсиливалась воля. За желѣзными рѣшетками томилась вольная птица. Правда, глухо подъ землей, въ темныхъ омутахъ, въ плебейскомъ бездоньѣ, слышались порою странные удары, что-то гуломъ шло отъ Балтика до Тихаго океана, отъ Ледовитаго до Каспія. Вздрагивалъ весь край и открывалъ въ полнеба громадныя очи... Но этому не придавали значенія. Со сна-де. Должно-быть, кто черезъ его будущую могилу прошелъ, ну, его и повела судорога... Молчалинъ отъ Цѣпнаго моста въ черномъ бархатномъ околышѣ, и только у соннаго сдиралъ солому съ кровли на подать. Народъ-де дрыхнетъ, — слава Богу! Его и дождемъ, и метелью въ эту дыру не проймешь... И потому сво-

дилъ у него со двора послѣднюю корову. На Олимпѣ шло огульное воровство. Съ „отечества", называемаго „достолюбезнымъ", драли седьмую шкуру. Для заграничныхъ ростовщиковъ завели для видимости контроль, но и онъ велъ себя мило, никого не стѣсняя. Драли сапоги съ солдата, зипунъ, съ мужика, кафтанъ съ мѣщанина. Изо ртовъ вырывали послѣднія краюхи хлѣба. Русскій-де народъ добрый — одному Богу жалуется, а Богъ съ нами — и никому объ этомъ не заикнется. Голодная страна пухла и жухла, чахла и вырождалась. Не вѣрилось въ просвѣтъ: наши-де правнуки, пожалуй, его увидятъ, а для насъ и вонючая лампадка хороша, хоть отъ нея весь потолокъ прокоптѣлъ. Въ это сырокомье поневолѣ отъ перехватывающей дыханье грудной жабы оборачиваешься назадъ въ потемки, — не блеснетъ ли тамъ молніей въ ночную непроглядь настоящій, смѣлый и смѣющійся на все человѣкъ... И въ моемъ прошломъ были такіе, и на нихъ радостно останавливалось воспоминаніе... Засвѣтились оттуда веселые глаза „воробьинаго яйца", а рядомъ съ ней, — да вѣдь это онъ и есть, — старый товарищъ самъ про себя говорившій:

— Попробуй-ка меня сшибить! Ну! Авось, кулакъ у тебя вдребезги...

II.

Широкоплечій, короткій, румяный.

Крѣпко на ноги поставленъ. Глаза веселые, зубы бѣлые, крѣпкіе, — хорошій песъ, и тотъ бы позавидовалъ. Какую кость ни швырни судьба, — разгры-

зетъ, не поморщится. Развѣ только еще попроситъ: „Давайте-ка, я и ее схамкаю. Ну-ка! — подставлялъ онъ плечо. — Ну-ка, двинь!“ приставалъ онъ ко всѣмъ въ корпусѣ. Навалятся на него и не смогутъ. Точно онъ желѣзомъ вросъ въ землю. Развѣ-что захохочетъ вовсю: „Эхъ, вы, дробь!“ И тутъ же колесомъ по коридору. Изнутри душила его сила, — не зналъ, куда ее размыкать. „Кабы кранъ такой былъ, — открылъ бы его“. А безъ крана — по водосточнымъ трубамъ лазилъ, коней взапуски обгонялъ, фонари пробовалъ выворачивать съ мясомъ. Оралъ что-то неподобное, дерзилъ. Къ нюнькамъ и плаксамъ зато чувствовалъ особое расположеніе. Бывало, только ихъ задергаютъ, — онъ тутъ какъ тутъ: плечомъ вправо размахнется, влѣво, — и, глядишь, огорошенный и оторопѣвшій новичокъ опять выплылъ въ вольную воду. Терзавшая его песья шушера вся разсыпалась, и только спина еще отъ тычковъ зудитъ, да носъ отъ щелчковъ краснѣетъ.

— Кто тебя тронетъ, — ты мнѣ скажи. А я ужъ распоряжусь.

И распоряжался такъ, что у насъ въ неаранжированной ротѣ очень быстро отучились дразнить слабосильную команду.

Онъ даже и не билъ, а, принявъ атлетическую позу, вертѣлъ вами въ воздухѣ, точно вы не человѣкъ, а крыло вѣтряной мелницы...

— Ты у меня попробуй трогать малышей, — я тебя за хвостъ и на солнце.

Никому, разумѣется, такое воздухоплаваніе не улыбалось.

Съ начальствомъ Ванька-Встанька и тогда былъ строгъ, шутить съ собою не позволялъ.

— Я васъ не тыкаю, на брудершафтъ съ вами,

кажется, не пилъ. Чего же вы меня ругаете?

— Ахъ ты, карапузъ? — изумлялся одинъ изъ нашихъ великихъ моголовъ. — Пшолъ въ карцеръ!

И „карапузъ“ спокойно уходилъ туда, зная твердо, что отсидѣть онъ отсидитъ, но впередъ ужъ его обижать не будутъ.

— За меня руками хвататься нельзя, — пояснялъ онъ: — наколешься. Я вѣдь какъ дикобразъ, — шерсть дыбомъ поставлю, — не очень-то меня ладонью погладишь... противъ мѣха!..

Въ его время драли, но ему ни разу не пришлось испробовать этой отеческой мѣры.

— Я не Сидорова коза, не позволю, — заявилъ онъ кратко, и въ первый же день субботній, когда его пригласили въ цейхаузъ для соотвѣтствующаго испытанія твердости въ бѣдствіяхъ, схватился за ножъ и предупредилъ:

— Кишки выпущу!

— Что-о-о? — изумилось начальство.

— Такъ что, ежели вамъ нравится, всѣ потроха набекрень.

По глазамъ увидѣли, что съ нимъ шутить нельзя — распоретъ, и заперли въ карцеръ на мѣсяцъ.

— Правильно! — согласился онъ и покорно отправился въ узилище.

Выгнать его не рѣшались, — отличный былъ фронтовикъ и всегда назначался въ ординарцы къ важнымъ обоего пола особамъ, имѣющимъ въѣздъ ко двору съ кавалергардскаго подъѣзда. Такъ маршировалъ и дѣлалъ „на кра-улъ!“, что сердца ихъ высокопревосходительствъ радовались.

III.

Онъ, впрочемъ, чуть было не вылетѣлъ изъ корпуса турманомъ по совершенно неожиданному случаю. Былъ у насъ кисляй, плохо учившійся и смирный до тошноты. Гниль такая, что даже ткнуть по-товарищески нельзя было, — сейчасъ синякъ и реву на три ушата. Споткнется въ журналѣ о его фамилію учитель, вызоветъ, — и самъ не радъ. Ноетъ кисляй, лицо у него плаксивое, на третьей фразѣ схватывается за животъ и молитъ: „Позвольте выйти! Я нынче касторку принималъ". Ванька-Встанька почувствовалъ къ нему расположеніе послѣ того, какъ засталъ кисляя плачущимъ надъ письмомъ матери...

— Чего ты? — остановился надъ нимъ Встанька.

— Такъ.

— Прибилъ кто?

— Нѣтъ... Изъ дому пишутъ...

— Ну?..

— Я у мамы одинъ. Страшно подумать, что съ нею будетъ, если не кончу. Умретъ. Только и надежда, что я...

— Вишь ты!

Ванька оглядѣлъ его критически съ головы до ногъ и рѣшилъ: „Плоха надежда".

А потомъ вдругъ:

— Наплевать!.. Ничего. Я тебѣ помогать буду. Да не реви, а то туза дамъ!

И дѣйствительно, бывало, спать не ляжетъ, пока не спроситъ урока и не убѣдится, что кисляй его приготовилъ. Бьется-бьется особенно съ математикой. И самъ въ поту, и его доведетъ до изнеможенія, но

все-таки не успокоится, пока тотъ не докажетъ, почему квадратъ гипотенузы равняется суммѣ квадратовъ катетовъ, хоть самъ Встанька былъ совсѣмъ равнодушенъ къ судьбѣ этихъ квадратовъ. Только съ однимъ не могъ справиться — съ благороднымъ французскимъ діалектомъ.

Мосье Chablon съ особеннымъ сладострастіемъ придирался къ кисляю. Шаблону доставляло неизъяснимое наслажденіе выматывать у него изъ нутра самые невозможные звуки, не имѣвшіе даже отдаленнаго сходства съ тѣмъ mon pére'омъ, который очень добръ, и съ ma mére, хотя тоже очень доброй, но совсѣмъ не играющей на скрипкѣ. Шаблонъ съ такимъ наслажденіемъ зарисовывалъ медленно, красиво и крупно ноль въ графу, соотвѣтствующую фамиліи кисляя, и при этомъ такъ издѣвался надъ бѣднымъ мальчикомъ, что мы со всѣхъ скамей кричали французу:

— Барабанщикъ, лягушкой подавился.

Въ пятомъ общемъ кисляй изъ-за него остался на второй годъ. На третій не полагалось. И кисляю предстояло или юнкерство, или домашнія обстоятельства, т.-е. просто исключеніе (какъ у насъ говорили, въ „вольные трубочисты“). Призракъ бѣдной матери даже такую козявку довелъ до остервенѣнія. Трудно себѣ представить, какъ нельзя вообразить, напримѣръ, разъяренную устрицу, но дѣйствительность создаетъ и не такія неожиданности.

Кисляй дошелъ до того, что весь дрожалъ и зеленѣлъ отъ ненависти уже при одномъ видѣ мосье Шаблона. „Барабанщикъ“ этого не понималъ и продолжалъ упражняться надъ нимъ въ галльскомъ остроуміи. Разъ, какъ теперь помню, онъ прошелся насчетъ его матери и отвернулся. Въ это мгновеніе кис-

ляй, побѣлѣвъ, какъ стѣна, схватилъ съ парты свинцовую чернильницу. Шаблонъ присѣлъ курица-курицей, даже руками взмахнулъ, какъ крыльями. Затылокъ у него былъ въ крови и чернилахъ...

— Ти, ти? — залопоталъ онъ, кидаясь къ кисляю,. и вдругъ Ванька-Встанька схватилъ товарища за руку, отшвырнулъ назадъ и выпрямился передъ растеряннымъ учителемъ.

— Не онъ, а я! Вы впередъ не ругайтесь. Какъ вы смѣете нашихъ матерей трогать?

Шаблонъ — швыркомъ изъ класса къ инспектору.

— Зачѣмъ ты это? — спросилъ я у Ваньки-Встаньки.

— Какъ зачѣмъ? У него мать умретъ. И потомъ, я ничего не боюсь, а онъ вѣдь какой... Кисель! Первый солдафонъ его сапогомъ размажетъ...

Явился инспекторъ, дядьки. Встаньку забрали. Весь корпусъ ходилъ въ ожиданіи чего-то таинственнаго и страшнаго... Къ карцеру, гдѣ сидѣлъ нашъ товарищъ, никого не допускали. То и дѣло до насъ доходили слухи: собрался совѣтъ. Рѣшили его въ рядовые... Потомъ, еще черезъ два дня, „строятъ" ему въ швальнѣ сѣрую шинель. Мы тайкомъ пробирались въ швальню, спрашивали. Оказывалось: правда — шинель безъ погоновъ и пуговицъ — самая позорная. Пошли легенды: Ванькѣ обрили полголовы и надѣли на ноги кандалы. Черезъ три дня доставлена была изъ карцера записка: „Пришлите пироговъ, — жрать хочу. Кисляю — отнюдь не сознаваться. Я не пропаду и въ солдатахъ, а ему нельзя, — онъ жидкій. Сейчасъ расползется".

Кисляй все это время ходилъ, какъ привидѣніе.

На пятый день мы въ окно увидѣли Ваньку-Встаньку: онъ браво шелъ изъ карцера, уже подъ

конвоемъ, и на немъ была сѣрая шинель. Румяная мордочка его нисколько не казалась опечаленной. Сѣрая фуражка лихо заломилась на затылокъ, круглый носъ весело въ самое небо грозился крупными ноздрями. Смотрѣлъ увѣренно.

— Знай-де нашихъ. Какъ-никакъ, а меня съ ногъ не сшибешь...

Взглянулъ на него кисляй, — кинулся къ образу, сталъ на колѣни, слезы такъ и текутъ по лицу. Рука, дрожа, отмахиваетъ кресты, не попадая на лобъ. Поднялся, подходитъ къ дежурному офицеру.

— Ведите меня къ директору... Это я... Шаблона... чернильницей...

IV.

Директоръ у насъ по тому времени былъ человѣкъ очень странный.

Съ режимомъ порки и шагистики онъ бороться не могъ, да и не считалъ нужнымъ. По крайней мѣрѣ, ни разу не смягчилъ довольно-таки жестокихъ наказанiй, налагавшихся ротными командирами. Но самъ вѣчно сидѣлъ за книгами, любилъ, закатывая глаза, декламировать Шиллера, внушалъ намъ благородство мыслей и поступковъ и, говоря о таковыхъ, вынималъ тонкiй шелковый платокъ и утиралъ слезы. Я до сихъ поръ помню духи этого платка. Ужасно сладкiе и приторные.

Когда кисляя повели къ нему, — мы такъ и припали къ окнамъ. Я думаю, снаружи стекла представляли сплошные ряды бѣлыхъ пятачковъ. Какъ мы не высадили рамы отъ нетерпѣнiя! Маленькiя сердчиш-

ки наши бились! Совершалось что-то ужасное и великое... Мы не видѣли ни деревьевъ въ нѣжномъ весеннемъ уборѣ ни рѣки за ними, такъ и сверкавшей, точно серебряная кольчуга, подъ яркимъ, щедрымъ солнцемъ. Прошло полчаса... Вдругъ крыльцо у директора распахнулось. Самъ онъ безъ шапки, въ бѣломъ кителѣ и, — что для него было необычайно, — разстегнутый выбѣжалъ оттуда и — опрометью во флигель, гдѣ карцеръ... Черезъ минуту выскакиваетъ обратно и, полуобнявъ Ваньку-Встаньку въ сѣрой солдатской шинели, торопится съ нимъ къ себѣ, чуть не бѣгомъ... Потомъ ужъ Ванька разсказывалъ намъ, что произошло...

— Зачѣмъ вы... зачѣмъ? — только и повторялъ генералъ. — Развѣ не знали, какую участь себѣ готовили страшную...

— Ему было бы хуже... Онъ бы не стерпѣлъ... И потомъ — у него мать.

— Вы — благородный, благородный юноша!..

И сейчасъ же шелковый платокъ къ глазамъ.

— Что я могу для васъ сдѣлать? Не хотите ли вы чего?

— Хочу.

— Именно?

— Ѣсть...

„Сейчасъ мнѣ, братцы, самоваръ, сдобныхъ булокъ вотъ этакую гору... Пирожковъ, курицу, масла. Генеральша пристаетъ: „Кушайте“... А тутъ двѣ дѣвчонки суетятся. Ну, мнѣ и совѣстно, — смѣяться будутъ. Я, какъ онѣ отвернулись, забралъ пирожковъ, да и напихалъ ихъ въ карманы... А потомъ не выдержалъ:

— Ваше превосходительство, говорю, уберите дѣвчонокъ... Мнѣ при нихъ стыдно... И какъ набросился,

— на страхъ врагамъ, за ушами трещало! Отъ курицы однѣ лапки остались.

V.

Все обошлось благополучно. Мосье Chablon тоже расчувствовался и дѣло кончилось тѣмъ, что кисляя заперли на три мѣсяца въ карцеръ, но французъ никакъ не могъ допустить, чтобы кто-нибудь перещеголялъ его въ великодушіи. Онъ все лѣто, пока мы стояли въ лагеряхъ, ходилъ къ кисляю и занимался съ нимъ, а осенью далъ ему переэкзаменовку и поставилъ 9 балловъ. Такъ кисляй и переползъ благополучно въ слѣдующій классъ. И не только переползъ, но и осмѣлѣлъ, выровнялся.

Ваньку-Встаньку очень полюбили у директора, и по праздникамъ онъ ходилъ къ его превосходительству слушать Шиллера на непонятномъ языкѣ и истреблять сдобные булки и пирожки.

— Ну, а дѣвчонки?..

— Не важное кушанье. Одна было вздумала смѣяться надо мной. Языкъ мнѣ показала!

А ты?

— Свистнулъ ее по затылку, — больше не пристаетъ.

— Жаловалась отцу?

— Ну, вотъ!.. Мужланомъ называетъ. Грозится: на балу съ вами танцовать не буду. А мнѣ еще лучше! Я этихъ короткохвостыхъ терпѣть не люблю!

Черезъ годъ юноша началъ задумываться. Вдругъ пристрастился къ книгамъ. Лежитъ, бывало, брюхомъ внизъ на скамейкѣ, оперпись подбородкомъ въ ладони,

и читаетъ. Учитель русской словесности снабжалъ его только что появившимся Люисомъ, Боклемъ, Маколеемъ. Мы въ складчину выписывали „Современникъ“. Общее движеніе шестидесятыхъ годовъ захватило и насъ. Каждую книжку любимаго журнала мы ожидали, какъ манны небесной. Статьи старыхъ боговъ — Чернышевскаго, Добролюбова, Михайлова, Щапова, стихи Некрасова — чуть не проглатывали и непремѣнно сообща и вслухъ. Корпусная муштра къ этому времени ослабѣла. Повѣяло въ наши затхлыя потемки свѣжимъ воздухомъ первыхъ лѣтъ освободительной эпохи. Молодые умы и сердца, точно цвѣты, жаждавшіе только благодатныхъ весеннихъ дождей, раскрылись животворящимъ вѣяніемъ добра, правды и свободы. Измѣнились профессора. Вчерашніе остолпы, щелкавшіе насъ по лбу и по затылкамъ, или сгинули при первомъ лучѣ, или вдругъ обернулись совсѣмъ не тѣми, какими мы ихъ привыкли считать. Въ наши закопченныя стѣны разъ навсегда проникла живая мысль, а вѣдь она — настоящее чудотворное зерно и на каменной почвѣ даетъ надежные ростки. По вечерамъ за новою книжкою журнала подымались безконечные горячіе споры. И, право, мы лучше говорили, чѣмъ теперь, когда позади остались цѣлыя полосы опыта, горя, мучительной работы и разочарованій! Въ молодыхъ душахъ росло свѣтлое, страстное, еще не опредѣлившееся точно, но уже розовымъ, сладкимъ туманомъ охватывавшее мечту. Жизнь казалась такъ хороша, правдива, умна. Вѣдь только на школьныхъ скамьяхъ сидятъ настоящіе вѣрующіе въ ея радость и свѣтъ. Еще бы! Мы готовились послужить ближнему, внести и свою долю въ общую весеннюю страду проснувшейся родины. Даже тучи впереди никого не пугали. За ними вѣдь все-таки голубое небо. Напротивъ, сердце ждало грозы

и радовалось ей въ немъ было что-то сродни таившимся въ ея нѣдрахъ молніяхъ. А въ громовыхъ ударахъ чудились сигналы къ пробужденію того, кто еще спалъ трудно и нудно въ душномъ и затхломъ ветхозавѣтномъ застѣнкѣ. И вотъ въ эту-то пору Ванька-Встанька неожиданно объявилъ всѣмъ:

— Прощайте, братцы!..

— Что такое?

— Ухожу.

— Куда?

— По домашнимъ обстоятельствамъ... Въ университетъ хочу.. Не поминайте лихомъ!

— Да ты въ умѣ?

— А что?

— Латынь нюхалъ?

— Она не пахнетъ.

— А экзаменъ?

— Не важное кушанье. Сдамъ. Займусь.

— А средства?

— Господь заботится о своихъ младенцахъ. Авось, и я выплыву въ чистую воду.

— Отцу писалъ?

— Еще жъ бы. Онъ мнѣ наотмашь: „Ты хочешь опозорить искони бѣ военный родъ Встанекъ. Отъ Запорожья и по сей день не было у насъ партикулярныхъ рябчиковъ, а посему на меня не надѣйся. Хочешь самовольно выбирать дорогу, — ступай, мерзавецъ, но я тебѣ не дамъ ни копейки, ибо у самого на шеѣ четверо твоихъ братьевъ и дѣвчонка-сестра, а пенсіону моему вся цѣна семьсотъ рублей въ годъ. На службѣ я не кралъ, не вымогалъ, не грабилъ, какъ иные-прочіе, и могу тебѣ посовѣтовать одно: брось дурь, въ военныхъ наукахъ ты преуспѣлъ, — иди въ академію генеральнаго штаба. Я самъ былъ колонно-

вожатымъ. Очнись, пока еще есть время. Я даже представить себѣ не могу Встаньку въ цивильномъ сюртукѣ, какъ какого-нибудь купца или мѣщанина. Твои предки бунчуки держали, кошевыми атаманами въ Туречину ходили, твоего дѣда императоръ Павелъ сначала „на-лѣво-кругомъ маршъ" въ Сибирь отправилъ, и не успѣлъ тотъ выйти изъ дворца, какъ за хорошій шагъ въ генералы произвелъ. Я на Кавказѣ всю жизнь съ черкесами дрался, за Ахульго у меня Георгій, — а ты вдругъ, заложа руки въ карманы, будешь по улицамъ бѣгать, какъ какой-нибудь бурсакъ-стрюцкой. Стыдись! И маменька твоя плачетъ, ибо за военный мундиръ любая дѣвица съ приданымъ — за честь бы пошла... Еще разъ стыдись!"

Но онъ не устыдился.

VI.

На первыхъ порахъ ему помогла какая-то захудалая далекая тетка. Раньше она ему посылала „съ оказіей" яблоки мѣшками, а тутъ сбилась кое-какъ, сдала садъ „книвицкому кацапу" и облагодѣтельствовала Ваньку-Встаньку пятьюдесятью рублями. При семъ ему рекомендовалось болѣе отъ щедротъ не ожидать и обходиться какъ онъ хочетъ, но уже своимъ коштомъ. Впрочемъ, въ яблокахъ и впредь не отказывалось. „У насъ ихъ, слава Богу, хоть чушекъ откармливай. Особливо поросята, тѣ на этотъ фрухтъ весьма лакомы. Издали хрюкаютъ!"

Когда онъ сошелъ съ вокзала въ Петербургѣ, у него въ карманѣ было полтора рубля, а кругомъ — толчея Знаменской площади и улицы, отъ которыхъ

съ непривычки голову вертитъ. Знакомыхъ — никого, близкихъ — и подавно... Оглянулся на Невскомъ. Лѣто удалось для нашего сѣвера удивительное. Солнце заливало все живымъ и теплымъ свѣтомъ. Яркія краски горѣли на стѣнахъ. Дали тонули въ золотистомъ туманѣ. Въ глубинѣ, точно огненный мечъ, блистала игла Адмиралтейства, и Иванъ Өедоровичъ (такъ звали Ваньку-Встаньку) протянулъ руки, будто ему хотѣлось обнять всю эту не ждано, не гадано открывшуюся красоту... Суровые призраки голода, заброшенности, одиночества нисколько не пугали юношу. „Наплевать! Я здоровъ и силенъ — чего еще! — говорилъ онъ самъ себѣ. — Авось, Богъ не выдастъ, свинья не съѣстъ. Вѣдь не всѣ же эти кругомъ съ капиталами сюда пріѣхали. Этакъ въ Россіи и денегъ бы не хватило. Были и безъ оныхъ. Не пропали же, — прыгаютъ. Ишь, какіе гладкіе! Точно лакированные. Кстати и не зима, — гдѣ прилегъ, тамъ и заснулъ. А до зимы-то, авось, я на дыбахъ буду. Главное — ничего не пугаться. Остальное приложится“. По пути онъ познакомился съ какимъ-то мѣщаниномъ; тотъ показалъ ему уголъ, гдѣ помѣститься. Два рубля въ мѣсяцъ! Онъ отдалъ пока рубль и остался съ полтинникомъ. До сентября было далеко — впереди въ бозконечность разстилались три мѣсяца; ихъ надо пройти во что бы ни стало. „И весело же, братъ, я себя чувствовалъ, — разсказывалъ онъ послѣ. — Такъ весело! Ни надъ тобой ни около — никого, кто бы тебѣ крикнулъ: „Смирно, руки по швамъ!“ Даже не знаю, были ли у меня и швы... Офицерамъ, по старой привычкѣ, во фронтъ становился и глазами провожалъ, а они съ удивленіемъ на меня оглядывались. „Не смѣюсь ли я?“ Долго отъ этого рабьяго жеста отучиться не могъ. Встрѣтилъ Веревкина,— помнишь, у насъ ротнымъ командиромъ былъ?

— Помню.

— Ну, вотъ. Посмотрѣлъ на меня и заплакалъ: „Какъ вы, — говоритъ, хорошо маршировали. Въ три пріема — рразъ, два-а-а — никто такъ колѣнъ прямо не держалъ и носокъ не вытягивалъ. А на ординарцы, какъ вы подходили! Статуя, а не кадетъ. Хоть сейчасъ въ учебный батальонъ“. Ну , спасибо ему, накормилъ онъ меня обѣдомъ, денегъ хотѣлъ дать, да я отказался. Не понимаю, какъ это люди боятся жизни, завтрашняго дня трепещутъ. Я такъ нисколечко! Начхать мнѣ на завтрашній день, коли послѣзавтра все, чего ни захочу, мое будетъ. Будущее за тѣмъ, кто въ него вѣритъ и, кромѣ себя, ни на кого не надѣется. А околѣю по пути, — значитъ, ни на что не гожъ былъ, туда и дорога. На готовомъ жить — воздухъ портитъ. Вѣдь у меня, попробуй-ка, мускулы совсѣмъ не сдались. Какъ въ корпусѣ, на казенныхъ хлѣбахъ, такъ и сейчасъ. Нѣтъ, не боюсь, я нисколько!

VII.

Еще бы ему пугаться!

Мѣсяца черезъ два встрѣтились мы опять.

Дѣло было на Фонтанкѣ.

Шелъ я куда-то, тоже въ штатскомъ уже. Задумался и споткнулся.

Смотрю, отъ набережной, куда прислонилась неуклюжая барка съ дровами, къ лѣсному двору проложены мостки, и по нимъ, потные, рваные, пыльные, всклоченные, толкаютъ передъ собою рабочіе тяжелыя тачки.

— Здравствуй!

Оглядываюсь.

— Боже ты мой... Что это?..

— Аль не узналъ?

Широкоплечій, короткій, румяный Встанька. Впрочемъ, подъ слоемъ грязи румянца и не различишь. Посконная, драная рубаха, воротъ отогнутъ, а изъ-подъ него волосатая бронзовая грудь съ обильными каплями пота.

— Ванько! — крикнулъ старшой. — Ты куда, ежова голова?

— А вотъ товарища встрѣтилъ.

— То-то что... Не лыняй, шкворень тебѣ въ хвостъ, отъ работы. Приказчикъ живо учтетъ.

— Встанька! Ты какъ сюда попалъ?

— Извѣстно, на ногахъ. Жрать, братъ, захочешь, и не сюда придешь. Шесть гривенъ въ день, авось, до университета просуществую. Приказчика мнѣ не страшно; я съ нимъ о политикѣ говорю и сосѣдской горничной ему за пару пива стихи пишу. Чувствительные. Наука-то и пригодилась, не даромъ учился.

И такъ весело засмѣялся, что и мнѣ самому вдругъ легко и хорошо стало.

— Благо хрестоматію Филонова не забылъ. Валяю изъ нея, а ему, приказчику, лестно. „Какъ вы, — говоритъ, — при такой умственности и столь унизились. Да кабы я стихами могъ, — за меня бы давно хозяйская дочка пошла, а вѣдь при ней двадцать пять тыщъ. Сумма огромадная!“

Застегнулъ воротъ, надѣлъ старый въ плѣшинахъ пиджакъ и пошелъ со мною.

— Зашабашилъ, Иванъ Ѳедоровичъ? — кричитъ ему работавшій съ нимъ солдатикъ.

— На сегодня будетъ... Чего еще... отличный на-

родъ, когда не пьянъ! — пояснилъ мнѣ Ванька-Встанька.

— Да какъ же ты живешь, чудакъ этакій?

— Не живу, а прямо, надо сказать, козыряю! Я тебя бы къ себѣ пригласилъ, уголъ у меня, да боюсь — носомъ поведешь. Ну, а мое обоняніе привыкло къ нашему эксъ-букету. Самъ чортъ не разберетъ, изъ чего онъ. Только чеснокъ себя оказываетъ да грудные младенцы, а до корня ни одинъ парфюмеръ не доберется.

— Пойдемъ лучше ко мнѣ. Я тебя чаемъ напою...

— Великолѣпно. Вотъ Онъ, Богъ-то! Э, братъ, да у тебя какъ во дворцѣ.

VIII.

Хорошъ дворецъ! Я занималъ каморку, окно выходило въ кухню. Половину „апартамента“ захватила кровать, остальное пространство надо было обходить, протискиваясь бокомъ, у стола. Самоваръ подавался такъ, что мы видѣли только двѣ красныя, въ какихъ-то узлахъ руки. Сама же Аксинья вступить не могла, — ей не нашлось бы мѣста. Разспросилъ я Встаньку — оказывается, совался онъ, совался по Петербургу, ища занятій, да гдѣ же они лѣтомъ? А тутъ вдругъ ѣсть захотѣлось, — онъ въ эту пору проходилъ мимо лѣсного двора, тамъ кипѣла работа. Посмотрѣлъ - посмотрѣлъ: чего легче! „Что жъ я даромъ мускулы нагуливалъ? Пускай свой харчъ оправдаютъ...“ Попросился. Его на смѣхъ подняли: „куда-де, молода, въ Саксоніи не была! — „Ну я, имъ и показалъ Саксонію. Взялъ приказчика да вверхъ голенищами и по-

ставилъ. А потомъ перевернулъ и спрашиваю: „Гожусь?“ — „Ахъ ты!“ — говоритъ... и давай ругаться... Кончилъ, ну, мы сейчасъ же и сторговались.

— Теперь первый другъ. „Сколь ты меня, — говоритъ, — тогда утѣшилъ. Коли меня за любовь Марьинъ братанъ со сватомъ бить придутъ — я тебя въ первую голову“. Глупъ, какъ поросенокъ, а это понимаетъ. Хозяинъ у меня тоже. Морда у него крутая. Затылокъ выпятился...

— Ты, — спрашиваетъ, — вѣрно изъ кантонистовъ?

— Вѣрно.

— То-то, смотри у меня.

— Чего смотрѣть-то?

— Знаю я васъ, кантонистовъ, какіе вы. Одинъ за моей дочкой помиралъ, а потомъ укралъ серебряные часы съ цѣпкой — только его и видѣли. Грамотные, черти! И ты тоже. По письменной части можешь — шелъ бы въ кварталъ служить, нежели дрова таскать. Только, вѣрно, боишься. Поди, ищутъ тебя за хорошія дѣла? Ну, да мнѣ все одно, не компанію съ вами, рваными, водить. Мнѣ вашихъ паспортовъ не надо. Каковъ есть — твое дѣло. Попадешься — самъ виноватъ.

— И давно ты этакъ?

— Да ужъ недѣли двѣ... Я бы, впрочемъ, — ха-ха-ха! — могъ бы измѣнить участь. Вчера хозяинъ приходилъ спрашивать меня: что это у дочки на бумажкѣ написано? Читаю: „лансье“. Танецъ такой, говорю. Вѣрно, значитъ, не врешь. А ты можешь его?.. Этотъ самый? У меня дочку разнымъ легкимъ танцамъ жандарскій унтеръ учитъ, только онъ этого не умѣетъ. У нихъ, въ казармѣ, еще не дошли до лансэ... Польку-трамблямъ онъ вполнѣ. Такъ раздѣлываетъ! Вчера съ комода чашки посыпались...

IX.

Нашелъ я ему дѣло — рублей на двадцать въ мѣсяцъ. Крутыя ноздри стали еще веселей. Щегленокъ-щегленкомъ.

— Я, братъ себя теперь, мерзавцемъ-эксплуататоромъ" чувствую. Помилуй, вчера въ греческой кухмистерской за тридцать копеекъ четыре блюда слопалъ. Почище Наполеона въ Тюльери. Вотъ мы какъ!

Работая цѣлый день онъ ухитрялся еще и учиться „между прочимъ". Да такъ, что осенью отлично сдалъ экзаменъ въ университетъ. „Гимназистамъ, братецъ мой, пылью глаза запорошилъ! Такъ отжарилъ латынь, точно насъ ничему больше не учили. Пять съ плюсомъ!" Надо сказать, судьба и тутъ не гладила его по шерсти, а все противъ норовила. Я уѣзжалъ и, вернувшись, долго не видѣлъ его. Возвращаюсь разъ поздно ночью черезъ Александровскій садъ. Была зима. Деревья въ филигранѣ, точно невѣсты. Луна поднялась надъ ними, благословляя. Молочный свѣтъ вездѣ. Кабы не холодъ собачій — не ушелъ бы домой. Все кругомъ молчитъ благоговѣйно и умиленно, — и вдругъ на скамейкѣ ежится человѣческое существо и, какъ таковое, чертыхается.

— Чего вы? — спрашиваю.

— А того, что холодно. Вы-то воротникъ подняли кибиткой — вамъ хорошо. Тарантасъ-тарантасомъ.

— Чего вы ругаетесь? Почему вы домой не идете?

— Будте добры, укажите, гдѣ это домой".

А у мея одна-одна скамейка.

У звѣря есть пора, у птицы есть гнѣздо.

— „Встанька!" Да это ты?

— Онъ и есть... Эге, вотъ не ожидалъ!.. А вольнодумцы увѣряютъ: Бога нѣтъ! Вотъ Онъ, Богъ-то... Это, знаешь, воробей съ голоду такъ же усомнился... Вдругъ мимо — лошадь и визитную карточку ему на память оставила. А въ визитной карточкѣ — овесъ. Воробей и увѣровалъ... Ну, братъ, ты застаешь меня... нѣкоторымъ образомъ, какъ Марія на развалинахъ Карѳагена.

Гдѣ столъ былъ яствъ — тамъ гробъ стоитъ.

И вдругъ знакомый, веселый смѣхъ.

Разспросилъ я его, — второй мѣсяцъ безъ пристанища.

— Еще заутрени начнутся — отлично. Войду въ церковь, прислонюсь къ стѣнѣ и сплю на ногахъ.

— Какъ на ногахъ?

— Такъ. Не я одинъ. Кони, благородныя животныя, вѣдь тоже спятъ на ногахъ. А что же, мы глупѣе коней, что ли? Аистъ и журавль, тѣ могутъ на одной пяткѣ... Ну, я еще до такого фокуса не дошелъ. Змѣя сказываютъ, зацѣпится, головою внизъ, и дрыхнетъ на хвостѣ... И обезьяны тоже. Въ зоологіи есть тому многочисленные примѣры. Летучія мыши...

Потомъ помолчалъ-помолчалъ.

— Работы нѣтъ. Всякой искалъ — да что ты подѣлаешь! На н ѣ т ъ и суда нѣтъ! Только будущее мое. И никакими своими подлостями судьба его у меня не отыметъ. Не таковскій я. Дешево не сдамся. Пересижу заворожку...

А у самаго зубъ на зубъ не попадаетъ.

Повелъ я его къ себѣ, — хохочетъ: „Вотъ, — говоритъ, — какъ Промыселъ о младенцахъ печется. Это, братъ, никакъ иначе. Чудо — дешевле, я не согласенъ. Десница тебя въ Александровскій паркъ направила.“

— Ѣсть хочешь?

А то нѣтъ? Я всегда ѣсть хочу. Вчера цѣлый день пробами питался.

— Какими?

— А по лавкамъ. Кабы не проба, многимъ околѣвать бы пришлось. Приду въ мелочную: колбаса есть? — Пожалте, самая лучшая! — Кажется, не хороша? Что-то я сомнѣваюсь? — Извольте... Отрѣжутъ мнѣ съ клочокъ почтовой бумаги. — Нѣтъ, не нравится. Солона! И въ слѣдующую лавку. Улицы три обойдешь, и сытъ. А сегодня, — Тебя, Бога, хвалимъ! — пятикопеечную сайку слопалъ. Нѣкоторымъ образомъ пиръ Валтасаровъ. Разносчику письмо домой написалъ и о планетахъ небесныхъ сообщилъ ему послѣднія новости.

X.

И послѣ я никогда не видѣлъ его унывающимъ.

Нашелъ ему переводъ. Заработалъ онъ на немъ пятьдесятъ восемь рублей. Идетъ, растопыривъ руки, точно ему на Невскомъ мѣста мало, и на весь міръ гогочетъ. Чортъ ему не братъ.

— Чему это ты обрадовался?

— Не знаешь ли, гдѣ четырехъ-этажный домъ продается? Только не иначе, чтобы съ балкономъ. А то я не согласенъ. Безъ балкона не къ лицу мнѣ... Сяду на балконѣ съ барышней и буду чай пить. — А прочая чернь, которая, — пускай снизу завидуетъ. Совсѣмъ генералъ-отъ-инфантеріи. Какъ тебѣ кажется, не ограбилъ я купца на большой дорогѣ? А? На платьѣ у меня нѣтъ кровяныхъ пятенъ? И молился же!

— Кто?

— Купецъ. Такъ плакалъ, такъ плакалъ.

— Ну тебя.

Хохочетъ, городовые безпокоятся.

— Вы потише...

— Видишь ли, стрюцкому и пофорсить нельзя. А были бы мы съ тобой офицерами — при сабляхъ. — другой переплетъ. Давай подадимъ прошенія — въ гусары.

Недѣли не прошло... Я рано легъ спать и заснулъ. Стучатся.

— Нельзя ли у тебя хоть на стулѣ?

— А къ себѣ?

— У меня, братъ, къ себѣ нѣтъ. Хозяйка выгнала.

— Вѣдь ты недавно цѣлую уйму денегъ получилъ? Смѣется.

— Что жъ, что получилъ...

Не говори съ тоской: „Ихъ нѣтъ“.
Но съ благодарностью — „были“.

Улегся на короткомъ диванѣ, колѣнами въ подбородокъ и — какъ убитый. Только съ аппетитомъ посапываетъ и причмакиваетъ: съ голоду во снѣ что-то ужасно вкусное ѣстъ!

Потомъ оказалось: познакомился съ двумя дѣвушками, пріѣхавшими въ Петербургъ учиться. У нихъ — ни гроша и пріютиться некуда. Дама, у которой онѣ жили „до уроковъ“, имъ подлости предлагаетъ: или офицера съ шампанскимъ, или купца, у котораго за голенищемъ тыщи складены.

— Любую озолотитъ, хоть сейчасъ.

Ну, Иванъ Ѳедоровичъ и отвалилъ имъ все, что было.

— Мнѣ-то что — я и въ Александровскомъ паркѣ

могу, въ случаѣ... Не впервой! Меня пятикопеечной сайкой только обрадуешь. Деликатесъ гастрономическій. Ну, а дѣвицамъ на улицу — согласись самъ. Неловко. Какъ будто и не къ лицу! Куда жъ имъ, въ самомъ дѣлѣ. И потомъ — плачутъ... А ты знаешь, я еще и въ корпусѣ мокраго видѣть не могъ.

— Такъ ты бы хоть себѣ немного оставилъ.

— Чудакъ человѣкъ! Какъ тутъ разсчитывать по мелочамъ?.. Я лапу въ карманъ: заграбасталъ, сколько попалось, точно рыбу въ неводъ; на-те, молитесь за раба Ивана!.. — а самъ въ двери скорѣй, потому, во-первыхъ, стыдно, а во-вторыхъ, глаза-то у нихъ на сыромъ мѣстѣ... Не глаза, а источники водные. Тоже, кому лестно утопать! Я соленой влаги терпѣть не люблю. Ну, а на дворѣ пощупалъ, сколько у самого, — ахъ, Ты, Господи! — пустота! Какъ въ комкѣ были бумажки, такъ комкомъ и отдалъ. Не назадъ же: давайте половину. И чего это физика вретъ, ты помнишь, — природа не любитъ пустоты, — а ее, этой пустоты, сколько угодно!

XI.

Подъ утро какъ-то случилось.

Шатается безпріютный Встанька по Васильевскому острову, — и вдругъ картина. Времена сорокъ лѣтъ назадъ были наивныя. Тогдашняя полиція, — дай ей Богъ, — хоть кварталъ и назвали участкомъ, — а все на гоголевскаго Держиморду смахивала. Даже „наружную чистоту“ болѣе на улицѣ соблюдала, а ужъ никакъ не на собственной личности. У Ивана Ѳедоровича въ это время была пауза, т.-е. одна

работа окончилась а другой не начиналось, поэтому онъ и прохлаждался на легкомъ воздухѣ. Какъ самъ говорилъ, — воображеніе въ такіе антракты лучше работаетъ. То Киромъ, царемъ персидскимъ, себя вообразишь, то Лукулломъ сдѣлаешься. И вотъ, въ такую минуту, когда онъ своихъ муренъ купцами первой гильдіи откармливалъ, — изъ дому около вывели одну изъ знакомыхъ ему дѣвицъ, ту самую, которой онъ деньги отдалъ, а за ней нѣсколько милостивыхъ государей.

— Въ чемъ дѣло? — спрашиваетъ Встанька у городового. — За что ее сцапали?..

— Книжку нашли... А тебѣ какое дѣло? — опомнился тотъ.

— Значитъ, есть, если съ тобой разговариваю.

Милостивые государи въ одну сторону, а полицейскій чинъ остановилъ соннаго извозчика, водрузилъ на него дѣвицу съ „нелегальной литературой", нѣжно обнялъ (тоже кавалеръ!) и трухъ-трухъ впередъ.

„Я было прочь пошелъ... А потомъ вдругъ сообразилъ: нельзя этого дѣла такъ оставить. На улицѣ — никого. Извозчикъ свернулъ. Думаю: „Какъ же, неужели увезутъ?" А главное — хорошихъ книжекъ жаль стало. Сколько хлопотъ привезти ихъ. (А и книжки тогда только слава, что запрещенныя! Нынѣ такія въ журналѣ для благородныхъ дѣвицъ патріотическаго института печатаютъ.) Иду, а тючокъ этотъ дразнитъ меня... Ну, благословясь, подбѣжалъ я... А вѣдь ты помнишь, какъ я въ корпусѣ бѣгалъ?

— Еще бы.

— Теперь еще лучше. Усовершенствовался! Догналъ, — да какъ гаркну надъ самымъ ухомъ кавалера. Онъ у меня со страху бултыхъ шпорами вверхъ, распластался на улицѣ, — а я на его мѣсто. Локтемъ

этакъ извозчика, и извозчикъ набекрень. Только его и видѣлъ. Собралъ наскоро вожжи и погналъ... Надо тебѣ сказать, и дѣвица! Съ большой храбрости не то что кричать, а клохочетъ какъ-то... Я ей: „Молчите вы, ради Христа... Вѣдь утро, — вотъ-вотъ народъ пойдетъ, еще подумаютъ, что я васъ въ знакъ любви, похищаю". — Уговорилъ!.. Черезъ Тучковъ мостъ ее, на Петербургскую сторону. Получайте на сохраненіе... А потомъ, думаю, какъ же извозчикъ-то безъ своего инструмента останется. Онъ чѣмъ виноватъ? Ну, сейчасъ же назадъ — въ другую часть. Прямо во дворъ рыцарскаго замка съ каланчей...

— Что это? — спрашиваютъ.

— А вотъ нашелъ на улицѣ дрожки безъ извозчика. Получайте.

Сообразилъ, что тамъ потомъ разыщутъ. Вручатъ по принадлежности...

И разыскали. Только вмѣстѣ съ извозчикомъ и Встаньку.

Сцапали раба Божьяго.

„Думаю: пропалъ теперь Ванька. Схамкаютъ, живого мѣста не останется. Заперли меня, пока что. Вверху — рѣшетка, въ рѣшеткѣ — звѣда... За стѣной слышно: извозчики по мостовой громыхаютъ... Совсѣмъ какъ въ корпусѣ — въ карцерѣ. Только что у насъ клоповъ не было, а тутъ хоть торгуй ими. Не клопы, а прямо, надо сказать, аборигены. На известкѣ-то со скуки сколько изъ этихъ домашнихъ животныхъ запятыхъ понадѣлано, восклицательныхъ знаковъ. Видимое дѣло — грамотные люди сидѣли. Прицѣлился я было къ рѣшеткѣ, попробовалъ. Дѣло нетрудное: вывернуть съ мясомъ можно. А за нею — картузъ желѣзный; ну, это наплевать... Такъ себѣ и положилъ: дня два посижу, отдохну, а потомъ — алле-маширъ!

Только не пришлось. Такая тутъ пошла штука: прямо, надо сказать, изъ тысячи и одной ночи. Утромъ просыпаюсь я, отчесался отъ туземцевъ, вымылся, какъ кошка, ладонью, и вдругъ „щелкъ-щелкъ“ — два валета, совсѣмъ какъ ихъ въ пользу воспитательнаго дома на картахъ рисуютъ, только что безъ аллебардъ. Думаю: „Ишь ты, какой почетъ!“

— Одѣвайтесь.

— Куда?

— Увидите.

Ну, думаю, пропало мое дѣло... Ужъ очень я къ здѣшней рѣшеткѣ приспособился. А потомъ вдругъ сообразилъ: что жъ! Вѣдь вездѣ въ этихъ узилищахъ рѣшетки есть, а такихъ, чтобы нельзя было выломать, нѣтъ! И такъ я этимъ вдохновился, что даже запѣлъ: „Прости, мой домъ, поля родныя“. „Воспитательный домъ“ на меня обидѣлся.

— Какъ вы пѣть здѣсь можете?..

А я ему:

— У васъ носъ кривой, вы бы его выпрямили. Въ Вѣнѣ, сказываютъ, такая лабораторія есть. Даже министрамъ поправляютъ чухонскіе на греческіе. А то что же — этакій мундиръ, и вдругъ неприличіе. Да за васъ ни одна купчиха не пойдетъ...

— Ну, вотъ, знаешь, повезли меня, честь-честью... Первый разъ съ каретой познакомился. Рядомъ со мною — кривоносый, а напротивъ — другой статуй.

— Чуть что... Вы очень сильны вѣдь... Такъ мы тоже подобраны... На совѣсть!

Дѣйствительно, глаза на страхъ врагамъ пучатъ.

— Не бойтесь, не побѣгу... Животрепящаго довезете.

А самъ думаю: „Сейчасъ это трудно, а тамъ видно будетъ“.

Ѣхали, ѣхали... Лѣтній садъ, смотрю... День солнечный. Зелено... Дамы въ папильонахъ гуляютъ. Правильные господа въ цилиндрахъ... По Царицыну лугу какой-то полкъ маршируетъ...

— А не лучше ли намъ погулять въ саду, подъ ручку? — спрашиваю.

Валетъ отъ меня носъ воротитъ.

— Ей-Богу... Вы бы за дамами поухаживали, а я бы посмотрѣлъ.

Вдругъ онъ какъ расхохочется.

— Да вы что, — спрашиваетъ, — бронированный что ли?

— Въ родѣ того.

— Первый разъ вижу... Сколькихъ возилъ, а такого чудака еще не приходилось.

— Привыкайте.

— Курить хотите?

— Вашего не хочу.

Запалилъ онъ Лаферма первый сортъ... Дымъ прямо благоуханіе. Тошнитъ меня даже!

Завернули мы направо...

— Куда вы меня — гдѣ во время оно половцы опускались?..

— Для чего?

— Для порки... Россійская романтика... У другихъ въ этотъ секретъ на ножи попадешь или въ ублієтку. Какому-нибудь Александру Дюма-отцу на пять томовъ хватитъ... А у насъ Растопчину вонъ высѣкли... Этакій гонораръ благородной графинѣ за стихи. Джентльмены, подумаешь!..

Вдругъ карета — стопъ. Оказывается, вовсе не тамъ. Смотрю, мы на какомъ-то дворѣ. Пусто! Выскочилъ одинъ:

— Пожалуйте...

За мною другой, и сейчасъ — рразъ! — саблю наголо... Для почета. Коридоры пошли. Первый, второй, третій. Удольфскія таинства, да и только... Шпоры звенятъ гулко. Акустика такая — дай Богъ въ театрѣ. Рр-рр-рръ. И вдругъ: стой... Одинъ вошелъ, — мы остались вдвоемъ. Оглянулся я — уйти некуда... У стѣнъ — шкапы, въ шкапахъ — папки, а въ папкахъ, навѣрное, подлости изъ „Тайнъ мадридскаго двора". Статуй не дышитъ... Глаза выпучилъ... Вытянулся, точно для роста, и прямо, передъ собою, смотритъ въ бѣлую стѣну...

— Сюда...

Дверь — настежъ, и я вошелъ..

XIII.

— То - есть: разскажи мнѣ кто, ни за что бы не повѣрилъ..

— Ну, кого я тамъ встрѣтилъ?.. Догадайся?..

— Минотавра...

— Минотавры въ лабиринтахъ водятся... Шиллера!

— Какого?

— Нашего... Корпуснаго, только что кокъ онъ на лбу, должно-быть, для браваго вида фертомъ взбубенилъ. Немного повыцвѣлъ, а то пѣтухъ-пѣтухомъ. Большущій кабинетъ, свѣтлый. По стѣнамъ идолы масляными красками выписаны. Оказывается, предшественники Шиллера... На память благодарному потомству. Столъ такой — поперекъ спать можно... Кресло съ пароходную каюту, и въ каютѣ — Шиллеръ.

— Да какой Шиллеръ?..

— Господи! Директоръ нашъ, что пирогами меня кормилъ.

— Не можетъ быть!..

— Я тебѣ говорю. Самъ было глазамъ не повѣрилъ. Оглянулся, — а статуй у дверей. Ждемъ.

Шиллеръ — ноль вниманія, точно меня нѣтъ. Читаетъ какія-то мерзости и на поляхъ краснымъ карандашомъ помѣтки дѣлаетъ. Скучно. Тишина. Даже мухи нѣтъ, чтобы въ стекло стучалась... Поднялъ, наконецъ, голову Шиллеръ... Всмотрѣлся въ меня... Всталъ... Подошелъ въ упоръ... Взялъ за плечи — и опять глаза въ глаза.

— Вы.. вы. Старый кадетъ. И вдругъ въ такомъ мѣстѣ?

— Такъ точно, ваше превосходительство! Знаешь, по-кадетски. Да вѣдь и вы здѣсь, только съ другой стороны!

Онъ сейчасъ статуя прочь.

Тотъ сомнѣвается.

— Вы слышали?..

— Ваше превосходительство... Арестантъ очень силенъ и дерзокъ...

— Ну, авось, онъ меня не съѣстъ, выйдите...

Остались мы наединѣ.

— Встанька, что вы надѣлали! Вы весь нашъ корпусъ осрамили! Вамъ бы по успѣхамъ въ наукахъ на мраморной доскѣ быть...

— И безъ меня много охотниковъ.

— Вѣдь вы знаете, куда васъ высылаютъ?

— Нѣтъ, не знаю...

— Вы про Мезень слышали?

— На рѣкѣ Мезени, притокѣ Печоры, уѣздный городъ, 820 жителей занимаются рыбными и звѣриными

промыслами...Есть мужской монастырь... У меня изъ географіи всегда двѣнадцать было.

— Такой же остался!

А самъ сейчасъ платокъ шелковый къ глазамъ. Только, сообразно новому своему положенію, онъ вмѣсто розовыхъ голубые нынче носитъ.

— Скажите мнѣ, пожалуйста, вы въ самомъ дѣлѣ съ ума сошли? Можетъ-быть, если васъ освидѣтельствовать черезъ губернское правленіе, еще спасти можно?..

Смѣшно мнѣ на него смотрѣть.

— Никакъ нѣтъ, въ здравомъ умѣ.

— Жалко мнѣ васъ, Встанька... Вѣдь вы пропали, поймите, пропали...

— Авось, найдусь еще...

— Такой же, какъ тогда, когда я на него солдатскую шинель надѣлъ! Вотъ что, вы еще можете вывернуться. Укажите, куда вы эту дѣвицу доставили... Вы знаете, искреннее раскаяніе покрываетъ все... Я доложу, что вы это по легкомыслію и... ну, выпили, что ли. Или по молодости и неопытности влюблены...

— Я въ тотъ день не только не пилъ, но и ѣсть мнѣ было нечего.

— Все равно... Ну, такъ гдѣ эта... Оснина? Такъ, кажется?..

— Я, ваше превосходительство, не перемѣнился, а вотъ вы, такъ не тотъ.

— Что?..

— Въ корпусѣ вы бы такого предложенія не сдѣлали, а просто отправили бы въ карцеръ.

— Вы въ умѣ, Встанька, чтобы со мною такъ разговаривать?

— Нѣтъ, я хочу вамъ напомнить одно: помните, вы выстроили нашу роту. И потомъ: Встанька, впе-

редъ! Я, по уставу, три шага изъ фронта. „Въ карцеръ на недѣлю!“ А потомъ — вы же это: „Господа-кадеты, Встаньку я наказалъ, а своего товарища Случина, который мнѣ донесъ на него, накажите вы“... Вѣдь мы тогда за васъ бы на смерть пошли, и если бы намъ кто-нибудь сказалъ, что вы впослѣдствіи здѣсь сидѣть будете, мы бы его по-кадетски отдули. Теперь вы мнѣ самому по-случински „вывернуться“ предлагаете, да еще выдавъ дѣвицу, въ которую я влюбленъ!

Сѣлъ онъ опять... Вздохнулъ.

— Другое время было... Я не въ томъ положеніи... Да, разумѣется. Вамъ этого предлагать нельзя.. . Вы не изъ того тѣста. Что же дѣлать... Жалко... Васъ сейчасъ отправятъ... Я позабочусь, чтобы васъ помѣстили. Кормятъ тамъ недурно. Сидѣть придется не долго. Дѣло ваше просто, какъ bonjour. Отъ Мезени я васъ, разумѣется, постараюсь избавить. Холмогоры все-таки лучше. Тамъ есть хорошее общество изъ политическихъ.

— Pierre... Завтракать давно пора...

— Войди, Marie.

„Помнишь мать-командиршу? Совсѣмъ даже не измѣнилась, тѣ же на вискахъ сѣдыя букольки, которыя мы бирюльками называли. И вокругъ глазъ „добрыя“ морщинки.

— Войди, войди... Узнаешь?

Тотъ же золотой лорнетъ. Оглядываетъ меня...

— Господи, да это нашъ Встанька.

— Собственной своей персоной. Сейчасъ его отсылаю. Полюбуйся — политическій.

— Что-нибудь важное?

Онъ ей по-нѣмецки. Воображаетъ, что я попрежнему не понимаю. „Нѣтъ, такъ, пустяки, собственно. Дѣ-

вушку арестованную освободилъ. А все-таки сама знаешь, какое нынче время. Сошлютъ, какъ пить дать. Вся жизнь погублена"....

— Бѣдный, бѣдный...

И сейчасъ же у нея глаза вспухли и покраснѣли.

— Развѣ его сейчасъ надо отправлять?

— А что?

— Хотѣлось бы его дочерямъ показать... Они вѣдь дружны были.

XIV.

Хорошо живутъ! На столѣ — точно у Елисѣева въ окнѣ — чего-чего нѣтъ. На одно нацѣлишься, а другое еще лучше.

Ракъ лежитъ въ мой сапогъ величиной. Не знаешь, съ какой стороны къ нему, подлецу, подступиться. Даже страшно. Смотрю и рѣшаю — ни за что ни куска не возьму. Нельзя съ такими хлѣбъ-соль дѣлить. Они всѣмъ угощаютъ, а я уперся — „сытъ". Отправляйте скорѣе по принадлежности", думаю. А то еще соблазнишься. Особенно, какъ горячія сосиски подали съ картофельнымъ пюре . До страсти это пюре я въ корпусѣ любилъ. Я думаю, Муцію Сцеволѣ легче было руку жечь! Да вдругъ дѣвчонки явились... Какія онѣ теперь дѣвчонки. Одна отца переросла! Смотрятъ на меня — то хохочутъ, то плачутъ. Чего вы? — спрашиваю. — Жалко васъ... — А вы, говорю, кого-нибудь другого жалѣйте. Я себя отлично чувствую. Меня жалѣть нечего... А вотъ васъ такъ дѣйствительно. Какого передъ вами кушанья не поставлено, — а вы, какъ паровые цыплята, клювъ-клювъ. Но тутъ онѣ ко

мнѣ заприставали: „Какъ вы живете, да что дѣлаете?“ Я имъ турусы на колесахъ...Генералъ ушелъ къ себѣ... Къ ея превосходительству тоже какая-то обоюдоострая дама въ гости пріѣхала, насъ и оставили втроемъ, и вдругъ тутъ дѣвицы-то такими обернулись. Давай ужъ передо мною извиняться. „Вы, Встанька, о насъ дурно не думайте“.

— А я о васъ и совсѣмъ не думаю...

— Это папаша на такой постъ назначенъ, а мы ужасно какія либеральныя.

— Оно и видно, — смѣюсь.

— Да, я „Что дѣлать?“ Чернышевскаго ночью подъ подушками держу.

— А я Фейербаха прочла!

— Насъ кузенъ Поль, онъ — конногвардеецъ, робеспьерками называетъ.

А потомъ затараторили между собой по-аглицки,— ч вдругъ:

— Хотите, мы васъ спасемъ?

— Какъ это? — спрашиваю.

— Очень просто. Выведемъ въ нашъ подъѣздъ на улицу.

— Вотъ такъ просто! А тамъ меня жандармъ схамкаетъ..

— Если съ нами, — не тронетъ.

— А вамъ достанется?

— Не очень... Мама за насъ. А папу мы не бо имся. Зато мы докажемъ, какія мы передовыя. Кузенъ Поль тоже въ восторгѣ будетъ.

Я было посовѣстился. Думаю, все-таки влетитъ дѣвицамъ. Да и потомъ что за модель такая? Пришелъ честь-честью и насвинилъ. Ну какъ посмотрѣлъ я въ окно... А тамъ за Фонтанкой деревья колышутся. И небо, чортъ его возьми, голубое. Люди ходятъ и не

понимаютъ, какое это счастье на свободѣ... А дѣвчонки, — глаза у нихъ блестятъ...

— Ну, Встанька, рѣшайтесь, что ли.

— Да скорѣй, а то мама вернется.

Затормошили онѣ меня. Въ свою комнату. А оттуда у нихъ выходъ въ переднюю. Жандармъ тамъ. Вытянулся передъ ними. Онѣ меня въ подъѣздъ — и пошла душа въ рай, только хвостикомъ завиляла! Я сослѣпа-то вмѣсто, чтобы направо, влѣво ударился. Смотрю — моя карета... Жди, думаю голубушка. А самъ въ Лѣтній, какъ настоящій господинъ... А изъ Лѣтняго къ тебѣ... Теперь, братъ, прятаться придется. Встанька умеръ, назовусь иначе...

XV.

Въ сплошныхъ голодовкахъ, уже нелегальный, онъ не только не ослабѣлъ, но, какъ будто назло здравому смыслу, еще окрѣпъ. Я и теперь смѣюсь, вспоминая его хохотъ, а тогда мнѣ легко дѣлалось на душѣ подъ голубымъ огнемъ этихъ веселыхъ глазъ. Тѣмъ не менѣе, онъ и работалъ во-всю. Когда успѣвалъ, Богъ его вѣдаетъ, только вдругъ, напечатавъ гдѣ-нибудь статью, обнаружитъ такой научный багажъ, что товарищи рты раскроютъ, или съ профессоромъ сцѣпится и собьетъ его съ толку цѣлымъ рядомъ неожиданныхъ для того данныхъ. И прятаться пересталъ, — бѣгалъ на лекціи, цѣлыми днями просиживалъ въ публичной библіотекѣ. До того осмѣлѣлъ, что къ арестованнымъ товарищамъ подъ чужой фамиліей на свиданіе ходилъ. А то на диспутѣ будущаго магистра въ потъ вгонитъ, и тотъ негаданнаго оппонен-

та мысленно посылаетъ къ чорту. И при этомъ самыя невѣроятныя мальчишескія приключенія! Разъ вдругъ является ко мнѣ съ такимъ видомъ, точно его сейчасъ только въ Капитоліи лаврами вѣнчали.

— Отгадай, откуда я.

— Ну?

— Изъ полиціи...

— За что? Какъ ты туда попалъ?

— За монументъ. Иду я, знаешь, по Невскому и вижу: изъ настоящей бронзы — Кутузовъ или Барклай, что ли, — плыветъ важная обоего пола персона и по дорогѣ дѣвочку съ корзинкой изъ магазина чѣмъ-то улещаетъ. Скосился этакъ на нее, лицо подлое-подлое, и на губахъ пузыри. Загодя, свинья, смакуетъ. Дѣвочка вся красная, и на глазахъ слезы.

Ахъ, ты, — думаю, — подлецъ!" Обернулся да какъ будто невзначай головой ему въ брюхо... Ну, извѣстно, монолитъ вверхъ ногами... Всталъ онъ, а я ему: „Вы, кажется, ушиблись?.. Позвольте, я вамъ пальто встряхну — запылилось"... Онъ это сейчасъ слюну — настоящій пульверизаторъ. „Мерзавецъ, — шипитъ. — Я тебя въ полицію". Ну, вижу, опять его надо за „мерзавца" поколебать. Взялъ я его поперекъ и легонькое землетрясеніе устроилъ!.. А потомъ донесъ на рукахъ до городового...„Вотъ этотъ господинъ, — говорю, — полиціей грозится". Ну, извѣстно, меня взяли и отпустили. „Потерпѣвшій" не явился. Обѣщалъ сейчасъ, а только его и видѣли. Должно-быть, огласки убоялся. Тоже, поди, дома жена не похвалитъ. Дѣвочка съ корзинкой за мной пришла въ кварталъ свидѣтельствовать... Я сдуру и фамиліей своей назвался. Только до околоточныхъ, должно-быть, еще моя слава не дошла. Полное невѣжество обнаружили. Вотъ тебѣ и знаменитость! Вмѣсто

шиворота адресъ спросили. Ну, я и далъ имъ его...

— Во дворцѣ, у майора изъ-подъ воротъ... Должность такая есть. Кстати вспомнилась. Еще какъ провожали-то... „Дежурный! подай пальто"... А у меня и пальто нѣтъ!..

— Я, — говорю, — прохладу люблю... Если кто хочетъ сто лѣтъ прожить, — въ теплѣ себя не держи.

— Намъ, — оправдываются околоточные, — нельзя. Намъ пальты по формѣ полагаются.

XVI.

Пошелъ я какъ-то къ товарищу, жившему подъ самой крышей въ громадномъ, по тому времени, домѣ. Помню: бывало, смотришь въ окно, и подъ тобою точно бездна. Люди, какъ мухи, ползаютъ. Издали еще человѣкъ, и ближе все меньше и меньше, и подъ самымъ окномъ круглая козявка какая-то. А отъ дамъ только однѣ шляпки видны. Точно эти шляпки сами собою по землѣ насѣкомыми ползаютъ. Впереди — Казанскій соборъ, и наша крыша чуть ли не подъ самый куполъ ему приходилась. Я уже давно не встрѣчалъ Ваньку-Встаньку. Совсѣмъ исчезъ. Пріятели думали, что онъ отъ петербургской нелегальщины въ провинцію ушелъ. Все-таки тамъ легче прятаться, да и народовольчество, можетъ-быть потянуло его къ себѣ, и я иначе не воображалъ его, какъ путешествующимъ отъ села къ селу, отъ деревни къ деревнѣ по невѣроятнымъ захолустьямъ съ горячей проповѣдью вѣчной правды. Какъ-то къ лицу ему было, да и съ мужикомъ онъ сумѣлъ бы сойтись. Одного только никому не приходило въ голову: чтобы его могли поймать.

То-есть поймать, пожалуй, и поймают, только не надолго. Этакую вольную птицу въ клѣткѣ не удержишь. Сломаетъ ее или самъ о стѣнки ея разобьется. Не даромъ онъ о себѣ живописалъ: „Меня, какъ кота, возьми за хвостъ, поверти-поверти, да и швырни, — непремѣнно на всѣ четыре лапы стану и только что тыркну отъ неожиданности. Ничѣмъ меня не удивишь“.

Сидимъ мы съ товарищемъ у окна и чай пьемъ...

И вдругъ въ поднебесьѣ, съ высоты воздушной:

— Пріятнаго оппетита! Полцарства за стаканъ чаю.

Я высунулся и... ахнулъ.

Подъ крышей виситъ на веревкахъ перекладина. На перекладинѣ надъ бездной болтается Ванька-Встанька, весь въ мѣлу, и мажетъ стѣну известкой. Рядомъ отдѣльно виситъ ведро съ краской.

— Встанька, ты?

— Онъ самый.

— Что ты дѣлаешь?

— Видишь самъ, канарейку изображаю... Вишу и пѣсни пою...

— Давно ли ты въ маляры попалъ?

— Четвертый мѣсяцъ. Во-первыхъ, жить надо, а во-вторыхъ, — прятаться. У насъ хозяинъ простецъ — вмѣсто рубля въ день полтину платитъ. Зато паспортовъ не спрашиваетъ.

— Такъ что жъ ты ничего лучшаго не нашелъ?

— Найди! Своимъ на шею сѣсть, разумѣется, можно, да стыдно, пока руки налицо. Потомъ у насъ нелегальное дѣвье есть, тѣмъ трудно, дѣйствительно. Она въ канарейки не пойдетъ. Къ высотѣ воздушной не привыкла. Да и нѣтъ такого обычая, чтобы дамы штукатурили... Ну, вотъ и я поболтался-поболтался, да и въ артель. Любезное дѣло. Цѣлую недѣлю народъ

правильный, душевный. Работникъ. Въ воскресенье только душу отводятъ. У нихъ вѣдь одинъ театръ — кабакъ... Наверху тутъ,въ небесахъ, никому и въ голову не придетъ искать меня. А когда я спущусь, — морда-то такъ известкой замазана, что никакой Путилинъ меня не узнаетъ. Я вонъ у валета, возившаго меня къ Шиллеру, вчера цыгарку попросилъ, а онъ мнѣ: „Пошелъ прочь, мужланъ"... И не подозрѣвалъ даже, кто это.

— Чаю хочешь?

— Еще бы! Я чай страсть люблю.

— Да какъ же тебѣ дать его?

— А вотъ погодите, я самъ къ вамъ... Отойдите-ка да снимите стаканы.

Уперся ногами въ стѣну, откинулся...Еще разъ — и влетѣлъ небожителемъ въ окно. Кувыркнулся, но все-таки не ушибся.

— А внизу не замѣтятъ?

— Нѣтъ. Тамъ конецъ веревки привязали до вечера и ушли.

— Развѣ не съ чердака ты висишь?

— Чердакъ сюда не выходитъ. Вчера я на трубѣ висѣлъ, а тутъ и трубы нѣтъ. Уцѣпиться не за что.

Набросился на чай.

— Давно такого не пилъ, господскаго. Еще и варенье. Царица Небесная! Малиновыя сѣмечки! Ай, да мы! Хорошо живете, можно чести приписать.

А у самаго носъ въ известкѣ и весь зашлепанъ бѣлымъ.

— Смѣшно, небось, смотрѣть?

— Гдѣ ты пропадалъ все время?

— Дѣло дѣлалъ да врюхался. Чуть было меня за штанину не поймали...

— Сидѣлъ, что-ли?

— Зачѣмъ. Чуръ-чуръ меня! Сухо дерево — завтра пятница. Мы и постоимъ!

И расхохотался.

— Въ чемъ дѣло-то?

— Совсѣмъ было матерой котъ воробья за хвостъ сцапалъ, а воробей прыгъ, — и котъ на бобахъ. Поди, до сихъ поръ умывается и фыркаетъ. Этакую живность упустилъ.

XVII.

— Что ты дѣлалъ?

— Нелегальщину возилъ.

Нелегальщину! Теперь, когда вспоминаешь то время, страшно даже дѣлается: что нелегальщиной считалось! Нынче эту нелегальщину хоть на стѣны расклеивай, а тогда изъ-за нея люди гибли, да какъ — безъ возврата! Сколько въ далекихъ снѣгахъ затерялось могилъ безвѣстныхъ, а то и такъ безъ могилъ какіе смѣлые, стойкіе люди въ неисходной глуши по бездорожьямъ сомкнули молодыя очи. Точно они не нужны были оскудѣвшей родинѣ, гдѣ всякая сильная рука была на счету. А мы размотали эти сокровища, расшвыряли ихъ по ледянымъ пустынямъ. Страшный отвѣтъ придется за нихъ держать предъ нелицепріятнымъ судомъ исторіи.

— Попался?

— Было! Погоди, дай чаю набухаться, — тогда и разскажу. А малиновое у васъ я до тла съѣмъ. Страсть вкусно съ пеклеваннымъ... Валтасаромъ себя чувствуешь.

Набухался, — отвалился...

— По варшавской везъ я. Только, должно-быть, донесли. У меня все въ ручномъ саквояжѣ было. Присѣлъ одинъ рядомъ, — зарится! Морда подлая! Такъ и написано: „Бита неоднократно!“ Издали видно. „Тяжелый у васъ!“ А самъ меня локтемъ въ бокъ. По-пріятельски. Ну, и я. Вынулъ изъ кармана револьверъ... Хороша, говорю, штучка?.. И страсть, какъ я изъ него умѣю... Деньги везу, и ежели кто попробуетъ отнять, — впередъ совѣтую съ папашей и мамашей проститься...

— Такъ... Только вы напрасно. Мы денегъ не отнимаемъ. Не наше это дѣло, мы по другому вѣдомству. Намъ воровать не зачѣмъ. А только если это деньги — большіе милліоны!..

— Да, не малые.

— И вы одни не боитесь?

— Нѣтъ.

— А я такъ опасаюсь... Дай-ка я еще нашего крикну. Втроемъ намъ не такъ страшно будетъ. Да и веселѣе.

До станціи полчаса.

Поѣздъ среднимъ ходомъ. Громыхаетъ себѣ: „Ахъ, какъ трудно! Ахъ, какъ трудно!“

— Вамъ, все равно, уйтить некуда, господинъ Встанька, — уже нахально открываетъ карты гороховое пальто.

Ну вижу: дѣло мое плохо, кругомъ вода...

Вышелъ онъ.

Выглянулъ я въ коридоръ: нѣтъ его.

Я чемоданъ въ руки — и на площадку. Вдали синё, а въ сини этой лѣсокъ. Поѣздъ идетъ по насыпи съ краю. Внизу лозникъ... Вонъ направо дорога, и по ней, на самомъ краю, какая-то телѣга ползетъ... Не успѣлъ я оглядѣться, — а на слѣдующую площад-

ку изъ второго вагона — мой спутникъ и съ нимъ жандармскій валетъ.

— Вотъ онъ! — говоритъ...

— Господинъ Встанька?..

— Къ вашимъ услугамъ. Собственной персоной! — А самъ ручной саквояжъ-то швыркъ внизъ.

Валетъ перескочилъ ко мнѣ и цапъ меня за полу, да, должно-быть, не успѣлъ какъ слѣдуетъ... Потому за саквояжемъ — я самъ... въ пространство. Пола-то у него въ рукахъ осталась. Поди, при дѣлѣ состоитъ. На мгновенье показалось мнѣ, что меня кто-то держитъ... А потомъ я вдругъ перекружился разъ-другой.. Портретомъ по песку проѣхался... Рукой во что-то уперся, перекинулся и весь въ лозникъ ушелъ... Помнишь, у насъ въ корпусѣ, въ дракѣ — расшибешься, бывало, или затылкомъ грохнешься, первое дѣло — не лежи, а скорѣе на ноги. Иначе долго не встанешь, и въ лазаретъ унесутъ. Вскочилъ я тутъ, смотрю, а поѣздъ-то Богъ знаетъ гдѣ. Только на краю неба фыркаетъ черными дымками. Слава Богу — въ тѣ поры, должно-быть, аппараты были въ неисправности, не сразу остановишь. А, можетъ-быть, Немвроды такъ оторопѣли, что и не догадались до станціи. Только кинулся я со всѣхъ ногъ къ ручному саквояжу, взялъ его, и давай Богъ ноги...

— Да какъ же ты бѣжать могъ?

— И ты въ такомъ случаѣ побѣжишь. Будь спокоенъ. Точно что — болѣло у меня все.. И главное — локти и колѣни. И въ груди ныло. Да когда тутъ нѣжничать, вѣдь они могли на дрезинѣ за мною. Себя не жалко, хорошія книжки жалко! Такъ я и ушелъ.

— Да вѣдь со станціи погоня была?

— Должно-быть, была. Отчего ей не быть? Толь-

ко Богъ не выдалъ, — свинья не съѣла. Вотъ съ тѣхъ поръ на меня они страсть озлились. Я съ артелью шелъ по Невскому, шиллеровскихъ дѣвчонокъ встрѣтилъ. Пока не назвалъ себя, узнать не могли. А меня, главное, совѣсть мучила, не очень ли имъ за меня досталось. Остановился, спросилъ. Обрадовались: нѣтъ, говорятъ, папа не особенно сердился. Только два дня съ нами не говорилъ. Зато теперь васъ — не можете себѣ представить — какъ ищутъ... Потомъ товарищи-маляры спрашиваютъ: „Кто это?“ а я: „Въ младшихъ дворникахъ у нихъ жилъ. хорошія барышни, завсегда по двугривенному на чай давали... Страсть, какъ уважаютъ нашего брата. Я къ нимъ дрова носилъ“...

XVIII.

Напился чаю, поймалъ свою перекладину, притянулъ къ окну да и вскочилъ на нее такъ, что у меня голова закружилась. Не успѣлъ я прійти въ себя, а онъ ужъ заработалъ мазкомъ, да еще потѣшается.

— Помнишь, какъ я въ корпусѣ по водосточнымъ трубамъ лазилъ? Вотъ она, практика-то, и пригодилась. И на гимнастикѣ тоже я по воздушнымъ трапеціямъ мячикомъ леталъ.

И вдругъ кувыркнулся, да такъ, что я крикнулъ.

— Это у тебя нервы... Ты бы валеріанки, что ли... или брому. Дамы сказываютъ, — помогаетъ.

Выглянулъ я: болтаетъ ногами, точно подъ нимъ полъ... Оретъ что-то, обозначающее пѣсню. Смотрѣлъ я, смотрѣлъ, и вдругъ меня потянуло внизъ. Скорѣй откинулся.

— Ты по крышамъ когда-нибудь бѣгалъ?

— Нѣтъ.

— А я — случалось. Да еще съ одной на другую козломъ... Въ жизни, братъ, всякая прыть пригодится!.. Я такъ думаю, что у меня подъ рубахой крылья есть. Развернусь да какъ ухну, — только меня и видѣли.

Послѣ этой встрѣчи Ванька-Встанька опять пропалъ.

Я искалъ его въ артели.

Спросилъ крестьянина Можайскаго уѣзда Васильева — имя, подъ которымъ онъ значился.

— Можетъ, и былъ такой, — уклончиво отвѣтилъ подрядчикъ, — гдѣ жъ ихъ всѣхъ, пьяницъ, упомнишь.

— Да онъ у васъ четыре мѣсяца работалъ.

— Вотъ у меня въ книгѣ всѣ паспорта записаны.

— Онъ такъ жилъ, по-Божьи, безъ паспорта.

— Мы безъ паспорту не держимъ... Проходите, проходите, господинъ, некогда намъ пустыми дѣлами заниматься.

Прочелъ я въ тогдашней газетѣ одной очеркъ: „Съ малярами". Пахнуло на меня Ванькой-Встанькой. Зашелъ въ редакцію.

— Авторъ?.. Да, совсѣмъ какъ вы описываете. Мы сами его ищемъ. Хотимъ большую работу предложить. А то получилъ сто двадцать рублей — по восьми копеекъ за строчку разсчитали, а онъ въ воду канулъ. Хоть публикаціями, какъ сбѣжавшаго кобеля, разыскивай.

Сто двадцать рублей, — да это цѣлый капиталъ для Ваньки.

То-то онъ артель бросилъ! Теперь, поди, шатается гдѣ.

Толкнулся я на Петербургскую сторону, гдѣ спасенная имъ нелегальная дѣвица укрывалась.

— Не видала! У сестры спросите.

Та въ учительницахъ. Разыскалъ и ее.

— Ни слуху ни духу!

И вдругъ письмо отъ него съ рукописью.

„Помѣсти, если можно, и деньги сейчасъ вышли мнѣ на имя Петра Ѳеофановича Розноцвѣтнаго (это я) въ Чигиринъ"...

Повѣсть, и большая. Я въ ту же редакцію, — обрадовались. Издатель оказался порядочный человѣкъ. Я ему выложилъ все на чистоту. Подвѣсилъ онъ на ладони.

— Фунта два будетъ... Читать не стану. Хорошо пишетъ. Прямо въ типографію пошлю.

Помѣтилъ: „плотный корпусъ". Позвонилъ...

— Снесите Андрею Васильевичу. Корректуру чтобы завтра... Сколько успѣютъ набрать...

— Триста рублей дамъ пока что... Въ счетъ... Пошлите ему.

Отправилъ, и черезъ недѣлю письмо.

„Милліонъ получилъ, благодарю. Чувствую себя подлецомъ-плантаторомъ. Загодя обрастаю свинымъ саломъ и щетиной. Копаюсь въ сокровищахъ и глазамъ не вѣрю, а впрочемъ, пребываю къ вамъ благосклонный. Петръ Разноцвѣтный".

Черезъ мѣсяцъ — письмо изъ редакціи.

— Получите еще сто пятьдесятъ...

Отправилъ. Никакого отвѣта. Справился по квитанціи, — деньги мнѣ вернули: адресатъ выбылъ неизвѣстно куда. А немного спустя — ко мнѣ „милостивый государь". Шпоры звенятъ, лицо лакированное...

— Извѣстенъ вамъ Петръ Ѳеофановичъ Разноцвѣтный?

— Какъ же.

— Давно?..

— Недавно!..

— Хорошо-съ! А какъ вы съ нимъ познакомились?

— Обратился ко мнѣ съ просьбой пристроить его рукопись. Заочно...

— А настоящую его фамилію знаете?

— А развѣ эта не настоящая?..

— То-то что.

Записалъ...

— А примѣты его вамъ неизвѣстны?

— Нѣтъ.

— Коротокъ, широкоплечъ...

Довольно точно живописуетъ Ваньку-Встаньку.

— Не знаю, не знаю...

— Вы въ какомъ корпусѣ воспитывались?

Я назвалъ.

— Не похожъ ли кто изъ вашихъ товарищей на Разноцвѣтнаго?

— У меня ихъ четыреста было. Вотъ и вы, короткій, широкоплечій. Кабы по такимъ примѣтамъ судить, такъ совсѣмъ за Разноцвѣтнаго сойти можете.

— Вы съ этимъ не шутите, — его давно ищутъ.

— До меня не касается. Мало ли кого ищутъ.

XIX.

— Васъ какой-то мужикъ спрашиваетъ.

Я былъ еще въ постели.

— Гдѣ онъ?

— Въ куфнѣ. Забавный. Пришелъ первымъ дѣломъ вашу сайку съѣлъ. Сказываетъ, давно васъ зна-

етъ. Будто, вы у нихъ въ деревнѣ жили.

Меня такъ и подняло. Не кто другой, какъ Ванька...

— Зовите его... Скорѣе.

— Вотъ и я!

Такъ и есть. Онъ самый. Только еще шире въ плечахъ сталъ. Глаза такъ и искрятся настоящею веселостью. Обвѣтрило всего... Скулы — совсѣмъ антоновское яблоко.

— Живъ курилка... Полъ-Россіи обошелъ!..

Обнялись...

— Можно у тебя? На сегодня? Завтра я найду гдѣ.

Комната у меня была уже большая. Какъ разъ для Ваньки-Встаньки — диванъ.

— У меня твоихъ полтораста рублей.

— Нну! Ростовщика зарѣзалъ?

— Зачѣмъ. За твою повѣсть еще пришлось.

— Ай, да мы! Какъ разъ кстати, — у меня всего-навсего вотъ.

И онъ вывернулъ карманы. Оказалась пустота. Подошелъ къ зеркалу.

— Ну, не Шекспиръ? А? Я сейчасъ твою сайку слопалъ. Со вчерашняго не ѣлъ. А сюда, въ Питеръ, пѣшкомъ сломалъ всю дорогу. Только отъ Бологова двѣ станціи, — за цѣпь ухватившись, какъ обезьяна, — проѣхалъ. Да ужъ очень трясетъ.

— Тебя ищутъ, знаешь?

— „Чтобы такую истину сказать, не стоило изъ гроба подыматься". Меня, братъ, уже два года ищутъ. Я въ Москвѣ съ однимъ сыщикомъ познакомился. Мы съ нимъ вмѣстѣ цѣлый мѣсяцъ меня искали. Сколько я на его счетъ солянокъ съѣлъ! И дуракъ же! Я у него въ квартирѣ даже складъ брошюрокъ устроилъ,

пока не распредѣлилъ по мѣстамъ. А потомъ въ Гурьевскомъ трактирѣ такъ его напугалъ откровенною бесѣдою по душамъ, что у него „кишка оборвалась“. Меня же умолялъ не выдавать его.

— Чортъ знаетъ, что! Какъ тебѣ не стыдно?

Встанька расхохотался.

— Видѣлъ бы ты его поганую лисью морду, когда я ему объявилъ, кто я! Дорогого стоитъ! Какъ еще онъ на стулѣ усидѣлъ. Я думалъ, со всѣхъ четырехъ копытъ трахнется или „караулъ“ заоретъ...

— А если бы онъ тебя выдалъ?

— Тоже и самому итти въ каторгу неохота!

— А больше ты его не встрѣчалъ?

— Ну, вотъ! отчего не встрѣчалъ... Сейчасъ ночевалъ у него, въ Москвѣ. Гдѣ же мнѣ было приклонить

Главу, гонимую судьбою
И обреченную людьми?

Еще какъ онъ умолялъ меня: „Иванъ Ѳедоровичъ, Богомъ васъ прошу, ослобоните вы меня отъ себя. У меня, и не видя васъ, внутренняя жила дрожмя дрожитъ“... Даже такъ, что вручилъ онъ мнѣ паспортъ настоящій. „Только, — говоритъ, — перекрестись на Симеона Богопріемца и на Матерь Божію Иверскую, что если тебя поймаютъ, — ты меня не выдашь“

— Кто же ты теперь?

— Зарайскій (первые воры по Москвѣ!) мѣщанинъ Ѳома Скоробогатовъ.

— Такъ. Ну, а сейчасъ что ты располагаешь дѣлать?

— Первымъ долгомъ воздвигну себѣ партикулярную пару. Въ твоей на рынокъ пойду, тамъ и куплю. Потомъ найду гдѣ-нибудь, въ сторонѣ отъ большого свѣта, комнату у вдовы съ флюсомъ и буду писать.

Я, братъ, въ „Голосѣ“ сколько корреспонденцій съ пути помѣщалъ! Если по пятаку строка, и то рублей двѣста придется. Хоть банкирскую контору на Невскомъ открывай!.. Ну, а къ Краевскому въ этомъ зипунѣ не явишься. Къ нему, надо стрюцкимъ. Иначе швейцаръ по шеѣ... Швейцаръ у него совсѣмъ полковникъ.

Прилегъ на диванъ, и черезъ минуту такъ захрапѣлъ, точно я его душить пробовалъ. Кухарка даже влетѣла испуганная.

— Христе, Милосливый, такъ даже у насъ, въ Ливнахъ, не храпятъ.

— Съ дороги онъ.

— И вы, тоже!.. Всякому мужлану честь оказываете. На диванъ! Скажите, пожалуйста. Еще бы ему отъ такого счастья да не храпѣть.

XX.

Года два прошло.

О Ванькѣ-Встанькѣ всѣ забыли. Зато Ѳома Скоробогатовъ свой человѣкъ сталъ въ нѣкоторыхъ редакціяхъ. Я и теперь помню его статьи, полныя молодого задора и такого хотя и колючаго, но заразительнаго остроумія, что даже тѣ, кому были посвящены онѣ, не могли не смѣяться, хоть и злились на автора истыми аспидами и василисками. Опять цѣлыми днями просиживалъ онъ въ публичной библіотекѣ, — и нѣтъ-нѣтъ да удивлялъ насъ то монографіей по какому-нибудь научному вопросу, то спеціальною справкой, отъ которой и академическія совы не отказались бы при случаѣ. Диспуты стали для него спортомъ. Усерднѣйше посѣщалъ ихъ и не одному будущему докторанту пор-

тилъ кровь, ловя его въ полемическіе переплеты такъ, что тотъ со-слѣпу путался въ нихъ и потѣлъ на каѳедрѣ отъ ужаса. Когда мы нападали за это на Встаньку, — онъ оправдывался:

— Я вѣдь это будущихъ кандидатовъ въ дѣйствительные тайные. Нюхомъ угадываю, зачѣмъ ему наука. За послѣднее время много такихъ провидцевъ развелось. У нихъ и цитаты всѣ такъ подобраны, чтобы высокопревосходительствамъ понравиться. Ты думаешь, онъ въ доценты мѣтилъ? Какъ же! Держи карманъ. Очень ему нужно на научныхъ акридахъ поститься! Въ генералъ-губернаторскую канцелярію — по инородчеству или старообрядчеству. Ишь, у нихъ какъ пасти-то на чужіе животы раскрыты. Такъ и норовятъ распотрошить живье. Видѣлъ я ихъ на дѣлѣ. Собачки дрессированныя... Такъ уже, по крайней мѣрѣ, не даромъ. Пусть пострадаютъ малость... Какъ онъ меня улещалъ сегодня: „Мой высокочтимый собратъ“... „Мой ученый оппонентъ“. А я только по его диссертаціи нѣкоторыя справки въ публичной библіотекѣ выбралъ. Вотъ и весь мой багажъ. Какъ же ихъ не шпынять. На той недѣлѣ иду работать въ „Голосъ“, и вдругъ — новоиспеченный магистръ самъ о себѣ отчетъ строчитъ съ такими восклицательными знаками, точно дѣло идетъ о Боклѣ или Дарвинѣ, а не о кошкинѣ сынѣ Свирѣстѣловѣ. Ну, я, признаться, устроилъ ему бенефисъ. Ночью была моя очередь читать газету. Я подъ его отчетомъ и подписалъ его фамилію. Какъ будто по недоразумѣнію! И вышло, что Свирѣстѣловъ восторженно хвалитъ Свирѣстѣлова. Прилетѣлъ онъ потомъ въ редакцію — волоса дыбомъ, на лицѣ ужасъ, взглядъ утопленника... А Василій Алексѣевичъ Бильбасовъ ему: „Подѣломъ вору и мука. Я самъ профессоръ, а о такихъ ученыхъ въ мое время и не слыхивалъ. Впе-

редъ будете осторожнѣе“. Меня за руку поймалъ Свирѣстѣловъ. Не зналъ, что мнѣ обязанъ этимъ сюрпризомъ. „Знаете, что, — говоритъ, — сдѣлала со мной газета? Вѣдь готовилось мое назначеніе въ государственную канцелярію. А теперь, какъ я носъ покажу барону? Какъ мнѣ смотрѣть на него?“ — „Ничего, — утѣшаю, — дай Богъ здоровья глазамъ — отмигаются“. Началъ меня просить, замѣтку сдѣлать о томъ, что все по ошибкѣ вышло. Я съ удовольствіемъ исполнилъ. На другой же день: „По просьбѣ г. Свирѣстѣлова, спѣшимъ заявить, что фамилія его подъ его отчетомъ о его диспутѣ попала по недосмотру“. Что жъ бы вы думали, — вѣдь не помогло. Вчера его встрѣтилъ, — катитъ по начальству во всемъ парадѣ. Треуголка на немъ съ плюмажемъ и изъ-подъ гороховаго пальто шитый золотомъ воротникъ. И на лицѣ — точно его медомъ обмазали. Такая сладость. Жаль, мухъ не было, — весь бы ему портретъ съ удовольствіемъ засидѣли! Будущему-то тайному!

XXI.

Шелъ какъ-то Ванька-Встанька и вдругъ видитъ: рѣкой къ Дворцовому мосту валитъ молодежь. Было это лѣтъ тридцать назадъ, петербургская улица полицейскихъ монументовъ въ видѣ конныхъ запорожцевъ съ нагайками за голенищемъ еще не видала. Дворниковъ никто не привлекалъ къ священнымъ обязанностямъ кулаками и дреколіемъ возстановлять нарушенный порядокъ. Городовые составляли полицейскую инфантерію, а въ качествѣ кавалеріи развертывались на страхъ врагамъ жандармы, и въ этотъ разъ они же

устроили демонстрантамъ тактическій мѣшокъ, для надлежащаго препровожденія затѣмъ въ конногвардейскій манежъ. Ванька-Встанька, знавшій, какъ имъ интересуется любознательная власть, хотѣлъ было остаться въ сторонѣ, не безъ любопытства наблюдая за хвостами и крупами лошадей.

„Такъ бы Іосифомъ Аримаѳейскимъ и пребылъ, да не могу я дѣвичьяго визгу слышать. Смотрю на конскія спины... Точно матерыя купчихи — направо и налѣво вальяжничаютъ — и хвосты весело шуршатъ, что твои шлейфы. Только вдругъ — такъ въ ушахъ и сѣло — благой матъ!.. Подался я впередъ, а какая-то, совсѣмъ дѣвчонка, споткнулась подъ лошадь. Жандармъ на нее, да и норовитъ копытами. Ну, надо правду сказать, свѣту я не взвидѣлъ, самъ за стремя схватился да назадъ и оттянулъ. А дѣвица въ это время изъ-подъ копытъ выползла. Шляпа у нея наотмашь, ссадина черезъ всю щеку; за поводъ уцѣпилась и повисла. Картина! Я бы все-таки ушелъ, потому гдѣ имъ словить меня, да судьба мнѣ такое берегла, какъ во французскихъ романахъ. Наскакалъ на меня офицеръ — сабля вонъ. Глаза на выкатѣ. На лицѣ: всѣхъ разнесу.

Смотрю я на него и руки опустилъ.

— Кисляй, ты?

Это нашъ-то, старый кадетъ. Стоило его, подлеца, тогда отъ Шаблона выручать!..

— Кисляй. Сволочь!.. Не стыдно тебѣ?..

А онъ, глазомъ не моргнувъ:

— Господинъ Встанька! Очень радъ. Мы васъ давно ищемъ... Вы какъ разъ кстати. Эй, Пузыренко!

Бравый, — усами этакъ на всю подвселенную ощетинился, — вахмистръ...

— Взять!..

Тотъ сейчасъ меня за шиворотъ.

Кисляй, ты въ умѣ? Да я тебѣ, подлецу, по-кадетски портретъ набью.

— Даже очень въ умѣ... Въ особое удовольствіе... Васъ, мерзавцевъ, да не...

И не окончилъ.

Знаешь мою манеру? Вывернулся и плечомъ! Онъ у меня шпорами вверхъ. Только стремена заболтались.

Поблѣднѣлъ. Вынулъ платокъ, вытерся.

— Пузыренко, руки ему назадъ. Вотъ такъ. Къ Цѣпному. Спросишь генерала Шиллера. Тамъ знаютъ...

Отдалъ своего коня Пузыренко, ссадилъ еще жандарма, и повели меня. Должно-быть, и любятъ его въ эскадронѣ. Тотъ же самый Пузыренко идетъ, идетъ и хмыкаетъ. „Ловко это, вы, баринъ, плечомъ... И не обидно, потому не ударъ, а тѣлодвиженіе... По-нашему, дѣлу этакому выучиться всякому лестно. Чего лучше... Только и васъ теперь не похвалятъ. Поручикъ Кисляевъ у насъ такъ не спустятъ. У него всякая вина виновата. Дошлый офицеръ“.

А черезъ часъ я уже изъ-за рѣшетки на небо смотрѣлъ, какъ вороны летаютъ. Любовался на синее съ бѣлыми облачками и мурлыкалъ: „Отворите мнѣ темницу!..“ А вечеромъ, мимолетомъ, сѣла у моего окна птица, вся такъ и загорѣлась. Должно-быть, западъ въ золотѣ заката былъ. Такъ сердце у меня и защемило. Потянуло въ поле, на рѣку, въ туманъ ночной...

Могъ ты ожидать этого отъ Кисляя! Того Кисляя, за котораго я недѣлю солдатскую шинель безъ пуговицъ и погонъ носилъ и готовъ былъ пріять кончину праведную?..

XXII.

Шиллеровы дѣвчонки не забывали Встаньку.

Нѣтъ-нѣтъ да и пошлютъ ему книгу или конфетъ.

— А я и не зналъ, отъ кого! — разсказывалъ онъ потомъ. — Думалъ, отъ васъ, — только потомъ сообразилъ: не къ лицу вамъ эти нѣжности. Встаньку, и вдругъ шоколадомъ кормить. Вы бы мнѣ скорѣе окорокъ или колбасы съ чеснокомъ... А то вдругъ — голубыя ленточки и подъ ними въ коробкѣ съ розаномъ сладкое! А разъ — даже букетъ. Долго держался, — я его водой все время опрыскивалъ. Нюхаю, — а самъ зажмурюсь и думаю, что по хорошему саду гуляю, и надо мною вверху деревья шумятъ, а внизу цвѣты разные... Откроешь глаза, — рѣшетка и сквозь — голубое небо... Тоже и это радость.

— Ну, а Шиллера ты не видѣлъ?

— Разъ онъ по нашему коридору ходилъ.

— Ну?

— Ко мнѣ не зашелъ... Должно-быть, за тотъ разъ злился. Да и лучше. Что между нами общаго? Въ корпусѣ онъ одинъ былъ, а теперь другимъ сталъ. Тутъ, братъ, надо такъ, какъ женѣ Лотовой. Кто назадъ обернулся, — въ соляной столбъ его. Потому въ такія дороги со старымъ багажомъ ходить нельзя... Ожесточиться слѣдуетъ, а не распускать себя. Съ этою нашей размазней далеко не уѣдешь. Живо она тебя нюнькой сдѣлаетъ. И я себя, признаться, ловилъ... Ужъ очень меня Шиллеровы дѣвчонки ушибли. Бѣгаю изъ угла въ уголъ; смотрю за рѣшетки, и точно онѣ тутъ вотъ. Сплю, во снѣ ихъ вижу. Особенно старшую. Эту которая. „Что дѣлать?“ Чернышевскаго подъ подушками

держитъ. И сердце бьется — совсѣмъ глупо. Еще немного, — пожалуй, стихи писать началъ бы. Или собакой на луну выть. Да во-время себя въ руки взялъ. Сейчасъ себѣ поворотъ отъ воротъ устроилъ. Узналъ, что конфеты и цвѣты отъ шиллеровскихъ дѣвчюнокъ, и, долго не думая, — какъ принесли мнѣ, я конфеты сторожу нашему Никандру, — у него дѣтишки есть, а цвѣты — въ окно за картузъ. Начни себя баловать! Подумаешь, какія фигли-мигли развелъ со всей этой мякотью. Два раза продѣлалъ — и какъ рукой сняло... А то совсѣмъ бы сюжетъ для поэмы: „Шильонскій узникъ и дѣва замка"... Это, братъ, только въ книжкахъ хорошо, а по нашему дѣлу не годится. У насъ сердцу надо обрасти мозолями. А то оно на всякій сентиментъ начнетъ отзываться. А съ глупою мечтательностью и совсѣмъ на нѣтъ сойдешь. Къ настоящему дѣлу не гожъ будешь... Такъ, братъ, я себя и передѣлалъ. Дай мнѣ Богъ здоровья! Самъ себя хвалю.

XXIII.

Въ далекомъ сѣверномъ городкѣ бѣсилась вьюга. Выла, точно по комъ-то зарытомъ въ насквозь промерзшую землю. Уносилась въ бѣлую, мутную безбрежность, громыхала тамъ, сзывая злыя дружины снѣговыхъ призраковъ, и гнала ихъ опять на жалкій, захолустный уголъ. Стучалась въ приземистыя стѣны, въ крохотныя окна, вилась тысячами фантомовъ вокругъ черныхъ трубъ и прогнившихъ срубовъ, пытая, нельзя ли скинуть убогія, приплюснутыя кровли. Съ разбѣга накидывалась на пустынную церковь, точно про-

буя, прочно ли она вросла въ старое кладбище, и со злости, сбросивъ нѣсколько дряблыхъ крестовъ, разметывалась опять громадными саванами по дикому простору. Крохотные, припавшіе къ землѣ домики казались сугробами. Если бы надъ ними не курился порою, когда вьюга утихала, сизый дымокъ да посреди не подымалась жалкая колокольня, пожалуй, и не повѣрить, что здѣсь теплятся нѣсколько сотенъ человѣческихъ жизней.

Въ горницѣ у меня было голо, бѣлесо, холодно, непріютно. Точно застыло, замерло и ждало смерти. И лица блѣдныя и слова тихія. Безнадежною тоскою дышало кругомъ. Весь міръ сузился въ какой-то кутокъ, окутанный вьюгой, замотанный, оглушенный ея воемъ, завѣянный густыми пуховинами снѣга. И выхода не чудилось. Жилось жутко и нудно. Одни ныли, другіе на каждый крюкъ смотрѣли съ вожделѣніемъ. Третьи локоть къ локтю держались. Сообща было не такъ трудно. Все товарища чувствуешь, — живое сердце бьется около, не такъ страшно смотрѣть въ безстрастное ледяное лицо полюса.

Дни тянулись одинъ въ другой. Почта разъ въ мѣсяцъ, да и той наждешься. Читаешь, — и книги скучны. Въ мозгу плѣсень. Мечты боишься, — послѣ нея эта дѣйствительность къ проруби тянетъ или къ дулу въ ротъ. Молчишь и самъ за собою слѣдишь: началъ ужъ съ ума сходить или нѣтъ? Мѣстные люди точно изъ того же льда сдѣланы. Не поймутъ васъ, точно вы на чужомъ языкѣ съ ними... За городенокъ выйдешь, — молчитъ безбрежье снѣговое. Думаетъ какую-то свою тяжкую и неясную думу безлюдная пустыня, и тучами надъ нею носятся ея сплошные сны. Еще ночью сполохъ играетъ, и по ледянымъ гладямъ бѣгутъ его загадочные, мѣняющіеся, зловѣщіе

отраженные образы... Кое-кто пилъ горькую — то же самоубійство, только медленное, малодушное, безвольное....

И только Ванька-Встанька не поддавался мѣстному минору.

— Ничего, братцы, — хохоталъ онъ, — дышать еще можно, пока не надоѣло. Становись на дыбы, не бойся. Не очень-то насъ съ ногъ сбили... Только что скучную заминку сдѣлали. Да ничего... Повоюемъ... А надоѣстъ, — сбѣгемъ.

— Куда?

— Ну, это ты тоже — „сбѣгемъ". А дорога гдѣ?..

— Вездѣ, гдѣ есть земля и небо.

— Да путей на этой землѣ не проложено.

— Наплевать! Вамъ бы еще инженеровъ, чтобы они шоссе провели! Я объ этомъ думать начну, какъ за тотъ лѣсъ вонъ зайду... Видите?

Въ окно мерещилась засыпанная снѣгомъ и вся имъ курившаяся приземистая еловая чаща.

— Съ голоду умрешь!

— Ну, нѣтъ, не такъ-то меня легко ушибить... Богъ не выдастъ, — свинья не съѣстъ.

И когда всѣ кругомъ опускали головы, — онъ одинъ смѣялся и увѣрялъ:

— Никогда я еще не былъ такъ убѣжденъ, что будущее мое, какъ теперь. И какое! Не бойся,— на маломъ не помирюсь. Мнѣ подавай съ верхомъ... А не дашь,— самъ урву.

— Какое тутъ будущее? Ты оглянись.

— Яркое, чудное... Невольно жмуришься, такъ оно глаза слѣпитъ! Нѣтъ, не знаю, какъ вы, а меня дешево не купишь. Такихъ еще капиталовъ на свѣтѣ нѣтъ. Вотъ на столько, — показывалъ онъ кончикъ мизинца,— не уступлю... И ничего нельзя со мной

подѣлать... Зубы объ меня обломаешь... Терплю, пока не надоѣло! Экъ, подумаешь, загнали къ полюсу самому! Напугали, нечего сказать. Вонъ бѣлые медвѣди, моржи живутъ себѣ, не нахвалятся. А что жъ я бѣлаго медвѣдя или моржа глупѣй, что ли? У меня пріятели завелись зыряне, — ты ихъ послушай. Они, братъ, всю эту пустыню вотъ какъ исходили...

А тамъ, я помню, пришла поздняя весна. Воды разлились кругомъ, медвѣди изъ берлогъ вылѣзли злые-презлые. Птичьи стаи въ поднебесьѣ съ утра, бывало, точно громкія струны звенятъ. Дали такъ посинѣли, точно оттуда именно тучи рождались. Улицы стали грязными, и дома изъ-подъ бѣлыхъ сугробовъ выползли ржавые, мокрые, гнилые... Зажурчало вездѣ, заговорило. По ночамъ ухало. Подо льдомъ роптало, грызло, смѣялось...

Проснулся какъ то Ванька-Встанька... Посмотрѣлъ въ окно. А тамъ солнце краешкомъ. Точно небо горитъ краснымъ полымемъ. Одѣлся.

— Ну, прощай, братъ!

— Что ты?

— Надоѣло!.. Помнишь, что я тебѣ говорилъ: какъ надоѣстъ, — уйду.

— Волки съѣдятъ!

— Подавятся! Я самъ съ голоду волка съѣмъ, да еще съ какимъ удовольствіемъ. Чѣмъ онъ хуже зайца, отчего ему, волку, такой преферансъ? Если вѣрить батюшкамъ, — Господь и волка намъ на потребу создалъ.

И хохочетъ, точно онъ на балъ собрался. А чтобы дойти до ближайшаго жилого мѣста, надо было верстъ семьсотъ отмахать по пустырямъ, мокринамъ, болотамъ, безлюдьямъ, бездорожьямъ.

Только мы его и видѣли..

XXIV.

Намъ долго-долго не спалось потомъ. Сидишь, бывало, у окна и, глядя въ безконечную, тоскующую, бѣлую ночь, думаешь: какъ-то онъ теперь одолѣваетъ страшный просторъ несосвѣтимаго сѣвернаго поморья. Воображеніе такъ и рисуетъ приземистые, захудалые боры, гдѣ теперь на сохранившіяся въ нихъ болотины видимо невидимо налетѣло всякой лѣсной птицы. За болотинами палевыя моховыя отложины молодятся подъ солнцемъ матовымъ, блѣднымъ золотомъ. Оленю тамъ настоящій водъ. Да вѣдь Ванька Встанька не олень, онъ этимъ кормомъ не проживетъ. Въ сквозной чащѣ далеко видно, — медвѣдь его учуетъ откуда, примѣтитъ. Съ этимъ мохнатымъ богатыремъ не схватишься. Тутъ и Ванькиной силы не хватитъ. Да и ослабѣетъ Иванъ Ѳедоровичъ на проголоди, если его не засосутъ ранѣе предательскіе весенніе омуты, которые только и отличишь издали потому, что надъ ними сѣдой тучкой комаръ роится. И сердце щемило. Казалось, издали долетаютъ жалобные крики, — борется теперь, поди, съ этою втягивающей въ вѣчную мокрину и тьму непобѣдимою воронкой-могилой. Невольно хотѣлось: вернулся бы онъ назадъ, вѣдь такія странствія хороши у Жюля Верна и Майнъ-Рида, а на дѣлѣ и Микула Селяниновичъ изъ первой трясины не выбьется, вся его сказочная мощь, что соломинка, крухнетъ. Правда, по рѣдколѣсью, на плѣшинахъ, охотничьи тупы стоятъ, да гдѣ этихъ тупъ искать? Вѣдь на что зыряне опытные ловцы, и они зачастую гибнутъ на промыслѣ. Невольно греза рисовала нашего Ваньку-Встаньку умирающимъ на какомъ-нибудь пустырѣ —

среди шума оттаявшихъ водъ, гомона веселой птицы и шороха сбросившихъ зимніе снѣга вѣтвей.

Я помню, ночью какъ-то не спалось намъ. Вышли мы за кладбище, и одинъ, не совладавъ съ взбудораженными нервами, на весь этотъ безмолвный просторъ кинулъ: „Иванъ Ѳедоровичъ, вернись!“ и самъ отъ своего голоса упалъ и зарыдалъ надъ другомъ, отъ котораго, какъ намъ казалось, только и осталось, что вѣчная память въ нашихъ сердцахъ.

— Иванъ Ѳедоровичъ, вернись!

Этотъ вопль часто чудился мнѣ въ бездорожьяхъ, окружавшихъ печальную ссылку.

— Пропалъ Встанька! — дѣлились мы предчувствіями чего-то неизбѣжнаго и злого.

— Сегодня мнѣ снилось: хруститъ онъ въ волчьихъ зубахъ.

— А я его по плечи въ воронкѣ видѣлъ, — уходитъ въ нее, борется и кричитъ...

А тамъ весенніе дожди начались, перемежаясь поздними снѣговыми бурями. Сѣверъ не сразу уступалъ свою вѣковѣчную вотчину веселому и благодатному золотому богу Ярилѣ, что шелъ къ намъ съ теплаго юга...

Въ этой-то вьюгѣ, навѣрное, погибъ Встанька. Не даромъ голодные псы выли у сосѣдей и на кладбищѣ утромъ мы подняли мерзлую птицу.

XXV.

Черезъ двѣ недѣли пріѣхалъ къ намъ знакомый зырянинъ-охотникъ.

— Что это съ тобою? — спрашиваютъ его.

— Морду раздуло?

— Да! Не узнать красавца.

— А комаръ, — чортъ бы его слопалъ, — заживо ѣстъ. Я по пути вашего встрѣлъ.

— Кого, Ивана Ѳедоровича?

— Онъ самый. Идетъ — на всю лѣсовину гогочетъ, что твой лѣшій... Думаю я, звѣрь какой претъ на меня, анъ это онъ, пріятель, пѣсни играетъ съ пустого-то брюха!

— Съ чего ты это? — спрашиваю.

— А жрать нечего... Я, — говоритъ, — пузо себѣ этимъ самымъ баюкаю, чтобы не плакало. Сума у него за плечами пустая. А зубы бѣлые, крѣпкіе... Волку горло перегрызетъ, да на безкормьѣ и волка нѣтъ. Ну, я его угостилъ. Первымъ дѣломъ на хлѣбъ накинулся. Ѣлъ-ѣлъ. Страховито даже. Я говорю: „Гляди, не лопни!“ — „Небось, — отвѣчаетъ, — на меня надежные обручи набиты“. Смѣется. Кланяться приказалъ. Мы съ нимъ проспали на сухомъ мѣстѣ. Вы бы на него посмотрѣли, какъ ему ликъ-то отъ комара расперло, — не узнать. Такъ, что и глаза — точно ихъ не было... Кровью сочится все... А только онъ выберется, не пропадетъ. Много у него вѣры въ себя. И потомъ — ничего онъ не боится. Я ему и на дорогу ѣды оставилъ. Только вѣдь не надолго. Еще ему верстъ пятьсотъ отломать осталось... И это бы ничего, да поперекъ разливы. Какая и пустая рѣчушка, а теперь она пучиной кипитъ и пыжится. Оретъ, клятущая!.. А которыя побольше, тѣ плесами разлились. Спрашиваю: „Какъ ты ихъ одолѣешь?“

— Что-нибудь придумаю, не даромъ у меня на плечахъ голова выросла. Дерева по берегу вездѣ есть. Бурелома сколько угодно. Сяду верхомъ да и переплыву. А нѣтъ — обойду.

— А дальше-то голый камень, луда самая, а на лудѣ вѣдь ни птица ни звѣрь не живутъ. Нѣтъ, кабы другой, — пропалъ бы, ну, а Иванъ Ѳедоровичъ выдыбится. Настоящій охачъ! И изъ нашихъ ловцовъ такихъ охачей нѣтъ. Кабы онъ у насъ остался, я бы за него вольёмъ свою дочку — она вѣдь по всему Пустозерску первая невѣста — отдалъ. Владай, — твое счастье! Потому, надежный онъ, что гора каменная. Писать вамъ будетъ...

И дѣйствительно, къ осени изъ Архангельска пришли вѣсти.

„Работаю-де въ Соломбалѣ — морскіе корабли гружу. Паспорта не спрашиваютъ, потому что ярмарка въ разгарѣ, и полицейскихъ на это не хватило бы, слишкомъ много народу навалилось. На однѣхъ шнякахъ тысячи поморовъ. Жру треску доотвала, а то шапежками съ палтусомъ лакомлюсь. Такъ съ вольной пищи отлакировался, точно я по мезенскимъ бездорожьямъ и не голодалъ совсѣмъ. Прямо — барабанъ. За устьями Двины — желанное море раскинулось. А вѣдь сами знаете, что такое море, — открытая дорога и къ жизни и къ смерти. Куда ни взглянулъ, туда и поплылъ. И мерещится мнѣ, братцы, за его просторомъ великая свобода и со свободою настоящее большое счастье. Дышитъ оно мнѣ, это море, въ лицо холодкомъ и бодростью. Что-то родное въ этой ласкѣ, точно свой своего привѣчаетъ.

XXVI.

„Въ побѣгѣ умиралъ я на каменной лудѣ.

„Только и мѣста сухого было кругомъ. По сто-

ронамъ вода булькала. Вверху еловыя стрѣлки качались, и вездѣ птица орала... Закрылъ я глаза, думаю: ужли издохну?.. Я, Ванька-Встанька! Одолѣла-таки меня мати-холодная пустыня... И вдругъ — шорохъ надо мною, и на лицо перья падаютъ. Смотрю — два крылатые шельмеца разодрались, да такъ, что одинъ-то съ проклеванной головой прямо шлепъ около на луду. Взметнулъ было крыльями, да врешь. Ладонью я его накрылъ, — не уйдешь! И что же вы бы думали, дорогіе братья и товарищи, вѣдь я его сырьемъ схамкалъ. Перья-то ощипалъ, и костей не оставилъ, — сгрызъ. Потомъ къ вечеру на одинокомъ деревѣ бѣлку нашелъ. Она отъ меня вверхъ, а я за нею... Она по сукамъ, — и я... Благословилъ корпусъ, научившій меня лазить по водосточнымъ трубамъ. Вотъ-вотъ сукъ обломится, и я, какъ та утренняя птица, сморгну внизъ... Будь сушь — и обломился бы. Мокрый выдержалъ. Поймалъ-таки я бѣлку. Искусала она мнѣ пальцы. Свернулъ ей голову и въ суму. А утромъ набрелъ на тупу. Въ тупѣ — сухія дрова и сѣрнички. Зубами шкуру снялъ и сжарилъ. И какіе дураки говорятъ, что бѣлки не вкусны! Пусть по трясинамъ этимъ пошатаются да поголодаютъ, — водосточной крысѣ, дождевому червю обрадуются. Еще какъ! А черезъ два дня вышелъ на просторъ, — смотрю: охотникъ навстрѣчу. Вотъ, братъ, счастье! Поговорить можно, а я ужъ думалъ, чего добраго, человѣческую рѣчь забуду. Недѣлю мы съ нимъ ходили, что звѣря настрѣляли!.. Онъ шкурки снимаетъ, а я мясо жарю. Мельмотъ Скиталецъ, да и только! Помнишь, мы въ корпусѣ зачитывались. Или „Лѣсной бродяга“.

XXVII.

Были минуты, когда Ивану Ѳедоровичу казалось, что онъ не выберется отсюда. Въ пустынной глуши даже слышаться ему начало. Точно кто-то кличетъ. И нервы до того дошли, что вслѣдъ за обманутымъ ухомъ и мозгъ начиналъ работать: чей это голосъ? Что-то знакомое, близкое, до боли родное и въ то же время забытое.Изъ какой далекой могилы позвали его? Особенно жутко было, когда это случалось ночью. Спитъ гдѣ-нибудь въ моховинѣ, и вдругъ будто кто-то толкнетъ его въ бокъ. Приподымется, весь такъ и устремится слухомъ и зрѣніемъ въ бѣлесу, мутную даль полярной ночи безъ тьмы и свѣта... А тамъ мерещится мутный призракъ: то приподымается, то упадаетъ вновь, и въ воздухѣ только тихое-тихое: „Ваня, Ваня! „Потомъ, несмотря на усталь, до утра не заснешь. Бродишь вокругъ своей моховины. Лечь страшно: къ горлу подступаетъ, и медленная холодная рука касается тебя костлявыми, длинными пальцами. Разъ такъ проснулся онъ, и точно крылья только что надъ нимъ были. Онъ чувствовалъ холодокъ ихъ вѣянія на лицѣ и слѣдъ ихъ движенія около. И опять голосъ вдали, именно по тому направленію, гдѣ надъ мокриной гуще стоялъ молочный туманъ. Пошелъ туда Встанька. И „самъ не знаю, — зачѣмъ“, разсказывалъ онъ потомъ. Нога уходитъ въ болотину, выжимая воду, и та съ противнымъ предательскимъ шорохомъ расползается дальше. Ржавая изъ-подъ ноги фонтаномъ вверхъ брызнетъ... И никакой жизни! Птица еще спитъ... Свистнетъ какая съ испугу, и опять тишина... Видно далеко... Чахлыя, гнилыя деревья,

точно больная. Гдѣ они почаще, тамъ между ихъ стволами мерещится что-то.

Шелъ-шелъ Встанька и вдругъ шарахнулся въ сторону.

Отродясь не пугался, а тутъ сразу трусомъ себя почувствовалъ.

— Понимаешь, чье-то лицо снизу на меня смотритъ и зубы мнѣ скалитъ, ну, вотъ, точно смѣется надо мною. Видно только оно, тѣла нѣтъ. Ни шеи, ни груди, ни рукъ.

Потянуло вѣтеркомъ на меня — задохнуться! Сразу сообразилъ я: мертвый. И никакого страха, — какъ рукой сняло. Подошелъ я съ другой стороны и смотрю: самоѣдъ лежитъ. Всего засосало трясиной, только опрокинутое глазами вверхъ лицо наружу. Разгребъ я немного тину эту стоялую, грудь намѣтилась. Должно-быть, сначала засосала его подлая предательская воронка, а потомъ водою опять снизу выперло. „Посмотрю я еще на Божій свѣтъ, каковъ онъ?“

Тутъ и мнѣ тяжко стало.

Точно я себя увидѣлъ.

— Такъ же, — думаю, — буду лежать, только на меня, пожалуй, ужъ некому будетъ наткнуться. И съ чего-то показалось мнѣ, что я направленіе потерялъ и иду не туда, куда слѣдуетъ. Къ счастью, скоро полярныя березы пошли ползучія. А онѣ вѣдь съ сѣвера на югъ клонятся и къ землѣ припадаютъ. Тутъ-то я и понялъ, гдѣ Архангельскъ. Обрадовался, — все время вѣрно шелъ.

— Съ тѣхъ поръ и голосовъ не слышалъ.

XXVIII.

Пришелъ въ Архангельскій портъ громадный сѣверо-американскій пароходъ. За лѣсомъ къ Десъ-Фонтейнесу. Была такая фирма въ тѣ времена. Великанами печерскихъ дебрей съ зарубежьемъ торговала. Цѣлые штабели вѣковѣчныхъ богатырей этихъ отправляла за моря и океаны.

Понадобились шкиперу рабочіе.

Нѣсколько артелей нанялось и закипѣла настоящая трудовая суета.

Присматривался-присматривался къ нимъ коренастый, надиво сбитый и всѣми вѣтрами обдутый янки и остановился на одномъ, румяномъ, короткомъ широкоплечемъ. Ужъ очень его хохотъ и сила понравились... Поднесъ хохотуну рому. Цопнулъ тотъ съ бацу и поблагодарилъ по-англійски.

— А вы понимаете по-нашему?

— Говорю даже!

— Вотъ тебѣ и на... Отчего же вы — простой рабочій?

— Вы Кенсби читали?

— Читалъ.

— Значитъ, вамъ и объяснять не надо.

— All right. Такъ вы изъ т ѣ х ъ?

Зазвалъ его къ себѣ шкиперъ, побесѣдовали они по душѣ.

— Взяли бы вы меня съ собою? — предложилъ ему Ванька - Встанька.

— Такъ.

— Я бы вамъ до самаго Нью-Йорка даромъ работалъ.

— Да вы, поди, и на мачту не сможете?

— Пока не лазилъ, а понадобится, — попробую. Не Богъ вѣсть какая наука.

Да какъ вскинется и шарикомъ по снастямъ до самаго флага.

— Хорошо? — спрашиваетъ сверху.

— Чего лучше! — одобряетъ шкиперъ.

Спустился

— А насчетъ силы, — такъ вотъ вамъ.

Лежалъ около свертокъ проволочнаго каната.

Подхватилъ его Иванъ Ѳедоровичъ и шутя отнесъ въ сторону.

— Ну?

— Это еще лучше.

— Такъ берете?

— Пожалуй... Будемъ уходить, спрячьтесь въ трюмѣ. А я ничего не знаю. Какъ въ открытое море выплывемъ, — выходите наверхъ. Мнѣ вѣдь изъ-за васъ назадъ въ Архангельскъ не возвращаться. А только я вамъ одно скажу: намъ въ Америкѣ такіе, какъ вы, нужны. Поэтому что васъ ничѣмъ не удивишь и никакими неожиданностями съ ногъ не собьешь... А пока прощайте, ступайте работать.

Нагрузили пароходъ лѣсомъ, — куда ниже ватеръ-линіи въ воду ушелъ, — справилъ бумаги шкиперъ, развелъ пары, двинулся въ „голомя"...

Сѣрое устье Двины съ мутнымъ и бѣлесымъ Бѣло-морьемъ слилось, лоцмана спустили на лодкѣ и, точно вздохнувъ полною грудью, ринулся закопченный желѣзный американецъ въ безграничную холодную даль...

Позади низкіе берега пропали, флаги свободно заговорили со встрѣчными вѣтрами, — и вдругъ изъ

трюма смѣющійся, бодрый, на всякое дѣло гожій, выползъ Ванька-Встанька... И точно такъ и слѣдуетъ, — выискалъ себѣ мѣсто на бакѣ; спросилъ, гдѣ будетъ его койка, накинулся на солонину, будто онъ тутъ и выросъ на палубѣ... Черезъ нѣсколько дней шкиперъ его позвалъ къ себѣ.

— Вотъ что... Я твоимъ трудомъ даромъ пользоваться не стану, потому что ты лучше моихъ опытныхъ матросовъ работаешь. Пока я денегъ тебѣ не дамъ, а высадишься въ Нью-Йоркѣ, тогда мы съ тобой потолкуемъ... Можешь на меня разсчитывать... Ты — настоящій американецъ, и теперь я тебѣ другъ... Такимъ и помочь пріятно!

XXIX.

Первое время Встанька работалъ во-всю.

— Пока не привыкъ. А то обидно. Товарищи часто насмѣхъ подымали. Поправить-поправитъ, но непремѣнно покровительственно по плечу — хлопъ! Эхъ, ты, братъ, русская разиня! А я этого „по плечу“ терпѣть не люблю. Чтобъ его не было, одно средство — выучиться лучше ихъ, и какъ мы Нордъ обогнули, ужъ никому въ голову не приходило хвататься за меня руками. Самъ шкиперъ корилъ команду:

— Вы посмотрите, какъ чисто „новичекъ“ работаетъ!

Негръ одинъ было вздумалъ шпынять меня. Силой своей славился. Ну, я вечеромъ на бакѣ поучилъ его, — ничего, обошелся. А потомъ мы съ нимъ даже подружились. Славный малый и больше всего страдалъ отъ презрѣнія и брезгливости „бѣлыхъ“ товари-

щей. Ужъ очень они цвѣтныхъ не любятъ. На высотѣ Бергена шквалъ налетѣлъ на насъ, — встряхнуло. Блаженныя памяти командиръ неаранжированной роты капитанъ Гренквистъ никогда такъ не трепалъ меня за уши, Потомъ мы цѣлый день спали...

Вообще дѣла мои идутъ отлично, и, бывало, какъ вспоминаю я вашу Мезень, такъ и задышу часто-часто вольнымъ воздухомъ океана. Сколько времени будете сидѣть вы тамъ, тараканы запечные, и клохтать? Вылетайте, вольныя птицы, на просторъ, — красоты въ немъ конца нѣтъ, и свобода, свобода, свобода! Только она вѣдь не даромъ дается. Ее надо съ бою взять. А главное — одно помните: „Смѣлому счастье служитъ, а подъ лежачіе камни и вода не течетъ"...

XXX.

На отдыхѣ стоитъ, бывало, на носу парохода Иванъ Ѳедоровичъ и зорко смотритъ въ таинственную даль. И чудится ему, что отовсюду невидимыми руками обнимаетъ его великая и безграничная, какъ весь этотъ громадный міръ, свобода. Около плещутся надъ нимъ флаги, что-то радостное шепчетъ полотнище съ бѣлыми на синемъ звѣздами позади. Направо и налѣво, разбитыя въ пѣну, откидываются встрѣчныя волны, и, точно лаская, брызжутъ въ загорѣлое, огрубѣвшее лицо холодными и освѣжающими каплями соленой воды. Киты по пути бросаютъ тонкіе фонтаны, акулы жадно обгоняютъ пароходъ, дельфины кувыркаются около, перевертываясь подъ килемъ и показывая то черныя спины, то бѣлые животы. А онъ

глазъ не отводитъ отъ чуднаго призрака, что манитъ его изъ дали и зоветъ: скорѣе, скорѣе — ко мнѣ. Крутыя скалы и голубые фіорды Норвегіи остались позади, туманными очерками стройные и нѣжные въ потеплѣвшемъ морѣ подымались другіе берега. Въ водѣ плавали радужныя медузы кипѣвшаго миріадами жизней гольфстрема, и Ванька-Встанька весело говорилъ кому-то: „Здравствуй! Теперь-то будущее ужъ навѣрно мое. И никто его у меня не отниметъ. Зубами уцѣплюсь!“ А тамъ опять работа до поту и здоровый, крѣпкій сонъ до зари. И грезится ему, усталому и бодрому, настоящая жизнь по правдѣ и счастье такое, что вспомнишь его, такъ, кажется, дышать нечѣмъ, воздуху не хватитъ даже въ океанѣ.

XXXI.

Сѣрыя, мутныя небеса давно назадъ отошли. Теперь все въ лазури передъ нимъ. Отъ мрачнаго, рабьяго сна осталась одна явь лучезарная. Далямъ конца нѣтъ, и по всему простору вѣтеръ вольный чудныя пѣсни поетъ, играя то волнистыми флагами, то серебряными крыльями чаекъ. И самъ себѣ Ванька-Встанька кажется такою же чайкой. Раскинулъ крылья, и необъятная земля въ неописуемой красѣ подъ нимъ. Куда онъ хочетъ, туда и опустится. Нѣтъ для него заповѣдныхъ уголковъ, — именно потому, что онъ умѣетъ хотѣть и смѣть. Самъ знаетъ, никакою работой его не испугаешь. На всякую руки зудятъ. А не боишься людей и труда, — все передъ тобою настежъ, и вездѣ ты гость желанный. Только испытай себя на настоящей страдѣ и выйди изъ нея побѣ-

дителемъ... Одного вѣдь судьба отъ тебя и требуетъ! Безжалостна она къ трусливымъ сердцамъ, нюнькамъ и плаксамъ. Ихъ она, какъ соръ, выметаетъ прочь. Не съ ними она жизнь дѣлаетъ и впередъ толкаетъ человѣчество. Зато такіе, какъ Ванька-Встанька, съ нею идутъ плечо въ плечо, и если гибнутъ порой, такъ самая гибель ихъ все же краше и лучше долгаго и позорнаго существованія съ вѣчными оглядками да примѣрками на чужую волю, языческаго, подлаго трепета передъ обмазанными кровью идолищами, разъ навсегда выпучившими стеклянные глаза на колѣнопреклоненную мразь... Да и судьба тоже жестоко мститъ за такихъ героевъ. Изъ ихъ труповъ рождаются тысячи новыхъ бойцовъ, надъ ихъ могилами вѣютъ славныя знамена, и тамъ, гдѣ еще вчера молчали ихъ кладбища, сегодня въ неоглядную даль разстилаются поля побѣдныхъ битвъ...

Здравствуй, вольный вѣтеръ океана! Здравствуйте, быстролетныя чайки!.. Моя душа сродни вашимъ крыльямъ, она тоже неудержимо несется впередъ и впередъ надъ неугомонными волнами океана. И ей улыбаются впереди счастливые берега любви, свободы и правды.

III.

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА ВЪ АМЕРИКѢ.

I.

Ничего, братецъ ты мой, нѣтъ на свѣтѣ страшнаго, ежели у тебя душа не верещитъ. И помирать, сдѣлай одолженіе! Развѣ Рокфеллеръ и Вандербильтъ вѣчны? Вѣдь и ихъ въ свое время, не глядя на милліарды, забьютъ въ деревянные или серебряные, что ли, ящики и замажутъ цементомъ въ асфальтовые склепы. Спи-де, милягa, пора тебѣ на покой, довольно ты воздуха на землѣ испортилъ. Только пока этотъ моментъ придетъ, — стой на дыбахъ и не бойся. Есть здѣсь мавзолей. Выстроилъ его себѣ легкомысленный тузъ. Вотъ-де и по смерти я не буду какъ другіе. Мраморная черная зала, на такомъ же черномъ цоколѣ бѣлый саркофагъ какого-то римскаго императора. Нарочно купили въ Италіи и на особомъ кораблѣ сюда доставили. Честь-то какая, подумаешь! Послѣ прокаженнаго Тиверія или жеребячьей жены Геліогабала на томъ же мѣстѣ гнить. Жаль, однихъ и тѣхъ же червей нельзя было заказать, а то никакихъ бы денегъ не пожалѣлъ. По мраморнымъ стѣнамъ — колонны, у входа — жертвенникъ съ благовоніями — совсѣмъ храмъ банкирскаго бога... Да одного не раз-

считалъ бубновый король — случайности. А она какъ разъ и подвернулась. Уѣхалъ онъ за новымъ милліономъ въ Санъ-Франциско, — старыми-то еще не вовсе подавился! А тамъ пожаръ. Вознесся на высоту воздушную, гдѣ-то подъ самое небо. Гостиницу въ одиннадцать этажей взбодрили, такъ онъ на одиннадцатый.

Видишь ли, съ балкона у него океанъ подъ ногами и самъ онъ себѣ Монбланомъ кажется. Паритъ по синему небу въ гордомъ одиночествѣ. Чортъ ему не братъ. Ну, а внизу баръ, въ барѣ пьяные люди, а у пьяныхъ людей неосторожное обращеніе съ огнемъ. Пока соперникъ римскихъ императоровъ вровень съ орлами морскою далью наслаждался, пьяные люди взяли да и сожгли гостинницу, хотя она во всѣхъ бедекерахъ рекомендована несгораемой. Такъ и остался мавзолей безъ жильца. Вѣдь послѣ пожарища никакъ нельзя разобраться, кто это обуглился: милліардеръ или прислуживавшій ему негръ... Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, на мѣсто римскаго императора да африканскую черную морду положить. Вся бы Америка заволновалась!.. Рокфеллеръ живъ, напримѣръ, и сейчасъ можетъ золотыми монетами весь земной шаръ опоясать. А что толку? Да предложи мнѣ на его мѣсто, — я тебя туда пошлю, куда ты никакъ не пожелаешь. Ѣстъ онъ парового цыпленка и все въ животъ себѣ смотритъ: переваритъ или нѣтъ. А если — благодареніе богамъ — переварилъ, то какъ? И сейчасъ анализъ, а къ анализу ученый приставленъ, и у ученаго рапортичка съ пустою графой, сколько еще минутъ „вѣнцу созданія“ жить осталось! Фу ты, пакость какая! Даже гоголевскій Селифанъ съ хорошимъ человѣкомъ выпить могъ. А милліардеру то и глотка безъ медикамента сдѣлать нельзя. И выходитъ — не

жизнь, а свинство. Нѣтъ, ужъ лучше по-моему; зная, что человѣкъ самымъ своимъ рожденіемъ къ смерти приговоренъ, не взирать. Стой себѣ на углу седьмой и двѣнадцатой avenue со своимъ инструментомъ и чисти сапоги Рокфеллерамъ и Вандербильтамъ.

II.

Изъ всего вышеизложеннаго ты, я думаю, понялъ (Господь тебя остротою ума не обидѣлъ!), что на углу стою именно я и своими собственными дворянскими руками — Встанька-то въ шестую книгу — знай нашихъ! — записанъ! — навожу глянецъ на шевро всѣхъ, кто можетъ заплатить мнѣ за сіе просвѣтительное занятіе десять центовъ, а то и болѣе, — щедроты не возбраняются. Пожалуй, ты усомнишься: стоило ли изъ-за этого оставлять пинежскія болотины и въ Америку бѣжать. Такъ вѣдь это у меня только этапъ, а здѣсь этапы не какъ у насъ, не въ Якутскую губернію ведутъ, а къ свободѣ и независимости. Такъ ты это и бери. Странно тебѣ будетъ, какъ же это я ничего лучше не нашелъ? На сіе отвѣтствую: и не искалъ, а по своему обыкновенію взялъ первое, что въ руки пришло, лишь бы не сидѣть у кого-нибудь на шеѣ и не пѣять проходящихъ: ишь-де какіе на мнѣ узоры написаны, а я-де сочнаго бифштекса лишенъ. Терпѣть не люблю такого занятія. Мой шкиперъ отпустилъ меня съ парохода и наградилъ ста долларами. Цопнули мы съ нимъ уиски, и онъ мнѣ: „И впередъ приходи, помогу. А только, — говоритъ, — знаю я, что ты придешь, когда на ноги станешь. Не изъ того ты тѣста, чтобы ныть да кляньчить“. Вышелъ я здѣсь на улицу

и совсѣмъ какъ хохолъ передъ Иваномъ Великимъ ротъ разинулъ. Не дома, а монументы, не улицы, а безконечности, не шумъ, а свѣтопреставленіе. Конца краю нѣтъ; котелъ ключомъ кипитъ. Звонъ, трескъ, свистки, рычаніе, крики... Короче — гляди въ оба, а то ушибетъ и не поймешь что. Мелькаетъ впереди и по сторонамъ, грозится сверху, бѣжитъ изъ-подъ ногъ. Только зазѣвайся, анъ изъ-подъ тебя земной шаръ выдернули, и полетишь ты вверхъ тормашками въ пустоту... Остановишься и сейчасъ же попятишься. Справа на тебя восемнадцатиэтажная орясина претъ, и вывѣсокъ на ней, на подлой, на всю грамотную Россію хватитъ, читай да оглядывайся, а слѣва — другая, въ двадцать этажей, и тоже вся криками да гвалтами расписана. Точно тысячи рукъ протягиваются къ твоему шивороту: чего торчишь даромъ, покупай, подлецъ! Только что занялся этой беллетристикой, и вдругъ въ носъ и въ спину двѣ машинищи. Одна воетъ, другая лаетъ. Шваркъ, а отъ нихъ ужъ и хвоста нѣтъ, только и видѣли. Думаешь — истинное чудо Господне, какъ живота весьма не лишили. А мимо трамвай за трамваемъ. Остановится, опоросится въ мгновеніе, въ другое опять забеременѣетъ, и ужъ слѣда отъ него не осталось, — а на его мѣсто другой, третій, четвертый, до какихъ-то астрономическихъ цифръ. И вездѣ капиталъ неистовствуетъ. Чувствуетъ свою силу и давитъ тебя ненасытнымъ брюхомъ. На первыхъ порахъ самъ я себѣ въ совсѣмъ глупомъ положеніи показался. Точно меня, какъ нѣчто неодушевленное и подлежащее выжимкѣ, швырнули на громадную наковальню, а сверху чудовищный паровой молотъ грозитъ. Рухнетъ — и только отъ меня брызнетъ во всѣ стороны. А кругомъ тысячи такихъ наковаленъ и молотовъ, и разлетаются отъ нихъ безчисленныя иск-

ры. Ори — не ори, а выкуютъ изъ тебя американскій гвоздь.

III.

Только я, братъ, въ гвозди не пойду и въ молоты не хочу, — жалко мнѣ стѣнъ, въ которыя по чернымъ шляпкамъ вбиваетъ онъ безпощадное острее... Одинъ изъ нашихъ русскихъ здѣсь увѣряетъ меня: „Въ Америкѣ иначе нельзя, — будь или молотъ, или гвоздь, или стѣна; другихъ соціальныхъ полженій нѣтъ“. Но я не признаю этого. Авось, не самъ по-американскому, а Америку по себѣ обломаю. Я чувствую, какъ издали (легко сказать, вся Европа за цѣлый океанъ между нами) ты заочно щупаешь мнѣ пульсъ, въ своемъ ли видѣ Ванька, не впалъ ли въ горделивое помѣшательство. Не бойся, мозги у меня здоровы, и всегда я говорилъ и сейчасъ подтверждаю: каждый — самъ архитекторъ и каменщикъ своей жизни. Какую пасть тебѣ по пути судьба ни раскроетъ, ты, какъ дикообразъ, ставь шипы, да такъ, чтобы она назадъ тебя выплюнула. Не по ея глоткѣ такая добыча. Пускай-де другія пасти чавкаютъ... Такъ вотъ, другъ ты мой, пинежскій страстотерпецъ, вышелъ я со сга долларами въ карманѣ, и какъ привелъ свои нервы въ надлежащее состояніе, такъ вдругъ мнѣ всѣ эти машинищи кругомъ китайскими драконами показались. Издали-то страшно, и огонь изъ челюстей пышетъ на страхъ врагамъ, и зубы — крокодила пополамъ безъ остатка, а какъ подошелъ, — самому смѣшно. „Батюшки, — думаю, — да вѣдь это наши Разуваевы и Колупаевы, только, какъ подъ микроскопомъ, блоха-то

въ слона выросла". И шумъ, какъ разобрался въ немъ, тоже головы не вертитъ. Даже своя гармонія въ немъ — суроваго, мрачнаго, неустаннаго труда на вѣчной службѣ у торжествующаго капитала. И вдругъ мнѣ легко на душѣ сдѣлалось. „Эге, думаю, тучки-то разошлись, синее небо кругомъ". Вся Америка моя, — умѣй только за нее взяться и будь самъ такъ же крѣпокъ, какъ эти желѣзные рычаги, стальныя шестерни и чугунныя маховыя колеса кругомъ... Капля-то мозгу все-таки выше и важнѣе цѣлыхъ горъ наворочениаго здѣсь металла. А мозгу вѣдь нигдѣ такого простора, потому что все-таки какъ дунуло сто лѣтъ назадъ сюда благодатнымъ вихремъ свободы, такъ и до сихъ поръ насиліе не могло въ эту почву впустить своихъ оподляющихъ корней. Пробовали пересаживать это европейское растеніе, только не принимается оно... Подымется ядовитый ростокъ и даже облиствѣетъ, до первой гвоздями подбитой рабочей подошвы... Пройдетъ она, и отъ ростка только что-то гнилое въ слякоти... Только и видѣли! Правда, ѣздятъ отсюда цѣлыми табунами милліонеры черезъ океанъ къ вамъ, въ старый міръ. Но побудетъ среди его дворцовъ, тюремъ и замковъ, и въ ихъ сырой тѣни, случается, заплѣснѣвѣютъ американскіе мозги. Да по океану назадъ такъ ихъ опять продуетъ вольнымъ вѣтромъ, что домой они опять возвращаются чистыми и здоровыми.

IV.

Такъ вотъ видишь: нисколько я Америки не испугался. Да и вообще — помнишь нашъ любимый афоризмъ? Кажется, ты первый пустилъ его въ обраще-

ніе: до тѣхъ поръ человѣкъ слабъ, пока не найдетъ другого, еще болѣе слабаго, который въ немъ нуждается... А я на такихъ съ первыхъ своихъ младенческихъ шаговъ въ Америкѣ наткнулся. Еще, знаешь, мужчина ничего. Коли нашъ братъ Исакій хнычетъ, — никакъ сразу не сообразишь, что съ этою паскудой дѣлать: по башкѣ его шваркнуть или по душѣ пожалѣть? Ну, а какъ баба съ дѣтьми — другой разговоръ выходитъ. Въ самомъ дѣлѣ, — ну, куда ей, ощипанной курицѣ, со стихіями войну вести, когда ее каждая палка обидитъ! Вѣдь есть такія: по видимости какъ будто и человѣкъ. Все у нея на мѣстѣ, — а посмотришь, только к багажу на всю жизнь, что когда-то ее въ педагогической оранжереѣ (не для однихъ огурцовъ, братъ!) французскому языку, на фортепіанахъ обучили, аттестатъ съ растопыреннымъ орломъ выдали — и ходи себѣ по міру, въ кусочки. Авось, кто-нибудь и подастъ... Заложилъ я какъ-то руки въ карманы, иду по безконечности какой-то изъ неисчислимыхъ здѣсь avenue (не помнишь ли точно разстояніе земли отъ солнца? А?) и ору, благо не возбраняется, „дубинушку"... Вдругъ на одномъ мѣстѣ, гдѣ она у меня „сама пошла", вопросъ: „Вы нашъ, русскій?" И вопросъ-то робкій. Въ дрожи голоса слышно: а вдругъ эта самая отечественная дубинушка, не ждано, не гадано, по затылку меня охнетъ да къ чорту пошлетъ. Я — стопъ!.. Смотрю стоитъ передо мною что-то жидкое, безцвѣтное, бороденка рѣденькая и кустами, изъ бѣлесыхъ глазъ сквозь близорукія очки испугъ смотритъ. Губы бѣлыя — мяса-то, видно, съ годъ не жралъ. Платьишко на немъ, что мездра облѣзлая, треплетъ его вѣтеръ и сквозь любопытствуетъ — сколько подъ нимъ цѣлыхъ реберъ осталось. Вижу — интеллигентъ по всему портрету. Лапу! Будемъ знакомы, а для перваго разу давай завтракать.

Съ сытымъ человѣкомъ-то лучше разговаривать — душу онъ изъ тебя не такъ вымотаетъ, да и міръ ему краше кажется. Ну, повелъ я его въ „растерянчикъ“, влилъ ему въ глотку кружку элю, заткнулъ прорѣху въ брюхѣ кускомъ мяса. Теперь, говорю, кайся по душѣ: какое такое твои прародители преступленіе сдѣлали, что ты на свѣтѣ Божьемъ этакой сиротою торчишь?..

— Откуда вы? — спрашиваю.

— Съ этапа.

— Какъ такъ? И я вѣдь тоже... Только изъ ссылки.

— Да вотъ видите. Только я не политическій!.. „Препровождали“ меня, куда я совсѣмъ согласенъ не былъ — я и ушелъ...

Ну, я усомнился. Куда такому жидкому. Вѣдь не господинъ, а просто желе. И даже не желе, а жилей! Уже сытый, а все боится чего-то.

— Я не самъ. Куда уже мнѣ въ герои!

„То-то, думаю. Такъ-то лучше!“

— Меня товарищи пожалѣли: изъ больницы выкрали.

— Это правильно..

— Дали денегъ...

— И объяснять нечего — куда тебѣ самому добыт

— Я прихватилъ жену и дѣтей.

— Господи, у васъ еще и дѣти?

— А то какъ: что жъ подѣлаешь. Изъ-за нихъ попалъ... Природа!

Не угодно ли? Смотрю я опять на него, и никакой природы въ немъ — одно недоразумѣніе.

— Вотъ пятый мѣсяцъ работы ищу.

— Да здѣсь работы и искать нечего, она сама, какъ грудной ребенокъ, въ руки просится.

— Какая? Мнѣ нуженъ интеллигентный трудъ. Помилуйте, я петербургскаго университета кандидатъ правъ.

— Очень тутъ ваши петербургскія права нужны.

— Меня хотѣли при факультетѣ оставить...

— А вы кули таскать пробовали?

— Какіе?

Точно онъ о нихъ первый разъ въ жизни услышалъ.

— Джутовые?

Таращится на меня, моргаетъ. Вижу — дохлятина, никакъ ее такъ бросить нельзя. Хоть и не нашъ.

— Ну, — говорю, — показывайте мнѣ, какія у васъ жена и дѣти.

Пошли мы... На самый край заползли, гдѣ отъ колупаевскихъ дворцовъ и помину нѣтъ. Стоятъ однѣ курьи ножки и между курьими ножками слабосильная команда путается. Вотъ, думалъ отъ отечества уйти, а оно, любезное, и тутъ меня настигло. Некуда-де тебѣ отъ меня. Во всей подвселенной угла не найдешь, гдѣ бы ты, кошкинъ сынъ, спрятался.

Смотрю: сидитъ жена, дѣйствительно... И не жена собственно, а хрусталь. Тронь — однѣ брызги останутся. Есть такія у насъ — въ холѣ да въ богатствѣ имъ стихи въ альбомы пишутъ и въ отдѣльныхъ кабинетахъ шампанскимъ поятъ, а какъ шарахнетъ по ногамъ, такъ и увидишь, что не существо это, а одинъ паръ отъ существа. „Ахъ ты, Боже мой, — думаю, — ну, какъ ихъ такихъ оставить. Вѣдь они непремѣнно пропасть должны, да такъ, что и писка ихняго никто не услышитъ“... Поэкзаменовалъ я „интеллигентный трудъ“ и ахнулъ. То-есть никакого понятія объ Америкѣ...

— А по-аглецки говоришь?

— Нѣтъ.

— Въ пять-то мѣсяцевъ? Чѣмъ же занимался?

— Мѣста искалъ.

— На какомъ языкѣ?

— Я латынь и греческій вотъ какъ знаю.

„То-есть, удивляюсь, какъ я удержался! Такъ и хотѣлось схватить его за шиворотъ, поднять и встряхнуть. Да побоялся —-дырявый, въ первую дыру душу вытрясешь. Поди, ищи ее потомъ.

— А по-нѣмецки?

— Плохо... Ученыя книжки со словаремъ могу.

— Такъ...

— А я по-французски... — хвастается, въ свою очередь, „неземное созданіе". — Много стиховъ наизусть знаю.

— Въ горничныя пока не пробовали проситься?

Обидѣлась.

— У меня папаша генералъ-лейтенантъ былъ и ужасно храбрый. Я учить дѣтей могу. У меня шифръ съ вензелемъ.

— Чему учить?

— Наукамъ.

— Здѣсь науки особыя... Въ вашихъ Америка не нуждается.

Ну, вижу, не люди, а „нарочно". Пропадутъ, какъ тараканы въ голодной избѣ, и вѣдь гдѣ пропадутъ-то — кругомъ ѣшь не хочу... Подумалъ-подумалъ, купилъ себѣ этотъ самый инструментъ и самъ остался на черной работѣ.

Мнѣ-то вѣдь ничего, а имъ трудно. Съ вензелевымъ шифромъ въ Америкѣ далеко не уѣдешь.

И вотъ видишь, другъ ты мой любезный, каковъ этотъ самый соотечественникъ: въ пять мѣсяцевъ языку не научился, а интеллигентнаго труда ищетъ!

Не дуракъ?

Да вѣдь и дуракамъ жить нужно! Вѣдь прежде, чѣмъ родиться, ихъ не спрашивали, согласны они существовать или нѣтъ.

V.

Живу я у этихъ, потому у нихъ за собой багажу никакого, а совѣсти хоть отбавляй. Какъ будто они мнѣ и нужны. Сами теперь вѣрятъ, что мнѣ безъ нихъ никакъ не обойтись. Въ свободное отъ занятій время обучаю я россійскаго интеллигента аглицкому языку. И латынь и «эллиносъ паликаросъ» произошелъ онъ отлично, а вотъ по-здѣшнему никакъ не можетъ, да еще съ сытостью и остроумить началъ. «Какой это,— говоритъ,— языкъ. Это не языкъ, а насморкъ въ горлѣ“. Видѣлъ ты какъ лошади, голодныя и избитыя, въ гору у насъ воду возятъ? Ну, вотъ и онъ также надъ исключеніями изводится. Насквозь какъ перчатка выворачивается. А ужъ я на своемъ поставлю — выучу, какъ скворца; будетъ онъ у меня человѣкомъ. Хотѣлъ было я ему «инструментъ» купить — пусть бы тоже пока что сапоги чистилъ и по десяти центовъ получалъ. Такъ нѣтъ вѣдь. Во-первыхъ, обидѣлся. «Для этого я, что ли, университетъ кончалъ?» А потомъ нашелся: «У меня, — говоритъ, — поясница»... Это мнѣ? — точно у меня, у Ваньки-Встаньки, ноги-то прямо изъ горла растутъ.

Пока со мною, другъ мой, было здѣсь только одно приключеніе, стоящее нѣкотораго вниманія. И быть-можетъ, изъ него произойдетъ нѣчто для меня счастливое. Надо тебѣ сказать, что человѣчество теперь

я дѣлю на три категоріи. Первая — особы американскаго лака. Этихъ я вижу только проходящими мимо... Ни онѣ во мнѣ, ни я въ нихъ не нуждаемся... На мой инструментъ онѣ или не смотрятъ, или, если онъ попадается имъ по дорогѣ, презрительно сжимаютъ губы. Вторая категорія — шевро. Для этихъ у меня — кремъ и суконки. Шевро требуютъ деликатнаго обхожденія, но платятъ по таксѣ — швырнулъ десять центовъ и прочь пошелъ. Имъ на меня, да и мнѣ на нихъ наплевать. Отзвонилъ, и съ колокольни долой. Третья зато — толстая подбитая гвоздями подошва. Аргентинская кожа. Не ноги, а броненосцы. „Ступитъ на горы — горы трещатъ". Эти со мною разговариваютъ, платятъ по двадцати центовъ, а одинъ сегодня, узнавъ, что я — русскій „изъ этихъ", далъ мнѣ долларъ. Я ему сдачи. А онъ:

— Не надо!

— Я не нищій, милостыни не беру. Десятью центами больше — это высокая оцѣнка труда, а долларъ — Христа ради.

Покраснѣлъ, зубы сжалъ — идетъ прочь.

Я его догналъ и въ карманъ ему сдачу.

Сталъ онъ въ позицію — думаю, бить сейчасъ начнетъ, — и самъ принялъ соотвѣтствующе боевой сторонѣ положеніе.

Посмотрѣлъ онъ на меня, расхохотался.

— А я все-таки заставлю тебя взять.

— Увидимъ.

— Чисти мнѣ опять сапоги.

Это онъ въ правѣ. Швырнулъ мнѣ десять центовъ. Сдѣлалъ сто шаговъ по улицѣ и возвращается.

— Чисти опять!...

И опять десять центовъ.

Повторилъ десять разъ...

— Получилъ долларъ?

— Получилъ.

— Значитъ, по-моему вышло?

— По-твоему.

— Будешь впередъ со мною спорить?..

— Буду.

Хлопнулъ онъ меня по плечу — и я его наотмашь. — Закачался онъ.

— Ты, — говоритъ, — сильный, мнѣ такіе нравятся. — Ты бы чѣмъ-нибудь другимъ занялся...

— И займусь. Только я всего двѣ недѣли какъ пріѣхалъ... Присматриваюсь.

— Значитъ, никакой работы не боишься?

Вынулъ карточку съ четверть величиною, а на ней изображено: „Уильямъ Уокеръ. 5-e avenue, 289“, И потомъ мелко: „Гасіенда-де-лось Картелосъ, Санъ-Херонимо, Техасъ“.

— Придешь завтра?

— Приду...

— Прощай, буду ждать!

Въ слѣдующемъ письмѣ изображу тебѣ, что изъ сего воспослѣдуетъ... А пока — совѣтъ мой, не кисни въ Пинегѣ (выдумаетъ же чортъ такую географическую сволочь?), бери ноги въ руки и бѣги сюда. Коли по пути медвѣдь тебя не задеретъ, волки не разорвутъ, въ болотѣ не увязнешь и съ голоду не умрешь — попадешь, какъ и я, подъ вольный вѣтеръ. Ставь парусъ и плыви! Повѣрь одному — хуже чѣмъ сейчасъ, тебѣ не будетъ. Никто здѣсь твою душу, какъ мокрое бѣлье, выжимать не станетъ. А вѣдь отъ такой выжимки — не грязная вода, а живая кровь бѣжитъ. Ну, прощай пока, старый товарищъ. Привѣтъ нашимъ. Вотъ бы тутъ устроить намъ по-хорошему колонію, а интеллигента никчемнаго — въ пастухи къ

намъ?.. При гусяхъ — съ коровами ему не совладать вѣдь... А утокъ гонять и съ латынью можно.

VI.

Надоѣло мнѣ при чужихъ сапогахъ состоять, будь они хоть изъ проаргентинской кожи! Этакъ я въ Америкѣ, кромѣ ногъ, ничего не узнаю! Хотѣлъ было надняхъ къ моему новому знакомому, да по маломъ размышленіи рѣшилъ: всегда на это время будетъ. Какъ-то шелъ я по его avenue, вижу: домина — точно иллюстрированный прейсъ-курантъ всѣхъ стилеѣ. Тутъ и арабскій куполъ, и русскіе пѣтушки, и шотландская башенка. Къ гишпанскому фасаду съ арабесками подобрались было (должно, изъ любопытства!) коринѳскія колоны, остолбенѣли отъ изумленія, да такъ при фасадѣ и остались. Входъ, — какъ рисуютъ у старыхъ соборовъ, — средней руки корабль влѣзетъ, пожалуй, и мачтъ не спуститъ. А передъ этой готикой — своя здѣшняя геральдика: на мраморныхъ подставкахъ, какъ бы ты думалъ, что?.. Ну, пошевели мозгами!.. Львы или единороги? Или, можетъ-быть, орлы твое воображеніе безпокоятъ? Нѣтъ, братъ, по здѣшнимъ мѣстамъ другая табель о рангахъ въ зоологіи: торчатъ на заднихъ лапахъ чугунныя свиньи и бронзовый щитъ въ копытцахъ держатъ. Ты бы видѣлъ, какъ гордо смотрятъ въ небо ихъ пятачки! А на щитахъ объявленія: здѣсь-де, а не гдѣ-нибудь. Уильямъ, Уокеръ торгуетъ оптомъ сею самою рождественскою идилліей, нарочито въ салѣ и щетинѣ воспитываемою дипломированными въ Евро-

нѣ опытными педагогами. Свиные Пироговы и Песталоцци — не меня ли онъ готовилъ на такой отвѣтственный постъ? Походилъ я около, — думаю: ну, что мнѣ съ нимъ дѣлать? Хоть я и блудный сынъ своего отечества, а все-таки не къ лицу мнѣ при свиньихъ состоять... А тутъ судьба свела меня съ евреемъ (и за что только ее россійскіе Вольтеры назвали индѣйкой?). Есть здѣсь таверна — по-нашему, просто „обжорная съ распивочно и на выносъ“. Собираются въ ней по преимуществу эмигранты-славяне, и стоитъ по вечерамъ непомѣрный гвалтъ, — сразу видно, что дома они цѣлые годы напролетъ молчали. Наверстываютъ — душу отводятъ, миляги! За прилавкомъ жена доктора, а самъ онъ въ аптекѣ рядомъ. Надоѣстъ ему тамъ, — вскочитъ сюда, благимъ матомъ размежуетъ Европу, какъ ему нравится, — сегодня нашиворотъ, а завтра навыворотъ, стукнетъ кулакомъ по прилавку: „Вотъ мое мнѣніе!“, вольетъ въ себя стаканъ шерри-бренди и опять назадъ, къ декоктамъ, гуммозамъ и капсюлямъ. Понравился мнѣ нашъ еврей. Не то, что мой двоеженецъ. Шире меня въ плечахъ, голова курчавая, кулакомъ сразу высадитъ. Ходитъ онъ на дыбахъ уже. Шляпа на немъ, — гдѣ онъ башку взялъ, чтобы панаму носить! — поди двадцать пять долларовъ стоитъ! Сюртукъ — солидный, пластронъ — хоть сейчасъ рисуй на немъ, а на жилетѣ (сѣрый въ красную клѣтку) такая, братъ, цѣпь, что посади хоть меня на нее, — удержитъ... Только что лаять буду, а не сорвусь. И въ глазахъ: „Не подходи ко мнѣ съ отвагой!“ Пришлись мы другъ по другу въ аккуратъ.

Вы, — говоритъ, — въ Одессѣ были?

— Былъ...

— И въ Аккерманѣ тоже?

— Случалось.

— А кто у насъ тамъ архіереемъ?

— Богъ его знаетъ. Очень мнѣ нужно.

— Огорчился.

— Я вѣдь самъ оттуда!

— Давно?

—Лѣтъ двадцать... И полицмейстера не знаето?

— Нѣтъ.

— Почему?

— Такъ, все-таки пріятно.

Разговорились съ нимъ. Вижу: какъ упрется въ отечественное, сейчасъ дуракъ-дуракомъ дѣлается, а начнешь съ нимъ объ Америкѣ, — хоть учись у Златоуста.

— Вы, — спрашиваетъ, — чѣмъ занимаетесь?

— Сапоги чищу.

— Съ этакими-то мускулами?

— Да, пока...

— То то, что „пока". Нельзя въ Америкѣ съ ногъ начинать. Хорошій котъ рыбу всегда съ головы хватаетъ... А еще что дѣлаете?

— Корреспонденціи въ „Голосъ" пишу.

— Ого... Значитъ, вы по книжной части?

— Нѣтъ, не значитъ... А вы что дѣлаете?

— Кочегаромъ ѣздилъ на трансатлантическихъ пароходахъ, теперь на желѣзныя дороги перешелъ. Отъ океана къ океану.

— Много зарабатываете?

— Тысячъ пять долларовъ.

Тутъ меня и осѣни!

— А помощникъ вамъ не нуженъ?

— Отчего не нуженъ?..

— Возьмите меня...

— Да вы сумѣете?

— Дрова-то въ печку кидать?

— Не одни дрова!

— Выучусь... Есть о чемъ.

— Что жъ, all right... Мы съ вами будемъ объ Аккерманѣ разговаривать...

— Вамъ сколько лѣтъ?

— Двадцать девять.

— Значитъ, вы девяти лѣтъ оттуда?

— Именно.

— И все васъ назадъ тянетъ?

— Знаете, Россія такая страна...

И пошелъ и пошелъ... Влюбленный Ромео о Джульеттѣ, а никакъ не спасшійся отъ голода и погрома о насильникахъ! Слушаю, — ушамъ не вѣрю. А потомъ привыкъ къ этому. Здѣсь всѣ такъ: вспомнятъ о любезномъ отечествѣ, и пусть оттуда однихъ выгнала нужда, другихъ — василиски и скорпіоны, третьихъ — пьяные босяцкіе громилы, — все равно, хоть стихами записывай воспоминанія. Вѣдь большая часть обросли здѣсь пухомъ и перьями. Нужды не знаютъ, американскими гражданами стали, по-человѣчески живутъ, никакія удавьи кольца имъ не страшны, высоко головы носятъ, а какъ заговоритъ по-русски сейчасъ:

— А вы помните на углу Дерибасовской и Ришельевскаго лавку Кричевскихъ?

— Ваша была?

— Нѣтъ, я около мальчикомъ игралъ... Разъ меня городовой схватилъ за ухо, видите: до сихъ поръ надорвано... Зачѣмъ я въ окно на деревяннаго солдатика смотрю.

И въ глазахъ слезы умиленія.

Пойми человѣческую душу... Такіе патріоты своего отечества, хоть отбавляй...

VII.

Теперь о двоеженцѣ.

Представь себѣ, а вѣдь я нашелъ ему дѣло! И какъ разъ по немъ, интеллигентное. Тамъ ему и латынь его пригодиться можетъ. Я тебѣ въ прошломъ мѣсяцѣ писалъ о нашей аптекѣ. Такъ вотъ къ доктору (онъ фармацевтъ, а по нуждѣ стричь и брить можетъ!) помощникомъ. Дали ему двѣ комнаты и пятьдесятъ долларовъ, а любезнѣйшую супругу его къ аптекарскимъ дѣтямъ, чтобы они русскаго языка не забывали. И радъ же я, что съ ними развязался. На мокромъ мѣстѣ оба, — вѣчно хнычутъ. Около нихъ стѣны киснутъ. А она еще вообразила, что я къ ней неравнодушенъ. Вздумала жантильничать, глаза коситъ и губы бутономъ складываетъ, знаешь, точно пупокъ... Терпѣлъ я, терпѣлъ, а какъ начала она меня „безумцемъ" звать да разсказывать, что изъ-за нея драгунскій юнкеръ (фамилія двойная, въ родѣ Штоля-и-Шмита или Мюра-и-Мерилиза!) изъ ружья застрѣлился, такъ я собралъ свои монатки, отдалъ двоеженцу все, что при мнѣ изъ денежныхъ знаковъ нашлось, и, Магометомъ изъ Мекки въ Медиму, давай Богъ ноги. А вѣдь двоеженецъ изъ за нея всю свою судьбу испортилъ и въ Сибирь попалъ. Онъ и до сихъ поръ находитъ, что овчинка выдѣлки стоила. — Помните, разсказываетъ, профессора ***? Страсть какъ по ней умиралъ. Бывало, какъ увидитъ, сейчасъ наизусть оды Гораціи или буколики Виргилія декламируетъ. А математикъ Любострастовъ (было у насъ еще такое животно-растеніе, ты его зналъ тоже, у него еще изо рта волоса росли, а затылокъ голый). Ну, такъ онъ ей собраніе логариѳмовъ посвя-

тилъ... „Такъ я при живой женѣ и отбилъ ее у нихъ, она безъ вѣнца не соглашалась, я и нашелъ попа... А потомъ насъ обоихъ, и попа и меня, нашли“... Ушелъ, братъ, я отъ нихъ, — и точно опять изъ Пинеги въ Америку попалъ. Хожу по улицамъ и чувствую: во мнѣ міровая энергія играетъ, и чортъ мнѣ не братъ, и даже копоть отъ каменнаго угля мила моей душѣ... Беременные трамваи стремглавъ летятъ, моторы въ ухо мнѣ свищутъ... Ахъ, какъ хорошо! На углу, гдѣ я стоялъ, — другой теперь. Не робѣй, кричу ему, все будетъ наше, а онъ не понимаетъ, таращитъ желтые бѣлки на черной мордѣ и скалитъ зубы. И его самого точно сапогъ лучшей ваксой кто-то вычистилъ. Во всю грудь дышу, улица безъ конца, а мнѣ простора мало, и грудь, точно въ нее этотъ Нью-Йоркъ цѣликомъ помѣститься можетъ. Живу, братъ, я теперь на восемнадцатомъ этажѣ, и окно мое точно ласточкино гнѣздо, подъ самой кровлей пріютилось. Когда еще въ малярахъ былъ, къ высотѣ привыкъ... Ноги наружу, сижу на подоконникѣ (у насъ бы сейчасъ городовые обезпокоились, а здѣсь лети, если тебѣ нравится) и точно надъ бездной вишу. И кругомъ бездна — и вверху, и внизу, и по сторонамъ, и плывутъ по этой безднѣ въ золотое царство заката (страсть эту пору люблю!) безчисленныя кровли, фабричныя трубы, колокольни, башни, облака — міръ цѣлый. И весь онъ мой, — вотъ протяну руки и обойму его отъ края до края и къ груди прижму. А брошусь, — сейчасъ у меня за спиной крылья развернутся, и утону я въ безднѣ наверху, если... не расшибусь въ безднѣ внизу. И это не страшно! Падать такъ съ неба, — все лучше, чѣмъ, поскользнувшись, носъ себѣ расквасить о тротуаръ...

VIII.

А вѣдь съ Уокеромъ-то я встрѣтился! Въ настоящемъ океанѣ, какъ Нью-Йоркъ! И не столько это удивительно, какъ то, что онъ меня узналъ, и не только узналъ, но тутъ же на мѣстѣ дочери представилъ!

— Это тотъ самый, который съ меня долларъ не хотѣлъ взять.

И она протянула мнѣ руку, попробовала оторвать мою, да видитъ, что крѣпко пришита, — выпустила. Это, по-ихнему, — поздороваться.

— Отчего вы къ намъ не пришли?

— А что мнѣ у васъ дѣлать?

— Мы бы общество собрали, вы бы намъ говорили о Россіи. Васъ отецъ полюбилъ.

— Что же, вы бросили сапоги? На вашемъ мѣстѣ какой-то грязный негръ торчитъ.

— Бросилъ.

— Лучше нашли?

— Да... Помощникомъ кочегара буду.

— А потомъ?

— Кочегаромъ... Пока у меня своей желѣзной дороги нѣтъ!

— Вотъ это по-американски. Хорошо сказано. И все бы вамъ лучше ко мнѣ.

— Свиней бить, — благодарю покорно.

— Нѣтъ, у меня въ Техасѣ табуны бѣгаютъ. Мнѣ рѣшительные и смѣлые люди вотъ какъ нужны!

А миссъ смотритъ на меня, какъ на чудо невиданное.

Думаю, какіе такіе узоры на моемъ портретѣ на-

писаны, — даже неловко! Точно картина! Чуть было по-нашему, по-кадетски, языка ей не показалъ.

Потомъ вдругъ, и безъ предисловій:

— Вы меня, сэръ, очень интересуете!

— Благодарю покорно.

— Не за что... Вы политическій эмигрантъ?

— Да.

— А я принадлежу къ союзу всемірной республики!

Тутъ ужъ я на нее уставился.

— Да вамъ который годъ?

— Семнадцать.

— И вы...

— Я товарищъ президента въ нашей секціи. Мы смотримъ на Россію, какъ на будущую сестру*). Америка по сю сторону океана, ваше отечество — по ту... Если мы подадимъ другъ другу руки, — полземного шара сдѣлается царствомъ справедливости и свободы. Какъ два титана, подымемъ надъ міромъ новыя небеса, и не будетъ на свѣтѣ силы, которая помѣшала бы намъ пересоздать человѣческія общества.

— А если они, эти общества, не будутъ согласны?

— Да погибнутъ противящіеся!

И съ такою силою, съ такимъ фанатизмомъ это вырвалось у дѣвчонки, что я даже попятился.

— То-есть, какъ же это „погибнутъ"?

— Господь повелѣлъ истребить амелекита и женъ его и дѣтей до послѣдняго младенца, сосущаго грудь матери.

---

*) Было въ семидесятыхъ годахъ. Послѣ того взглядъ американцевъ на Россію весьма измѣнился.

А у самой свѣтло-русые волосы, какъ виноградная лоза, завиваются, голубые, ясные глазки и пухлый ротикъ... Такъ и хочется взять ее за носъ: агу-агу-нюшки! А она — туда же, цѣлые народы къ поголовному истребленію приговариваетъ.

Пошелъ я съ ними, — и къ мистеру Уокеру на завтракъ попалъ.

И смѣялся же.

Ты представь себѣ: на стѣнахъ, рядомъ съ картинами, которымъ цѣны нѣтъ, подлѣйшія до тошноты олеографіи съ желто-красными закатами, лакированными Константинополями и такими тирольскими озерами, которыя даже мухи засидѣть не согласны. У нихъ больше вкуса, — не на всякомъ мѣстѣ, прости Господи, свои визитныя карточки оставляютъ. А статуи! Ты знаешь, я плохо понимаю, хоть и дневалъ въ нашемъ Эрмитажѣ. Вдругъ Торвальдсенъ, а подъ нимъ билетъ: „Заплачено 50.000 долларовъ“, а съ боку распухшій младенецъ на колѣшкахъ, съ молитвенно сложенными ладонями. И лицо у младенца — хоть сейчасъ на лобъ штаны надѣнь. Завернулись у носа щеки, совсѣмъ неприлично... И опять билетъ: „Заплачено 1000 долларовъ“.

— Хорошо? — спрашиваетъ у меня свиная геральдика.

— Вотъ это, — показываю на Торвальдсена, — очень, а это (младенецъ-то) — гадость.

— О!

— И олеографіи стыдно вѣшать на стѣну.

— А куда же ихъ? Всегда на стѣны вѣшаютъ.

— Подарите ихъ вашему негру...

— Такъ, значитъ, вы и въ искусствѣ понимаете?

— Не надо понимать, чтобы видѣть. Вотъ у васъ яичница-глазунья, а вы ее явленіемъ херувимовъ под-

писали, да еще клеплете на Мурильо, что это онъ на своей сковородѣ изготовилъ вамъ такое блюдо.

— Хотите быть моимъ секретаремъ?

— Не хочу.

— Почему? Я вамъ хорошо заплачу.

— Не затѣмъ въ Америку прiѣхалъ, чтобы прислугой быть.

— А сапоги чистили?

— Такъ не вамъ одному, а всѣмъ. Это не то. Вѣрно...

Плевальница въ углу. Проходимъ мимо.

— Золотая, — двѣ тысячи долларовъ.

— Кресло, на которомъ Бисмаркъ сидѣлъ, когда подписывалъ миръ съ Францiей, — пять тысячъ.

— Моя дочь спитъ на постели императрицы Евгенiи изъ дворца хедива, — семь тысячъ.

— Вотъ на этой тарелкѣ ѣлъ Наполеонъ III.

— Жалко, что ее вымыли!

— А развѣ можно было сохранить?

— Да, нужно объѣдки покрыть эмалью.

Понялъ, что я смѣюсь, и самъ вдругъ расхохотался.

— Я знаю, что это глупо, но... вы, русскiе, самая свободная нацiя!..

— Вотъ тебѣ и на!

— Зато я лично живу иначе. Пойдемъ ко мнѣ.

Громадный кабинетъ. Ни ковровъ, ни портьеръ, ни занавѣсокъ. Солнце заливаетъ все живымъ, веселымъ свѣтомъ. Стѣны выбѣлены известкой и на нихъ безчисленныя фотографiи... свиней! (Эта вотъ дала мнѣ двѣнадцать тысячъ долларовъ — такое отъ нея пошло потомство!) Посреди — большой простой столъ и весь покрытъ бумагой. Прибили ее гвоздями. Исписана во всѣхъ направленiяхъ.

— Что мнѣ приходитъ въ голову, — я записываю тутъ же.

— А книги?

— А зачѣмъ мнѣ онѣ?

— Какъ зачѣмъ?

— Не надо чужихъ мыслей: у каждаго должны быть свои.

Спальня еще проще: у стѣны складная кровать — у насъ такія на рынкѣ по три рубля! Вмѣсто тюфяка — войлокъ. Въ головахъ сѣдло и на немъ кожаная подушка. На стѣнахъ ружья, револьверы, ножи. Лассо свернуто.

Тутъ у себя я по-своему. Мнѣ и дышится легче, чѣмъ въ тѣхъ комнатахъ. Ничего не измѣнилъ съ тѣхъ поръ, какъ ковбоемъ былъ. Какъ тогда жилъ, такъ и теперь. Миссъ, у нея — все, что есть лучшаго въ Европѣ... Я-то вѣдь съ пятью долларами началъ, какъ и вы. Можетъ-быть, потому я васъ и люблю. Вы мнѣ напоминаете меня самого лѣтъ тридцать назадъ. Ну, а она у меня въ пяти милліонахъ. Разница есть! Она можетъ заводить всякую роскошь... А мнѣ не по карману.

Я отъ души пожалъ ему руку.

IX.

Въ темную беззвѣздную ночь несется нашъ поѣздъ черезъ горы, врывается въ подземныя жилы и пронизываетъ первозданныя скалы, скользитъ съ пронзительнымъ визгомъ черезъ мосты, которымъ, кажется, и конца нѣтъ. Смѣло, точно по острею ножа, летитъ по дамбамъ и насыпямъ, — внизу на мгновеніе мель-

каютъ электрическіе огни городовъ и селеній, пламенныя пасти заводовъ... Изъ фабричныхъ трубъ, точно изъ гигантскихъ сигаръ, чудится золото и дымъ, и вдругъ сырыя трещины ущелій или безпредѣльный просторъ равнинъ, гдѣ вѣтеръ нѣжно и ласково несетъ по необъятной глади волны невѣдомыхъ благоуханій... Съ непонятною тебѣ быстротой — по сто километровъ въ часъ — стремимся мы куда-то все дальше и дальше, навстрѣчу новымъ горамъ, долинамъ, городамъ, пылающимъ тысячами багровыхъ языковъ. Все впередъ и впередъ, и точно черное боевое, съ миріадами искръ, знамя откидываетъ назадъ на ужъ завоеванныя нашимъ поѣздомъ разстоянія. Грузно грохочутъ колеса, свищетъ огонь въ печи, хрипло и смѣло ворчитъ, какъ громадное желѣзобронное чудовище, паровозъ. И навстрѣчу — такіе же... Вдругъ покажутся три красные глаза, — вотъ-вотъ столкнемся, и въ нашей встрѣчѣ міръ погибнетъ!.. И опять черная ночь и просторъ... Тускло мерещатся озера по сторонамъ, — на нихъ порою такъ же чугунныя идолища пыхтятъ снопами искръ. Мосты ложатся поперекъ рѣкъ, передъ которыми наша Волга — ручьишко, и тамъ, подъ нами, скользятъ куда-то стоглазые пароходы, убѣгающіе отъ насъ: еще, чего добраго, расшибемъ...

Остановимся на минуту, на сверкающій перронъ выбросимъ смятенную толпу, проглотимъ другую и дальше въ безконечность, въ прохладу черной ночи, въ волны полевыхъ ароматовъ, въ извилистыя норы зловѣщихъ подземелій. Оглянешься — по ихъ стѣнамъ бѣгутъ свѣтовыя пятна отъ оконъ вагоновъ. А печь пышетъ краснымъ жаромъ, дымъ окутываетъ меня, точно облакомъ хочетъ унести въ заповѣдное царство невозможнаго; въ ушахъ и вискахъ стучитъ, въ горлѣ сохнетъ, въ груди сердце кузнечнымъ молотомъ бьетъ ребра,

лицо обожжено, а въ спину холодъ... Руки давно — точно изъ угля, кочерга пурпурная, потъ на нее капнетъ и зашипитъ. Невмоготу станетъ, — крѣпко уцѣпишься за дверную болду, упрешься ногами у входа и весь высунешься, — обдувай вольный вѣтеръ. И рветъ онъ тебя изъ этой угольной ямы, точно чьи-то руки въ грудь толкаютъ, а другія хватаютъ за локоть... И ночь навстрѣчу съ ея сыростью, холодомъ, визгомъ вѣтра, запахомъ сѣна... Самъ себѣ кажешься чуть не желѣзнымъ гигантомъ, подъ стать этому броненосному чудовищу, или, по крайней мѣрѣ, его мозгомъ, его живой силой. Впередъ и впередъ, навстрѣчу невѣдомому, смѣлому, бодрому. Скорѣй, скорѣй! Время дороже самой жизни. Та минута, которая ушла, Богъ знаетъ, чего стоила, а та, что на насъ летитъ, — еще драгоцѣннѣе! Цѣлый міръ нижемъ, и чудится — дрожитъ онъ передъ нашей некрушимой энергіей и отвагой. Надо одолѣть еще быстрѣе просторъ несосвѣтимый, и слышу я окрикъ моего кочегара: „Смолу въ печь, лей туда масло". Стѣны желѣзнаго котла раскаляются, вода въ ведрѣ около кипитъ и злится на близость печи — бѣлымъ паромъ. Вотъ-вотъ взорвется все, но разсуждать и бояться некогда! Впередъ, впередъ!.. Ахъ, хорошо! Ахъ, любо! Ахъ, ничего нѣтъ равнаго ни въ прошломъ, ни въ будущемъ не будетъ! Мощь, захватъ, владычество надъ пространствомъ, презрѣніе къ безконечному. Аль мы его не одолѣемъ, не побѣдимъ, не прорѣжемъ чугуннымъ кулакомъ нашего локомотива?.. И время убьемъ, и отъ него ничего не останется! Впередъ!

Горите, черные угли! Пылай, черная труба! Раскаляйся, толстая мѣдь надиво выкованнаго котла!.. Жги меня, печь красная безпощадная! Впередъ!.. Навстрѣчу тому вонъ желтому краю, что смутно замерещился на горизонтѣ, гдѣ быть Атлантическому океану. Вѣдь это

первый герольдъ восхода, греза пробужденія будущаго дня. Отъ Атлантическаго къ Тихому, отъ Тихаго къ Атлантическому, и вездѣ чортъ тебѣ не братъ, и никто не смѣетъ стать на пути предѣломъ, его же не прейдеши. Впередъ и впередъ!..

X.

А днемъ-то! Понимаю теперь „радость", надъ которою когда-то смѣялся. Въ самомъ дѣлѣ, помнишь, какъ мы ругались, когда мимо бѣшено мчался рысакъ, обгоняя жалкихъ вылѣзшихъ изъ кожи клячъ и оставляя за собой пустоту, будто пронизавшая воздухъ молнія! Въ стремительности и быстротѣ — счастье. Въ нихъ что-то смѣлое, гордое, сильное. Раскидываются передъ тобою безконечныя глади, — и ты кричишь имъ, назло вѣтру, упирающемуся въ грудь тебѣ: я поборю васъ! Нѣсколько минутъ — и онѣ, побѣжденныя, уже позади. Нагромоздятся горы на горы, весь небосклонъ заслонятъ, однѣ царятъ тутъ, — ты и на нихъ, зная, что ничего онѣ не смѣютъ, а ты все можешь. Взлетаешь на откосъ, огибаешь мрачныя скалы, скользишь по рубчикамъ надъ безднами, гдѣ курится сѣрый дымокъ и чуть замѣтныя мерещатся кустами вершины вѣковыхъ деревьевъ. Все выше и выше — въ чистый голубой просторъ, словно прочь отъ земли. Тучка гонится за тобой, — гдѣ ей! Орелъ съ хриплымъ клекотомъ срывается прочь, — страшно ему желѣзное, гремящее, грохочущее, лязгающее страшилище. А потомъ опять внизъ, къ городамъ и людямъ, къ труду и мелкой будничной жизни. Рѣку поперекъ тебѣ поставила природа, — сковалъ и рѣку желѣзнымъ мостомъ непобѣдимый умъ, и

несешься ты по этой тонкой ниточкѣ надъ людными кипучими пристанями, загруженными народомъ палубами. Не надъ, а подъ тобой вьются казавшіеся такими недосягаемыми флаги и бѣлыми крыльями надуваются паруса. Рѣжетъ воздухъ черный поѣздъ, и демоническую черную полосу зловѣщаго дыма вноситъ въ свѣтлую голубую симфонію. Такъ хорошо, что я до сихъ поръ будто настоящаго счастья не зналъ. Помнишь диспуты, на которыхъ я загонялъ въ уголъ растеряннаго магистранта? Тамъ охота на буквоѣдство, побѣда смѣлой мысли надъ тяжелыми академическими жерновами. А радость хорошо написанной статьи, которую при тебѣ, не зная, что ты ея авторъ, цитируетъ тотъ самый не помнящій родства читатель, о которомъ еще Щедринъ вздыхалъ? А счастье перваго поцѣлуя, какъ они мелки и ничтожны съ этимъ торжественнымъ пробѣгомъ отъ океана къ океану не испугавшагося безконечности бродяги. Одно только было выше и сильнѣе въ моей жизни — побѣды,свободы надъ злобой и насиліемъ, анонимныя побѣды, за которыя неслышимо другимъ — душа и сердце и мысль поютъ молебны Богу правды, дающему мощь и волю человѣку! Когда дичь, гонимая и преслѣдуемая, побѣждаетъ охотника, когда на его изумленныхъ глазахъ жалкій заяцъ оказывается львомъ, и самому Немвроду приходится стремглавъ бѣжать, тая въ спутанномъ умѣ и замирающемъ сердцѣ трусливое и подлое отчаяніе... Прежде я никогда не думалъ, видя на платформахъ станціи прокопченнаго дымомъ и занесеннаго сплошь угольною пылью кочегара, что онъ можетъ чувствовать себя Александромъ Македонскимъ покореннаго простора. Теперь только я припоминаю, чему иногда не придавалъ значенія — орлиный, быстрый, горячій взглядъ на ихъ черныхъ лицахъ и увѣренную усмѣшку гордыхъ губъ. А ужъ

силы-то у нихъ хоть отбавляй. Нѣтъ мѣста на паровозѣ слабой и незначительной, ненаходчивой и колеблющейся слякоти. Тутъ вѣдь — самъ впереди и другихъ ведешь за собою. Не спишь, чтобы спали они, не знаешь отдыха, чтобы тѣ могли быть спокойны... Ты — умъ и воля десятковъ вагоновъ съ сотнями притаившихся въ нихъ жизней.

XI.

Одно скверно, — на досугѣ, когда отъ яркой здѣшней дѣйствительности мечтой и мыслью уходишь на далекую родину. И чѣмъ дальше, тѣмъ блѣдный призракъ ея изъ-за океана все чаще и чаще тревожитъ память и воображеніе. Въ минутахъ тоски и поруганной любви къ разлученной съ тобою матери — проклятіе отщепенца и изгнанника, и я все яснѣе и яснѣе начинаю понимать безпокойное и настойчивое любопытство моего Геркулеса кочегара: „А кто теперь голова въ Аккерманѣ?“ и „Стоятъ ли еще тѣ липы, подъ которыми двадцать лѣтъ назадъ городовой надорвалъ ему, уличному голодному еврейчику, ухо?“ Въ самомъ дѣлѣ, это безотчетно шевелится въ глубинѣ сердца. Будь родина богата, сыта, свободна, весела — другое дѣло, пожалуй, и не вспомнилъ бы о ней, но такую больную, замученную, несчастную, — какъ ее забыть? Какъ наединѣ, когда ты никому не страшенъ, не протянуть черезъ океанъ къ ея милому, бѣдному облику трепетныя сыновнія руки. Смѣялся я надъ нашею Пинегой, а вѣдь и она, занесенная снѣгами, отпѣтая рыдающими вьюгами, отрѣзанная безпощадною зимой отъ цѣлаго міра, точно приросла къ сердцу, и никакой

Америкѣ не оторвать ее даже съ кровью. Пожалуй, съ сердцемъ вмѣстѣ, да! И немудренно, что, встрѣтивъ какого-нибудь бѣглеца оттуда, черезъ много лѣтъ, когда я буду ужъ полноправнымъ гражданиномъ Сѣверныхъ Штатовъ, первый вопросъ, который я задамъ новому Ванькѣ-Встанькѣ, будетъ:

— Кто теперь въ Пинегѣ протоіереемъ въ соборѣ?

А вѣдь съ нимъ не дѣтей крестить!

Часто мнѣ мерещится нашъ югъ — просторъ его степей, медлительныя волны ковыля подъ теплымъ вѣтромъ, длинныя вереницы воловъ съ чумаками и ночные костры среди печальнаго молчанія въ синемъ сумракѣ далей...

Одно тебѣ скажу: дай мнѣ стать на ноги, и когда мои руки понадобятся далекой матери родинѣ, я не буду ждать, чтобы она мнѣ крикнула черезъ океанъ: „Гдѣ ты?“

Во-время Ванька-Встанька вернется. Не купитъ меня ничѣмъ счастливая чужбина. Ни богатствомъ, ни свободой, ни женской лаской...

Брошу все!

И безъ меня много кожаныхъ душъ.

Однако, кажется, я начинаю какъ будто жаловаться?

И все это отъ того, что въ нашей нью-йоркской тавернѣ кто-то запѣлъ далекую украинскую пѣсню!..

XII.

Ты, пожалуйста, не вообрази, что я обратился въ нѣкоторое подобіе „летучаго голландца“ и сплошь ношусь по Америкѣ, отъ океана къ океану, впередъ и

назадъ, безъ отдыха, стремглавъ, видя только передъ собою, а не по сторонамъ. Такъ бы мои мозги давно обратились въ смятку, а тѣло — въ битое мясо. Дѣло у насъ стоитъ иначе, и, покатавшись двѣ недѣли, я на третью имѣю отдыхъ, которымъ, какъ видишь, вѣроятно, изъ моихъ писемъ въ „Голосѣ“, пользуюсь въ полной мѣрѣ. Тутъ есть чему учиться. И читать не надо, только умѣй смотрѣть и видѣть, а видѣное примѣрять на нашу мѣрку. Вставай рано, броди по улицамъ, входи во всѣ открытыя двери и записывай въ памяти строчку за строчкой. Здѣсь не молчатъ, не притворяются, — каждый какъ хочетъ, такъ и думаетъ, и никакихъ утвержденныхъ „для арміи и флота“ образцовъ на умъ и совѣсть нѣтъ. Считаются съ твоими поступками, а никакъ не съ мыслями и словами. Вглядываясь во все, что творится кругомъ, я нахожу: право, нѣтъ ничего любопытнѣе дѣтей. Дома я часто ходилъ къ памятнику Крылова въ Лѣтній садъ, — малышей тамъ каша-кашей. Досугу въ любезномъ отечествѣ у меня бывало — ѣшь не хочу, доотвала, и бесѣдовалъ я съ молодыми поколѣніями по цѣлымъ часамъ. И смѣяться случалось, а чаще злиться: что за подлецовъ раститъ родителямъ на утѣшеніе и себѣ на пользу Россія. И вѣдь что главное, — видѣлъ я тамъ дѣтей нѣмецкихъ, французскихъ, „столичныхъ“, а гражданъ нѣтъ... Есть сыновья и дочери генераловъ, дѣйствительныхъ и всякихъ иныхъ совѣтниковъ. Превосходительныя мордашки загодя вздуваются невыносимыми пузырями, того и гляди перелопаются до принесенія надлежащей присяги и возложенія на рамена вицъ и просто мундировъ. Видѣлъ овощи отъ чреслъ купеческихъ, возлежавшихъ на лонѣ гильдейскомъ. Видѣлъ плохо вымытую мастеровщину, швейцарскихъ, кухаркиныхъ и всякихъ иныхъ, а бу-

дущихъ гражданъ вообще — ни одного. Ты сейчасъ меня поймешь, если я недостаточно ясно выражаюсь. Вѣдь вокругъ возились не одни безпанталонные младенцы, которымъ только и полагается жмуриться на солнце, пускать пузыри да тянуть губы въ трубочку. Случалось привлечь къ себѣ двѣнадцати или тринадцатилѣтній „средній возрастъ" и прощупать всю его подоплеку: о чемъ онъ думаетъ, къ чему готовится. Получишь, бывало, драгоцѣнныя свѣдѣнья, „какъ всѣ боятся ихъ папашу, у котораго ордена даже позади", или, какія у нихъ „золотыя кресла есть дома". А то вдругъ этакая надежда будущаго выпалитъ въ тебя не ждано, не гадано: „Это что генеральскія дѣти! Намъ наплевать! Тятенька захотятъ, — всѣ ихъ купятъ, потому у насъ денегъ много. Они — чиновники, и цѣна на нихъ подходящая!" Бывали и такіе: „Я какъ дядя Коля — въ жандармы пойду". Жандармовъ всѣ уважаютъ, а они никого. Лучшіе собирались въ присяжные повѣренные*). Такъ я по Лѣтнему саду никакъ будущаго земли родной гражданина найти не могъ. Ходилъ и въ другіе скверы, —тамъ немного получше, а все же такъ и видишь сословный, профессіональный и чиновный ковчегъ Ноевъ, гдѣ одни пребываютъ въ животныхъ чистыхъ, а другіе значатся и сами себя почитаютъ нечистыми. Утѣшала меня рабочая мелюзга. Та, бывало, жмется-жмется къ стѣнѣ, корежится, хмыкаетъ, сопитъ, а какъ станетъ ей невмоготу, — распалится, да и давай затрещинами и подмикитками уравниватъ сословія и состоянія. Такъ сейчасъ и соображаешь, у кого настоящая сила и смѣлость впослѣдствіи будутъ! Но и тутъ, кажется, ужъ страна у насъ передъ всячески-

*) Это было время чудовищныхъ гонораровъ за „защиты".

ми воздѣйствіями равная. Никто невѣдѣніемъ оныхъ оттовариваться права не имѣетъ, съ первыхъ звуковъ „папа и мама“ долженъ знать, что скорпіонъ есть скорпіонъ, а василискъ есть василискъ, и существованіе ихъ предусмотрѣно, узаконено штатами и соотвѣтствующими положеніями. И все-таки нѣмецъ остался нѣмцемъ, чухна — чухной, полякъ — полякомъ, еврей — евреемъ, и хоть много между ними и потомственныхъ и почетныхъ, а настоящаго русскаго гражданина, который бы симъ высокимъ званіемъ гордился, никакъ не докличешься. Ищешь-ищешь, знаешь, что по закону онъ полагается, а куда дѣвался, — не понять. Питаетъ ли, въ качествѣ мальчика, Велисарія, или ходитъ по Невскому и „самъ съ перчаткой разсуждаетъ?“ Чортъ его знаетъ! И дѣйствительные, и просто статскіе, и потомственные, и почетные — всѣ не помнящіе родства. Вѣдь какіе обручи набиты! Изъ настоящаго уральскаго нѣмецкой работы желѣза. И набивали ихъ, — молота не жалѣли, на всю вселенную гудѣла пустая бочка. А выкатили ее да налили, вся сквозь просачивается и обручи ни къ чему. Видѣлъ ты въ кузницѣ: свищутъ мѣха, раздувается полымя, громыхаетъ чугунная орясина въ наковальню, а плохъ кузнецъ, — смотришь: гвоздь-то весь разслоился, и хлопни по шляпѣ, стѣна-то цѣла, а самъ такъ и плюснетъ на плохо сбитые куски... Совсѣмъ не то тутъ.

XIII.

Вчера у насъ былъ отдыхъ.

Я было думалъ въ русскій кварталъ, а мой принципалъ-кочегаръ надѣлъ на себя панаму и говоритъ:

— Ну, ихъ! Всѣ они на одну колодку. Кому получше, — свинымъ саломъ обросъ и осатанѣлъ на бѣдноту, а кто еще безъ пуха и перьевъ, ходитъ, — ноетъ, киснетъ и плачется. Сами пирожки съ медомъ должны ему въ ротъ летать. А онъ только чавкать согласенъ.

— Куда же мы?

— А сегодня дѣтскій митингъ.

— Какой дѣтскій?

— Вотъ увидишь (мы съ нимъ здорово наканунѣ на „ты" виски цоппули, и такой у насъ весь вечеръ громъ побѣды раздавался, — чертямъ было тошно!).

— Да гдѣ это?

— Я тебя поведу. Америки безъ этого не узнаешь, какая она.

Вскочили (тутъ, братъ, не садятся, а на ходу вскакиваютъ) въ трамвай и стремглавъ, звоня на обѣ стороны, — съ дороги прочь, раздавлю! — вынеслись за городъ. А за городомъ садъ, съ такими дубами, липами и каштанами, что сквозь солнце не смѣетъ... Даже пластронъ моего кочегара — и тотъ погасъ. Тѣнь, прохлада, цвѣты. Нигдѣ надписей: „Не рвать", Кажется, свободно, а люди ходятъ мимо, и ничья рука не протянется къ стеблю. Расти, милый, на здоровье. У насъ бы изъ озорства одного поломали или пьяные запѣшешествовали бы сквозь кусты, изображая фараона въ волнахъ Чернаго моря. Ну, вотъ, дошли до

поляны, а на ней насыпано дѣтворы. Только вся она на взрослый манеръ одѣлась. Воротнички въ подбородки упираются, руки въ карманахъ, а на лицахъ — независимость такая, какъ у экзекуторовъ, забравшихъ въ руки начальство. Этакого малыша по щекѣ не потреплешь, — если не обидится, то изумится! На лицѣ отпечатается: не сумасшедшаго ли Богъ послалъ? Но въ чемъ они еще больше отличаются отъ нашихъ, — пышутъ во-всю здоровьемъ. Вымыты, чисто одѣты, румяны, смѣлы, гибки. Ни застѣнчивости ни ласкательства. Вѣдь у насъ „милыя дѣти", какъ холеные щенки, то и дѣло голову подставляютъ: „Погладь-де, я очень люблю, если по шерсти". А вѣдь кто по шерсти, тому, значитъ, дано право и противъ!

— Въ чемъ дѣло? Чего они?

— Прислушивайся.

Порядокъ образцовый. Скамьи, впереди одна отдѣльно, — на ней посрединѣ президентъ, лѣтъ тринадцати. Секретарь — на годъ поменьше, и комитетъ подходящей спѣлости.

Одинъ взъерошенный чубъ говоритъ...

Слышатся сдержанныя одобренія... Помнишь парламентскіе отчеты: «Слушайте, слушайте... Браво... Рукоплесканія»... Пока уважаемый ораторъ не кончилъ, — никто не суется...

—Видишь этихъ: въ петличкахъ крошечные американскіе флаги?

—Ну?

— Наблюдаютъ за порядкомъ. Чтобы никто не мѣшалъ...

— Полисмены?

— Да изъ своихъ же, по выбору...

— Н-ну?...

Слушаю: оказывается, въ южныхъ штатахъ въ

школахъ появились учителя и воспитатели, грубо обращающіеся съ дѣтьми. Въ Новомъ Орлеанѣ, во французскомъ коллежѣ, какой то пріѣзжій изъ Европы аббатъ пустилъ въ ходъ самое позорное, что можно придумать для американскаго гражданина — тѣлесное наказаніе...

Уважаемому оратору — не болѣе двѣнадцати лѣтъ!

Кончилъ, — всталъ другой, третій...

— Митингъ протеста?

— Да.

Говорили умѣло, увѣренно. Даю тебѣ слово, — у насъ такъ и взрослые не всегда. Ораторы приглашали собраніе («почтенное собраніе») высказаться единогласно противъ европейскаго палача, пересаживающаго на американскую почву клерикальное варварство, годное только для чернокожихъ и желтолицыхъ — это разъ. Во-вторыхъ, выработать и подписать тутъ же телеграмму съ выраженіемъ сочувствія оскорбленнымъ молодымъ джентльменамъ Нью-Орлеана. Въ-третьихъ, послать адресъ конгрессу объ изгнаніи средневѣковаго инквизитора, позорящаго «нашу великую республику».

Тебѣ не приходило въ голову: почему въ Россіи да и вообще въ старой Европѣ родители настойчиво требуютъ уваженія отъ дѣтей, а сами нисколько ихъ не уважаютъ? Не растутъ ли настоящіе граждане тамъ гдѣ съ дѣтства къ нимъ относятся какъ къ людямъ, а не къ ижицамъ, созданнымъ для соотвѣтствующаго воздѣлыванія по дѣдовскимъ примѣрамъ. Въ Америкѣ назвали бы гнусною пословицу: за битаго двухъ небитыхъ даютъ.

XIV.

Погоди, я не къ этому веду свой разсказъ.

Когда все окончилось, — мой новый другъ предложилъ мнѣ:

— Хочешь, произведемъ опросъ?

— Какой?

— Много ли здѣсь иностранцевъ?

— Не понимаю.

— Признаетъ ли тутъ кто нибудь себя нѣмцемъ, евреемъ, русскимъ?

— Какъ же ты это сдѣлаешь?

— А вотъ сейчасъ. Тутъ у меня много пріятелей... Мистеръ Абраамъ, пожалуйте сюда.

Къ намъ подошелъ курчавый и смуглый мальчикъ.

— Вотъ мой другъ, иностранецъ, занимающійся нѣкоторыми наблюденіями въ Америкѣ. Ему интересно распредѣлить васъ по національностямъ.

— Какимъ?.. Всѣ американцы.

— И вы?

Мистеръ Абраамъ нахмурился. Ужъ не смѣются ли надъ нимъ? И потомъ вызывающее:

— Да, я первый, что васъ удивляетъ? Американецъ!

— Но вѣдь вы родились въ Витебскѣ?

— Мало ли кто и гдѣ можетъ родиться, — это случайность. Важно не то, гдѣ я родился, а гдѣ и какъ я выросъ и воспитываюсь.

— И потомъ вы еврей?

— Вѣра не дѣлаетъ различія между гражданами. Я могу быть хоть язычникомъ. Развѣ это не все равно?..

— Благодарю васъ. Ну, а вашъ сосѣдъ. Вы, кажется, нѣмецъ?

— Мои родители пріѣхали изъ Германіи. А я чистокровный янки...

Мы подошли къ бѣлобрысому, голубоглазому юношѣ, лѣтъ четырнадцати. Мягкія черты лица, нѣсколько неуклюжія движенія.

— Здравствуйте, Николай Ивановичъ!

Тотъ отвѣтилъ по-англійски.

— Вотъ, наконецъ, не американецъ, а русскій!

Мальчикъ отодвинулся отъ моего друга и, вспыхнувъ, повернулся къ нему спиной. Послѣ маленькой паузы съ гордостью сказалъ:

— Въ Америкѣ нѣтъ неамериканцевъ... Мы всѣ — свободные граждане нашей республики.

— Но вѣдь Вашъ папаша русскій?

— Нѣтъ. Онъ изъ Россіи, изъ Саратова, но вотъ уже семь лѣтъ, какъ натурализовался.

— Благодарю васъ.

И какъ въ Петербургѣ я не могъ у памятника Крылова найти русскаго, а только генеральскихъ, совѣтничьихъ, гильдейскихъ дѣтей, нѣмцевъ, чухонъ, евреевъ, англичанъ, такъ здѣсь, въ этомъ собраніи старшаго и средняго возрастовъ, принадлежащаго ко всевозможнымъ типамъ цѣлаго міра, не оказалось ни одного неамериканца. Всѣ были американцы, — и ирландцы, и пруссаки, и французы. И потомки первыхъ насельниковъ Нью-Йорка и вчерашніе эмигранты. Такъ, мой далекій другъ, сплавляютъ въ одно тѣсто, ассимилируютъ свободныя учрежденія великой заатлантической республики. Теперь ты понялъ меня?

Ты спросишь: а любознательность нашихъ соотечественниковъ: кто мѣщанскій староста въ Аккерманѣ, городской голова въ Маріуполѣ, исправникъ въ Рѣжи-

цахъ? Ничего не доказываетъ! Это отцы, старики. И потомъ одинъ изъ нихъ мнѣ объяснилъ:

— Я, видите ли, прежде всего американецъ... А послѣ — русскій по происхожденію.

Никто изъ нихъ въ то же время и не забываетъ родины.

Ирландцы на борьбу за свободу своего Зеленаго Эрина шлютъ отсюда милліоны, ѣдутъ умирать за нее. Греки жертвуютъ на аѳинскія школы сотни тысячъ. Каталонцы на барселонскіе музеи сыплютъ щедрою рукою золото. Нѣмцы не отстаютъ отъ нихъ. Увѣренъ то же сдѣлаютъ и русскіе... Но они всѣ и всегда остаются американцами прежде всего.

Ты и сообрази изъ своего непрекраснаго далека, что лучше — здѣшнія школы и учрежденія или европейскіе обручи... Здѣсь изъ бочки не просачивается вино и не уходитъ въ землю...

XV.

Чувствую впередъ, что ты будешь ругаться. Я вѣдь тебѣ не писалъ два года — ты не знаешь, что тутъ я дѣлалъ все это время.

Отсюда слышу: непосѣда, бродяга и тому подобныя любезности.

Можешь считать меня, за что хочешь, но...

Помолчи минуту и пока примирись съ моимъ легкомысліемъ.

Знаешь, сколько я отложилъ, работая у растопленной печи моего паровоза?

Я вѣдь ужъ давно бѣгаю съ нимъ отъ Атлантики къ Тихому и обратно.

Вчера я внесъ въ рабочій банкъ третью тысячу. Это по-нашему (помножь на два) — цѣлый капиталъ. Отказывалъ я себѣ во всемъ, урѣзывалъ, какъ могъ. Даже фрака не сдѣлалъ, несмотря на то, что выросшій на тучной почвѣ свиноводства нѣжный американскій цвѣтокъ — миссъ Уокеръ мнѣ очень нравится, да и она, судя по тому, съ какой энергіей пробуетъ при встрѣчѣ оторвать мнѣ руку, тоже не считаетъ меня не достойнымъ вниманія трубочистомъ.

Я и мой другъ Іосифъ Гиршъ прошу любить и жаловать), проѣзжая далекимъ Западомъ, облюбовали себѣ райскій уголокъ...

„Ты знаешь ли край, гдѣ лимонныя рощи цвѣтутъ, гдѣ въ яркихъ листахъ померанецъ, какъ золото, зрѣетъ?..“ Издали пахнетъ флеръ д'оранжемъ, точно собрались тысячи невѣстъ въ подвѣнечномъ нарядѣ и соотвѣтствующихъ ихъ непорочности гирляндахъ. Съ одного апельсиннаго дерева на другое перекидываются виноградныя лозы, и сейчасъ съ нихъ свѣшиваются такіе гроздья, какіе соглядатаи принесли Іисусу Навину изъ земли Обѣтованной. (У тебя изъ Закона Божія никогда меньше двѣнадцати не было,, — значитъ, сія библейская идиллія тебѣ памятна!) Рѣчки — кристаллъ, и такъ весело смѣются и играютъ, точно расшалившіяся въ солнечный день здоровыя и сытыя дѣти. Вдали, на синихъ безоблачныхъ небесахъ — зубчатая кайма горъ. Зорями она вся зыблется розовымъ и аметистовымъ пламенемъ, а въ лунныя ночи серебрится причудливыми краями. Маисъ родится здѣсь выше человѣческаго роста. Нѣтъ такого злака, который сторицей не вернула бы благодарная земля. Заглядишься вверхъ, и зеленые вѣнцы пальмъ киваютъ оттуда, точно невидимыя руки колышутъ сотни такихъ опахалъ, какихъ не знаютъ и отродясь не ви-

дятъ ваши красавицы. Землю эту можно купить за безцѣнокъ и разбить на ней кукую хочешь колонію...

Нельзя же все для себя да для себя.

Не для того я бѣжалъ изъ Пинеги, а мой другъ изъ Аккермана, чтобы носить панамы въ двадцать пять долларовъ, пластроны ослѣпительной бѣлизны да вкладывать въ рабочій банкъ тысячу за тысячей. Надо же и совѣсть знать. Въ самомъ дѣлѣ, я такія захолустья одолѣлъ, о которыхъ ни Майнъ-Ридъ ни Густавъ Эмаръ даже и не помышляли на сплошной работѣ изводился, океаны переплылъ (такъ и понимай во множественномъ числѣ: Сѣверный и Антлантическій. Нѣмецкое море — дарю тебѣ!), и все это ради высокой радости занять подобающее мѣсто въ почетномъ ряду міроѣдовъ. Ну, нѣтъ, мы смотримъ подальше, и насъ сытое счастье не тѣшитъ. Скажу тебѣ кратко и выразительно: рѣшили мы съ Гиршемъ соединиться и создать у молочныхъ рѣкъ на кисельныхъ берегахъ русскій вольный поселокъ. Пріидите къ намъ всѣ страждующіе и обремененные, и мы упокоимъ васъ. Только одно: приносите съ собой здоровыя руки, авось, сладимся. Насчетъ души, — на охоту каждому. Здѣсь и больная окрѣпнетъ на міру, на свободномъ и общемъ трудѣ...

А съ нами ты не шути.

У меня и у Гирша теперь, братъ, по-русски, двадцать пять тысячъ рублей.

Мы такъ считаемъ:

На пять — земли и воды, а на остальное — всякихъ машинъ и матеріаловъ для постройки домовъ, школы и дорогъ... Ты засмѣешься, — мало. На большое, братъ, не диво, ухитрись хорошо да на малое... На милліоны всякая слякоть сумѣетъ, а вотъ на тысячи взбодрись, да и другихъ на дыбы поставь. Это дѣло.

Вотъ что, бросай-ка скудельную заугольщину и плыви къ нашему пирогу. Въ самомъ дѣлѣ, не ушкуйникъ ты, чтобы въ дебряхъ данниковъ Великому Новгороду собирать да чудь бѣлоглазую живьемъ лопать... Не скулобой и не зуболомъ. Силой тебя Богъ не обидѣлъ, а какъ приложишь ее къ здѣшнему Ханаану, такъ самъ изумишься, сколько изъ него благодати попретъ. И горевать надъ тобой некому. Самъ себѣ голова... Подумай, да и бѣги подъ наши пальмы...

Кстати:

Миссъ Уокеръ весьма мой планъ одобряетъ.

Не дѣлай превратныхъ толкованій. Отсюда вижу отечественныя рожи! Никакъ вы не можете такъ просто понимать дѣло и въ дружбу нашего брата съ голубоглазыми дѣвицами не вѣрите. Ну, да это на вашей совѣсти, пакостники. А только я не прохвостъ, чтобы, хотя бы и мысленно, наединѣ съ собою, простирался къ свинымъ милліонамъ.

Уильямъ Уокеръ предложилъ намъ на разводку самыхъ лучшихъ своихъ воспитанницъ.

— Такихъ, — говоритъ, — пришлю вамъ чушекъ, что въ Калифорніи ихъ и не видывали. Только на каждой выжгу тавро: „Уильямъ Уокеръ изъ Нью-Йорка“.

Видишь, какъ все складывается, — и окорока будутъ свои!

XVI.

Прошло еще два года.

Отъ Ваньки-Встаньки не было ни слова.

Я такъ и понималъ: дѣла не веселили. Мой

далекій другъ въ этомъ отношеніи оставался вѣренъ себѣ. Пока ему было скверно, онъ бился самъ и никому не заикался о злоключеніяхъ. Когда-то онъ говорилъ: „Этакая у меня шея, да чтобы я на чужую садился. Нѣтъ, ужъ горе про меня, а радость для всѣхъ". За это время и въ русскихъ изданіяхъ не встрѣчалось изъ Америки ни одной строки, которая бы мнѣ напомнила его манеру. Я ни минуты не сомнѣвался въ немъ. Зналъ, что рано или поздно, а Иванъ Ѳедоровичъ выплыветъ въ глубокую воду. Но мнѣ было ясно и то, что теперь онъ борется вовсю и некогда ему, да и не въ охоту дѣлиться изъ-за рубежа заворожками со всѣми, кого онъ звалъ къ себѣ. Проходитъ полосу „пассатныхъ" неудачъ и пока не одолѣетъ ее — не отзовется. Думалось, что ему тяжело въ одиночку. Вдолгѣ потомъ онъ разсказывалъ мнѣ, что рядомъ съ нимъ все время былъ его новый пріятель и единомышленникъ Гиршъ. „Ныть не хотѣлось, зналъ, что и вамъ не сладко!" И въ концѣ-концовъ не судьба его обломала, а онъ надѣлъ на нее хомутъ и взнуздалъ такъ, что когда я уже забылъ и думать о немъ, — вдругъ отъ него письмо. Въ его характерѣ! Такъ и начиналось: „Ай, да мы! Ау вамъ — издали! Ты, вѣрно, думалъ, что нѣтъ Ваньки-Встаньки, слопали наконецъ бродягу и выплюнули никчемною негодью. Пропалъ какъ клещъ въ собачьемъ ухѣ! Такъ бы оно и вышло, да не поддался я. Потомъ я тебѣ передамъ все, что случилось за это время, а пока — громъ побѣды раздавайся, я на ногахъ, и силы моей нисколько не убавилось. Правда, опытъ съ соотечественниками не совсѣмъ удался. Сразу-то набѣжало много себялюбивой свары и дряни, капризной ничегонедѣльщины и требовательной расплюхости, да теперь зато мы „самоопредѣлились" и мякину отдѣлили отъ пше-

ницы. Сейчасъ у насъ гоститъ миссъ Уокеръ. Спасибо ея отцу, — выручилъ насъ въ тяжелую минуту, хотя мы ему и не жаловались. На-дняхъ мы дочиста расплатились съ нимъ, и онъ прислалъ къ намъ дочь на поправку. У насъ здѣсь не климатъ, а объяденіе, и отъ нью-йоркской пневмоніи у этой милой дѣвушки ни слѣда не останется. Ужъ и теперь кашлять перестала и какъ антоновское яблоко наливается румянцемъ...

Вчера оборвалъ письмо...

Окна были растворены, и такая ночь тысячами звѣздъ смотрѣла въ нихъ, что жалко было сидѣть въ четырехъ стѣнахъ. А какъ я вышелъ, такъ сразу и задохнулся отъ счастья. Листья сверкали свѣтляками. Ручьи наперебой разсказывали намъ что-то веселое, радостное, даже птицамъ стало завидно, и онѣ вдругъ запѣли въ осыпаныхъ цвѣтами кустахъ. А ароматъ, а прохлада!.. Въ серебрянномъ лунномъ блескѣ, какъ заколдованные, чуть-чуть вздрагивали вѣнцы высокихъ пальмъ; полусонный вѣтеръ вздыхалъ въ густыхъ аллеяхъ, точно тамъ притаился кто-то и ждалъ... Наши всѣ были въ саду. Въ домѣ только плакали клавиши. Есть у насъ такой неудавшійся Рубинштейнъ. Сосіетеръ для поэзіи! Днемъ онъ, впрочемъ, великолѣпно солитъ окорока, а по вечерамъ весь уходитъ въ волшебную сказку и тоскуетъ по несбыточному, далекому и безвозвратному. Миссъ Уокеръ, вся бѣлая, какъ призракъ, мерещится подъ старыми дубами. Она со мной не говорила. Днемъ мы поссорились, и вечеромъ она дразнила меня, уходя все дальше и дальше. Потомъ сама не выдержала, подошла: „Давайте мириться“. Попробовала оторвать руку и вдругъ какъ расхохочется, да такъ, что вмѣстѣ съ нею засмѣялись и клавиши, и ручьи, и звѣзды, и деревья. Даже свѣт-

ляки — и тѣ засверкали ярче. Хорошо, братъ, на свѣтѣ, коли въ себя и въ другихъ вѣришь...

XVII.

То же и въ Америкѣ, — не все на нихъ Богу молиться! „Утопіи“, соціальныя и государственныя, живутъ только въ воображеніи поэта-философа. Въ дѣйствительности ихъ нѣтъ. Такъ и здѣсь, — не очень-то ротъ разѣвай, — того и смотри, кто-нибудь туда съ сапогами залѣзетъ. Розъ тутъ много, но и волчцовъ и терній тоже сколько угодно. На-дняхъ были и у насъ „военныя дѣйствія“, и могу сказать съ гордостью — наша комунна вышла изъ нихъ съ превеликою для себя честью: не поступилась передъ множествомъ, не подчинилась обычаю, разъ сочла его гнуснымъ. Еще и теперь не улеглись впечатлѣнія этой побѣды, и ходимъ мы, задравъ головы: ноздрями въ самое небо смотримъ. Хоть сейчасъ съ меня Суздальскаго Дибича Забалканскаго пиши — въ самый разъ! Какое дѣло обломали, — и себя не посрамили и за правду постояли! Были мы на общей работѣ, новь подымали: хотѣли попробовать сѣверныя плодовыя деревья — яблони, груши — на этой почвѣ. Правда, горяча она: самые нѣжные сорта винограду даютъ такое крѣпкое вино, что для иного сорта, пожалуй, луженая глотка понадобится. Ну, да вѣдь воды много, — попытаемся размарины, кальвили да золотыя сѣмечки къ нашему дому пріохотить, — авось, они примутся. Такъ вотъ, только что солнце стало въ зенитѣ и мы пошабашили, а наши дамы начали намъ завтракъ собирать (уокеровскія, братъ, свинки вотъ какъ оправдали себя, — дѣйстви-

тельно, пальчики оближешь: лапками вверхъ, кожа — золото, пятачки — точно просятъ: „Скушайте вы насъ скорѣе, пора намъ, хотя въ качествѣ строительнаго матеріала, въ высшія существа перейти!“) — вдругъ вдали, за рѣчушкой изъ-за лѣса — всадникъ. Неосѣдланная лошадь всѣми четырьмя лапами въ воздухѣ стелется, а на ней, уцѣпясь за гриву, какъ котъ на борзой, летитъ что-то. Бухъ въ воду, — брызги во всѣ стороны. Взлѣзъ на берегъ, сорвался съ кручи и ползетъ къ намъ на колѣняхъ. Отродясь такого ужаса на лицѣ человѣческомъ не видѣлъ! Негръ, черный вѣдь, — а тутъ точно посѣрѣлъ весь. Издали протягиваетъ руки. Хочетъ крикнуть что-то, и только въ горлѣ у него клокочетъ. Подбѣжали мы къ нему, подняли.

— Что съ вами, въ чемъ дѣло?

— Разѣваетъ пасть, — видимо, силится сказать.

Облилъ я его водой, встряхнулся онъ, какъ песъ, обернулся назадъ и показываетъ туда, откуда пріѣхалъ.

— Да что случилось?

— Они... они... Скоро... здѣсь..

— Кто они? что скоро?

— Вѣшать меня... Ради Христа, Которому я служить готовился, спасите... Спасите...

Сообразилъ я: судъ Линча.

— За что?... Говорите толкомъ.

Задыхается... Слова глотаетъ... То они вылетятъ залпомъ, то вдругъ въ глоткѣ застрянутъ, и онъ мучится, хрипитъ, давится. И все больше и больше сѣрѣетъ.

— Я слышалъ, что тутъ... Не американцы... Русскіе... Русскіе и бѣднаго негра за брата, — простите, ой, простите, не за брата, — но все жъ и не за звѣря считаютъ... И я къ нимъ... къ вамъ... Спасите..

— Въ чемъ васъ обвиняютъ?

— Будто я оскорбилъ бѣлую дѣвушку... Клянусь Богомъ, неправда... Могъ ли я, студентъ богословскаго факультета... Вѣдь я пасторомъ хотѣлъ... Для своего народа... Для замученныхъ, презрѣнныхъ. Не только руку... глаза поднять на миссъ. Я ея и не видѣлъ никогда...

И столько горя и правды звучало въ его голосѣ, выражалось во всемъ его судорожно бившемся тѣлѣ, въ глазахъ, шарами выкатывавшихся наружу, что мы всѣ, сколько насъ тутъ было, повѣрили.

— Успокойтесь... Все, что можемъ, сдѣлаемъ.

Онъ опять бухъ о землю и ноги наши ловитъ... Только миссъ Уокеръ, вѣдь какая милая, а тутъ показала себя по отношенію къ цвѣтной кожѣ настоящей американкой.

— Сейчасъ прискачутъ шерифъ и кавбои, — охота вамъ связываться съ негромъ. Если не хотите сами его повѣсить, — пусть бѣжитъ куда глаза глядятъ. А то еще лучше: вздернемъ его мы! Черная кожа всегда виновата!..

— Ну, по-нашему, не такъ...

Не успѣли мы отвести негра въ домъ, видимъ — вдали изъ-за лѣса черныя точки. Одна за другой въ полкруга растянулись и стремглавъ къ намъ... Еще и разобрать нельзя, что это, а точно вой оттуда... Такъ и садится въ ухо. Посмотрѣла туда миссъ Уокеръ.

— Вотъ что, сейчасъ выдайте имъ негра!..

— Ни за что!

— Это ваше рѣшеніе? Да?..

— Да.

Сверкнула глазами.

— Тогда пусть всѣ, даже женщины, вооружатся!... Хватитъ ружей?

— Еще бы!..

— Я возьму свой винчестеръ.

И въ видѣ послѣдней уступки предразсудкамъ великой республики:

— Изъ-за вонючаго негра! Никогда не воображала!..

Бросились мы домой... Богословъ въ корчахъ по полу валяется. Заперли мы его, захватили ружья — и къ рѣкѣ. Насъ пятнадцать человѣкъ, а тамъ точекъ этихъ, пожалуй, и всѣ пятьдесятъ...

Домъ и садъ у насъ обнесены палисадомъ и изнутри лѣстницы къ нему. Тутъ на все надо быть готовымъ. Такая страна, только что Марлинскаго недостаетъ, а то романы приключеній на каждомъ шагу!

Миссъ Уокеръ, точно мы ее начальницей выбрали, крикнула:

— За заборъ всѣ... Здѣсь останутся я и мистеръ Джонъ. Будьте наготовѣ.

Мистеръ Джонъ — это я.

Со всѣхъ сторонъ всадники въ рѣку. Вся запѣнилась... Брызги — брильянтовыми фонтанами. Лошади фыркаютъ, храпятъ, люди съ какимъ-то пронзительнымъ визгомъ гонятъ ихъ на берегъ...

Мы — навстрѣчу.

Одинъ изъ ихнихъ впереди.

— Мистеръ Смитсонъ! А это ваши сосѣди изъ новаго города Маріенстона.

Я приподнялъ шляпу.

— Мы преслѣдуемъ негра...

— За что?

— Пытался завладѣть бѣлою дѣвушкой... Миссъ Книгсли... Дочерью вотъ этого достопочтеннаго нашего согражданина. Негръ у васъ, ему дальше некуда было уйти. Да вотъ и лошадь...

— Что вы съ нимъ хотите дѣлать? Судить?

— Нѣтъ, мы уже его осудили...

Оглянулся — на берегу большое дерево... Одинъ сукъ торчитъ отдѣльно.

— Вотъ это какъ разъ. Эй, Іеремія!... Приготовь веревку — перекладина есть.

— Вы, кажется, собираетесь повѣсить негра?

— Да. Если это только кажется, я за него не дамъ и пяти центовъ. Іеремія, намочи веревку...

— Погодите... Вамъ извѣстно, что вы сейчасъ на нашей землѣ?

— Какъ же...

— И знаете, что бѣжавшій просилъ у насъ защиты и покровительства?

А изъ дому, — спаси, Боже, люди Твоя!... Вопіетъ богословъ! Совсѣмъ послѣдній разумъ потерялъ. Точно его уже въ петлѣ тащать.

— Это онъ?

— Да.

— Защита и покровительство не могутъ быть оказаны чернокожему противъ бѣлаго.

— Вы произвели слѣдствіе?

— Мы выслушали миссъ Книгсли.

— А негра опросили? Онъ вамъ сознался?

— Опрашивать негра? Миссъ пожаловалась вчера... А сегодня, мы видимъ, это грязное животное идетъ по улицѣ...

— А можетъ-быть, не онъ.

— Всѣ они на одну стать. Кому же, какъ не ему. Мы только одного видѣли.

— Вамъ извѣстно, что онъ — студентъ богословскаго факультета и готовится быть пасторомъ?

— Хоть чортомъ. Это до насъ не касается. Черный долженъ быть повѣшенъ. Можетъ тамъ молиться

своему Богу. Если, впрочемъ, для нихъ есть вѣчная жизнь, чего я не думаю, ибо въ Евангеліи о нихъ ничего не сказано.

— Законъ Линча не терпитъ никакихъ противорѣчій.

— Вы здѣсь новички, и мы вамъ не совѣтуемъ мѣшаться въ это дѣло.

— Я, — крикнулъ изъ-за забора Гиршъ, — не новичокъ, а американскій гражданинъ.

— А я — американка Элли Уокеръ...

— Значитъ, вамъ и объяснять нечего: нашъ приговоръ долженъ быть исполненъ сейчасъ, на мѣстѣ.

Я засмѣялся. Что-то точно угаромъ поднялось во мнѣ.

— Вотъ что мистеръ шерифъ: мы обязываемся доставить негра въ вашъ законный судъ по первой законной повѣсткѣ.

„Западные молодцы", точно по нимъ однимъ бичомъ ударили.

Одинъ даже прыгнулъ на меня — да прямо переносицей на мой кулакъ наткнулся, ты вѣдь знаешь, у меня на этотъ счетъ практика старая!

— Не совѣтую продолжать въ этомъ же родѣ. А если хотите, снимайте куртки и пожалуйте, я къ вашимъ услугамъ.

— Вы знаете, что вы дѣлаете?

— Да, мы не дѣти...

— Отъ вашего гнѣзда не останется и головешекъ. Мы хлыстами выгонимъ васъ отсюда, а домъ сожжемъ до тла.

— Попробуйте!...

— Эй, товарищи, — обернулся шерифъ. — Сюда.

— Братцы, — обернулся я. — Покажите имъ ваши ружья. Да цѣльте вѣрнѣе.

Изъ-за палисада выдвинулось четырнадцать дулъ.

— Готовься!

И вышло бы сейчасъ великое несчастье, да помощь пришла, откуда я и не ожидалъ ея.

Кто-то толкнулъ меня, и вдругъ передо мной лицомъ къ лицу къ шерифу стала миссъ Уокеръ.

Никогда я не видѣлъ ея такой.

Глаза у нея загорѣлись, какъ у кобчика. Вся она вспыхнула, точно солома въ огнѣ, и когда заговорила, я усомнился, — она ли? Такимъ металломъ зазвучалъ ея голосъ.

— Стопъ! Давно ли мужчины въ Америкѣ позволяютъ себѣ грозить другъ другу хлыстами и ружьями въ присутствіи дѣвушекъ? Или на Дальнемъ Западѣ,— трусы, только потому, что они въ большемъ числѣ, забываютъ уваженіе, которымъ они обязаны женщинѣ? Позоръ на ваши головы — отойдите прочь отсюда и пришлите кого-нибудь повѣжливѣе и повоспитаннѣе, съ кѣмъ я, миссъ Элли Уокеръ изъ Нью-Йорка, президентша республиканскаго союза и дочь извѣстнаго вамъ Уильяма Уокера, могла бы разговаривать... А съ вами я не хочу. Вы не свободные граждане, а сорвавшіеся съ цѣпи бѣшеные псы...

Я въ восторгъ пришелъ и отъ нея и... ты не повѣришь! — отъ шерифа.

Онъ вдругъ снялъ шляпу.

—Извините миссъ, что сгоряча, встрѣченные такъ, какъ насъ принялъ этотъ джентльменъ, я позволилъ себѣ выйти изъ себя. Но мы, американцы, не можемъ допустить, чтобы пришельцы въ нашей землѣ позволяли себѣ не только не уважать наши обычаи, но и мѣшать исполненію приговоровъ, единогласно поставленныхъ гражданами города Маріенстона.

— Пришелецъ правъ... Это не приговоръ... Вы не

выслушали обвиняемаго, не показали его обиженной дѣвушкѣ.

— Но онъ негръ!

— Я знаю... Я сама ихъ не люблю... но... но.. даже и къ негру надо быть справедливымъ! — И вѣрно, злясь сама на себя за то, что она тоже вступается за презрѣнную цвѣтную расу, вдругъ крикнула на меня:

— Прикажите своимъ опустить ружья... да и вамъ нечего кулаки сжимать...

XVIII.

Я ужъ было думалъ, что все кончится благополучно, но не принялъ въ расчетъ двухъ, чисто американскихъ, особенностей: настойчивости въ преслѣдованіи разъ намѣченной цѣли, особенно когда она является для нихъ справедливой и нравственной, и ненависти къ черным. Они терпятъ ихъ какъ лакеевъ, работниковъ на плантаціяхъ, но чуть только негръ захочетъ выдвинуться изъ опредѣленнаго ему заколдованнаго круга, — кончено. Его претензіи кажутся наглыми и возбуждаютъ общее негодованіе. Такъ вышло и на сей разъ.

Миссъ Уокеръ объяснила мнѣ:

— Вы сдѣлали большую ошибку.

— Напримѣръ?

— Зачѣмъ вы имъ сказали, что это студентъ?

— Да какъ же иначе? Не могъ же будущій пасторъ да еще отъявленный трусъ, — слышите, какъ онъ воетъ? —въ Маріенстонѣ, въ городѣ, оскорбить бѣлую дѣвушку.

— Могъ или не могъ, — другое дѣло, но они его повѣсятъ.

Я засмѣялся.

— Чему вы?

— Для этого надо пройти черезъ наши трупы...

Миссъ посмотрѣла на меня съ плохо скрытымъ восторгомъ. Впрочемъ, сейчасъ же поправилась:

— Изъ-за негра?

— Изъ-за чего бы то ни было! Разъ мы считаемъ это справедливымъ...

Всадники отошли въ сторону и тоже совѣтовались. Впрочемъ, недолго.

— Мы вамъ даемъ два часа времени.

Вернулся шерифъ.

— А потомъ?

— Если негръ не будетъ намъ выданъ головою или вы не повѣсите его сами, то мы сожжемъ вашъ домъ, вытопчемъ плантацію, а тѣхъ, кто уцѣлѣетъ изъ васъ, вздернемъ на эти деревья.

— За два часа я очень вамъ благодаренъ, но вы напрасно такъ щедры. То, что мы сказали, повторимъ хоть завтра. Негръ будетъ доставленъ нами въ законный судъ, по законной повѣсткѣ, а до тѣхъ поръ онъ — гость подъ нашимъ покровительствомъ, и такого мы будемъ защищать, пока изъ насъ живъ хоть одинъ.

— Вы смѣетесь надъ нами?..

— Меньше всего на свѣтѣ.

— Вы не признаете за нами нашего права... Миссъ, прошу васъ удалиться... Сейчасъ начнутъ разговаривать мужчины... Или пожалуйте къ намъ, и я вамъ обѣщаю самую почтительную охрану вашей особы, или идите въ этотъ домъ... Я постараюсь въ разгромѣ сохранить вашу жизнь.

— Стоитъ ли негръ, чтобы изъ-за него гибло столько храбрыхъ людей.

— Миссъ, мы можемъ быть перебитыми до последняго, но настоимъ на нашемъ правѣ.

„Ну, — думаю, — Ванька-Встанька, и заварилъ же ты кашу. Какъ-то ее расхлебаешь?“ Всматриваюсь въ лица шерифа и всѣхъ этихъ маріенстонцевъ съ нимъ, — и чортъ знаетъ, какъ они мнѣ нравятся: правильный народъ. Что захотятъ, — сдѣлаютъ, хоть тычь имъ самого Вельзевула въ зубы. Глаза спокойные, никакихъ колебаній въ лицѣ. Думаю, вотъ такъ же они будутъ цѣлить по нашимъ головамъ за палисадомъ. И вѣдь я знаю ихъ манеру мѣтить прямо въ глазъ... И досадно. Мнѣ бы ихъ имѣть рядомъ, а не противъ себя, то-то мы бы чудесъ надѣлали! Любуюсь ими и по взглядамъ шерифа вижу, что и они хоть и вздернутъ тѣхъ изъ насъ, кто уцѣлѣетъ, а мы имъ тоже по душѣ пришлись, и гораздо было бы имъ пріятнѣе выпить съ нами нашего молодого вина за общее здоровье, а не обмѣниваться свинцовыми жуками... А потомъ вспомнилъ я наше далекое отечество. Вотъ бы туда по-больше такихъ, совсѣмъ бы по-иному дѣла у насъ пошли. Не было бы этой слякоти слизкой, на которой только носъ себѣ квасишь и самъ сырѣешь такъ, что будь хоть сколько угодно пороху въ душѣ, а никакъ ему не вспыхнуть. Только будетъ куриться да воздухъ портить...

И онъ вдругъ подходитъ.

— Пока что, намъ обоимъ, какъ порядочнымъ людямъ (джентльменамъ), можно пожать руки другъ другу. Мнѣ такіе, какъ вы, нравятся. Жаль, что придется сейчасъ дырявить намъ ваши черепа, а вамъ наши... Сколько у васъ ружей?

— Двадцать найдется...

— Все „винчестеры?“

— Да.

— Стрѣляютъ хорошо, нужно только мушку держать пониже. Я предпочитаю карабины. Они легче. Вы, должно-быть, отличный стрѣлокъ?

— Ничего.

— Это видно... У васъ такіе глаза... Пули у васъ на звѣря,— надрѣзаны?

— Да.

— Раны будутъ ужасны. Мы тоже надрѣзываемъ... У васъ вкось?

— Нѣтъ, поперекъ.

— Такая, знаете, въ тѣлѣ распластывается. Хоть на дальнія разстоянія это нехорошо. Впрочемъ, тутъ близко... Не болѣе двухсотъ шаговъ будетъ.

Совсѣмъ академическій разговоръ, — точно мы зрители, а не дѣйствующія лица.

— Что же начнемъ? — предложилъ я.

— Нѣтъ. Мы рѣшили два часа... У васъ хорошо принимается виноградъ?

— Да... Тотъ, который прежде росъ, не годится. Мы достали лозы изъ Техаса. Эти лучше. Вино вкуснѣе...

Вы его выдерживаете въ глиняныхъ кувшинахъ или въ бочкахъ?

— Въ бочкахъ.

— Въ кувшинахъ крѣпче... А что у васъ за деревья? Положимъ, пока чуть видны...

— Наши сѣверныя: яблоки и груши.

— Второй годъ?

— Да... Плохо растутъ.

— Для нихъ слишкомъ жирна почва... Если вы уцѣлѣете, — я вамъ дамъ хорошій совѣтъ: смѣшайте подъ ними землю съ пескомъ. Лучше примутся.

— Благодарю васъ... Жалко, что намъ придется сначала драться, а то бы я пригласилъ васъ попробовать нашего вина.

— Двухгодичное здѣсь еще нехорошо... Мы предпочитаемъ хересъ и опорто изъ Санъ-Франциско. Черезъ Шанхай его везутъ... Чѣмъ дольше оно идетъ моремъ, тѣмъ крѣпче и ароматнѣе... И жаритъ же солнце!

А оно какъ разъ въ это время шло на западъ. И жгло косыми лучами такъ, что ковбои и маріенстонцы отвели лошадей въ тѣнь и сами разлеглись тамъ. Одинъ изъ нихъ вынулъ гитару и забренчалъ на ней что-то, другой тихо и нѣжно запѣлъ ему въ тонъ. Идиллія, да и только!.. Я тоже ушелъ въ садъ. Цвѣты пахли во-всю. Пчелы гудѣли въ осыпанныхъ бѣлымъ пухомъ деревьяхъ, какая-то птичка чиликала въ вершинѣ пальмы... И сама эта пальма ласково кивала мнѣ пышнымъ вѣнцомъ... Неужели еще нѣсколько, и весь этомъ міръ тепла, свѣта, красокъ и звуковъ навсегда закроется для меня... Мимо пролетѣла большая зеленая муха, и мнѣ пришло въ голову, что, можетъ-быть, эта самая будетъ ползать по моему глазу, и я даже не моргну... Не придется и домой вернуться, чтобы послужить далекой родинѣ!.. И вдругъ... Кто-то коснулся моего плеча. Чуть коснулся, но меня такъ и повело... Оглянулся. Миссъ Уокеръ.

— Я хотѣла вамъ сказать... Богъ знаетъ, увижу ли я васъ черезъ два часа...

Тутъ, милый другъ, я ставлю точку.

О чемъ мы съ ней говорили, — касается только ее и меня, и да благословенна будетъ земля, пріютившая насъ въ эту минуту, деревья, давшія намъ тѣнь, и глубина небесная, которая въ сравненіи съ

моимъ счастьемъ казалась такой малой, блѣдной и холодной...

XIX.

Мы говорили такъ тихо, что не спугнули даже змѣю, которая чистымъ золотомъ горѣла на камнѣ шагахъ въ двадцати... Она то и дѣло поднимала головку, шипя на что-то и грозя раздвоеннымъ языкомъ, трепетавшимъ, точно онъ касался чего-то невидимаго въ горячемъ воздухѣ... Мы говорили такъ тихо, что выстрѣлъ, прогремѣвшій оттуда, ударилъ мнѣ по нервамъ, какъ нежданный громъ.

— Это сигналъ... Пора!

Пожали руки другъ другу.

— Помните, что я сказала вамъ!...

— Развѣ такое забываютъ?

Я далъ ей уйти въ домъ. Посмотрѣлъ въ послѣдній разъ, какъ въ темномъ четыреугольникѣ дверей обрисовалась ея тонкая фигура...

— Иванъ Ѳедоровичъ, пора...

Смотрю: Гиршъ зоветъ меня съ лѣстницы у палисада.

— Что это негръ не воетъ?

— Я его, подлеца, въ погребъ заперъ. А то онъ бы всѣ нервы у насъ размоталъ.

— Ну, Гиршъ, и влопались мы въ исторію.

— Да...

— Но вѣдь ты согласенъ, иначе мы поступить не могли?

— Человѣкъ умираетъ только разъ. И знаешь, —

я замѣчалъ на больныхъ, — за жизнь цѣпляются только подлецы.

— Такъ что эта черная морда?..

— Трусъ сверхъестественный.

Не успѣлъ я забраться на ступени, смотрю: маріенстонцы уже всѣ на лошадяхъ... Гиршъ взялъ свою шапку и поднялъ ее чуть-чуть на дулѣ... Мгновеніе — и она была пронизана нѣсколькими пулями. Позади зашуршали деревья, съ которыхъ эти выстрѣлы сбили листву и вѣтви. Точно зеленые обрывки посыпались на нашу крышу. Выглянулъ было я въ щель и ахнулъ. Ни одного ковбоя... Давъ по насъ залпъ, они перекинулись съ сѣделъ набекрень, уцѣпившись одною рукою каждый за шею своей лошади и вытянувъ ноги со стременемъ... Если бы мы имъ отвѣтили, — ни одна наша пуля не попала бы въ цѣль... А потомъ отъѣхали, кони легли, и „джентльмены“ припали къ землѣ за ними.

— И молодцы же, — одобрилъ ихъ Гиршъ.

— Еще бы...

— А знаешь, что я нахожу?

— Ну?

— Сейчасъ гораздо лучше на моемъ паровозѣ...

Я засмѣялся и невольно подался въ сторону... Въ щель, куда я только что смотрѣлъ, впилась пуля. Нужно отдать справедливость нашимъ. Ни въ комъ я не замѣтилъ страха... Какъ потомъ оказалось, дамы въ домѣ тоже не теряли времени и готовили перевязки на случай, если будутъ раненые.

Скоро все кругомъ наполнилось трескомъ выстрѣловъ, жужжаніемъ и свистомъ пуль, то сбивавшихъ цвѣты съ персиковыхъ деревьевъ, то съ противнымъ чмоканьемъ впившихся въ дерево палисада. Я замѣтилъ слабость противника злоупотреблять безвредными

выстрѣлами. У насъ палисадникъ изнутри обитъ тонкими желѣзными листами, и маленькіе карабины были безсильны пронизать эту обшивку. Мы отвѣчали мало, и, насколько можно было замѣтить, у противника до сихъ поръ были подбиты только двѣ-три лошади. Солнце уже заходило. На горизонтѣ, тамъ, гдѣ синѣла въ его золотомъ морѣ зубчатая кайма Калифорнійскихъ горъ, розовые лучи раскидывались сегодня съ такою роскошью свѣта и красокъ, что даже странной казалась мысль о смерти... Ковбои въ это время молодечествовали. Подымали коней, вскакивали на сѣдла и, перевернувшись подъ животъ лошади, проносились мимо ограды съ такимъ визгомъ, что онъ точно буравилъ наши барабанныя перепонки... Черти настоящіе! А знаешь, — я тебѣ покаюсь. Вѣдь что безобразнѣе: люди бьютъ другъ друга, Богъ знаетъ изъ-за чего, а на душѣ весело! Проснулся ли во мнѣ воинственный духъ старыхъ запорожцевъ Встанекъ, прославившихъ себя набѣгами въ Туретчину и Польшу, всплыли ли изъ тумана впечатлѣнія далекаго дѣтства на Кавказѣ, когда я ребенкомъ просыпался отъ трескотни лезгинскаго налета на нашу крѣпостцу, — не знаю... А только я, — свинья-свиньей, — вдругъ озвѣрѣлъ и давай уже по-настоящему, не жалѣя себя, бить по людямъ...

И случилось бы великое горе!

Потому что, какъ-никакъ, а весь этотъ героизмъ орѣховой шелухи не стоитъ въ сравненіи съ настоящими битвами жизни... Любой землекопъ, котораго каждую минуту въ ночной тьмѣ можетъ засыпать сдвинувшаяся съ мѣста руда или задушить газъ, внезапно пронизавшійся въ невидимую скважину, — больше герой. Я уже не говорю о бѣднякахъ, что каждою мышцей, каждою мыслью борются съ нищетой. Вѣдь

для нихъ вся жизнь, —долгая и мучительная, —сплошной Малаховъ курганъ, съ тѣмъ различіемъ, что ихъ никто за это не славитъ и никакихъ наградъ имъ не даетъ, кромѣ одной: первой и послѣдней —смерти.

Да, случилось бы великое горе...

Но вмѣсто него совершилось чудо.

Далеко-далеко сквозь грохотъ нашей дурацкой перестрѣлки и свистъ пуль послышался странный звукъ: кто-то оттуда, —не то въ рупоръ ревѣлъ, не то трубилъ въ большой мѣдный рогъ. Сумерки, синія и прозрачныя, окутывали дали. Въ небесахъ, чистыхъ, какъ душа миссъ Уокеръ проступали звѣзды... Надъ деревьями стоялъ серебристый паръ, а на утесахъ далеко-далеко погасающимъ пурпуромъ отгоралъ прощальный свѣтъ. Пурпуръ густѣлъ, лиловѣлъ и подергивался, точно крыло сойки, сизою тѣнью. Опять этотъ странный звукъ... Еще и еще... И, точно разбѣгаясь отъ него, все рѣже и рѣже дѣлались выстрѣлы и совсѣмъ смолкли.

Смолкли и мы.

„Что случилось?“ думаю...

Ночная синь гуще... Звѣзды ярче. Съ востока тянетъ прохладой, въ тишинѣ вдругъ проснулись и зазвенѣли цикады...

—Эй...

Слышу голосъ шерифа.

—Не стрѣляй... Слуш-а-а-й...

„Еще что?“ думаю. Всталъ я во весь ростъ.

—Вѣсти изъ Маріенстона.

—Подавились бы вы съ вашимъ слюнявымъ городишкой.

—Добрыя вѣсти... Выходите... Мистеръ Станьки, намъ не изъ-за чего драться!

Что за балетъ! Палили, палили, —и будто все

это нарочно, для какой-то и невѣдомо гдѣ присутствующей публики... Паршивцы! Даже Гиршъ, и тотъ: „Трагедія-то, — говоритъ, — кажется, водевилемъ разрѣшается... Мнѣ и на паровозъ не надо“.

Заскрипѣли ворота...

Вижу: всѣ тамъ въ сборѣ, идутъ къ намъ, и ни у кого ружья нѣтъ... Съ пустыми руками.

Въ толкъ ничего не возьму...

— Мистеръ Станьки. Сейчасъ прискакали гонцы изъ Маріенстона.

— Ну?

— Вы были правы.

— Чего еще?

— Настоящій виновникъ найденъ. Его наши собаки разнюхали въ разливахъ Рію-Гранде, въ камышахъ. Охотники выгнали его оттуда бичами и бичами же полосовали до самаго города... А въ городѣ его сейчасъ же по шраму на щекѣ и кривому плечу узнала оскорбленная миссъ. Вашъ черный можетъ выйти свободно...

— А что вы сдѣлали съ тѣмъ негромъ?

— Э, пустяки.

— Повѣсили?

— Стоило!

— Пристрѣлили?

— Нѣтъ. У насъ подъ городомъ угольныя ямы горятъ.

— Ну?

— Такъ мы его туда швырнули...

XX.

Вошли они къ намъ.

И пьютъ же подлецы! Три лучшихъ уокеровскихъ окорока слопали, нѣсколько банокъ съ вареньемъ. Американцы вообще сладкоѣшки, а потомъ какъ налегли на наше вино! Точно у нихъ пожаръ внутри, да какой — двадцатью кишками не залить. Гиршъ и то предложилъ: давай ихъ накачивать ромомъ просто, а то отъ нашихъ высшихъ сортовъ однѣ бочки да кувшины останутся. А потомъ они — подъ гитару плясать, а какъ нашъ Рубинштейнъ засѣлъ за клавиши, — перебѣсились маріенстонцы. „Давно, — говорятъ, — такого не слышали. Это только у Бога на небесахъ подобная музыка“. Нашли гдѣ-то шапку и давай ему, нашему музыкусу, золото сыпать. Тотъ, разумѣется, отказался, сосіетеръ вѣдь. „Вотъ, — говоритъ, — пріѣду къ вамъ концертъ давать, тогда дѣло другое, — ограблю, а теперь пользуйтесь даромъ“...

А чувство справедливости все-таки сильно въ американцѣ!

Выволокли мы изъ погреба нашего негра. На колѣни онъ. Ну, умираетъ, да и только.

Шерифъ первый:

— Джентльмены, его надо вознаградить.

— Ты бѣденъ? — спрашиваютъ.

— Да, я чтобы курсъ кончить, на всякую работу нанимаюсь лѣтомъ...

— Такъ... Ну, благодари судьбу, что мы тебя не повѣсили. Теперь бы ты тамъ (перстъ въ потолокъ) экзаменъ держалъ. А вотъ это получай себѣ.

И всю шапку съ деньгами, которую нашему Рубинштейну хотѣли, — ему.

Я думалъ, будущій черномазый пасторъ покажетъ благородство души — откажется.

Представь себѣ, какая свинья — вѣдь взялъ! Да еще какъ подличалъ.

— Этого, — говоритъ, — мнѣ до конца довольно... Теперь и лѣтомъ учиться могу.

Я хотѣлъ было пнуть ногой скотину, да миссъ Уокеръ вмѣшалась.

— Чему вы удивляетесь. Они дѣйствительно виноваты и потому должны ему заплатить.

— Такъ развѣ за такое деньгами разсчитываются?

— А то какъ: за все деньгами. Зависитъ отъ суммы.

И насвистались же мы въ эту ночь.

То-есть, знаешь, на другой день я съ трудомъ припоминаю: дѣйствительно ли я плясалъ камаринскую имъ и пѣлъ русскія пѣсни, или мнѣ это снилось? А бородатый шерифъ танцовалъ ли за даму съ Гиршемъ? Славные малые... Но какъ пьютъ, какъ пьютъ! Ты помнишь разсказъ о русскомъ купцѣ въ Гамбургѣ. Куда ему, дураку, такъ. Не нутро у нихъ, а какіе-то кладези высохшіе. Но въ одномъ нельзя не одобрить, — допились до того, что почтенный маріенстонскій судья почему-то пожелалъ исполнить кэй-куокъ на крышѣ... И вѣдь взлѣзъ и исполнялъ! А другой, не менѣе достоуважаемый банкиръ этого города, вдругъ вообразилъ себя первобытнымъ человѣкомъ, всцарапался на дерево и заявилъ, что онъ отъ сихъ поръ иначе спать не согласенъ, и если бы не свалился оттуда, — пожалуй, его бы до утра не вызволить... Третій ушелъ за загородку нашу и тамъ, на полянѣ, при лунномъ свѣтѣ держалъ безконечную рѣчь воображаемой аудиторіи о вредѣ пьянства. Онъ, видишь ли, оказался президентомъ

мѣстной лиги трезвости. И все-таки никто не позволилъ себѣ никакой грубой выходки, которая могла бы оскорбить присутствовавшихъ леди. Напротивъ, въ потемкахъ сплошнаго угара стоило войти такой, — и мгновенно ты бы не узналъ угорѣвшаго! И вотъ,, благодаря всему, что я тебѣ разсказалъ, наша колонія вдругъ сдѣлалась другомъ всему Маріенстону. Теперь насъ не разольешь... Но какъ пьютъ, Господи, какъ пьютъ! Знаешь, видалъ я отечественныя губки, но куда! Не понимаю, какъ у нихъ изъ глотокъ паръ не шелъ. Это не просто пьяницы, а монбланы! Вѣдь ужъ, кажется, было отъ чего... И вѣдь что замѣчательно, — на ногахъ точно трость, вѣтромъ колеблемая, а какъ всползли на сѣдла, — точно приросли, и вихремъ домой.... Какъ пьютъ, какъ пьютъ! Всѣ реккорды побили! Убѣжденъ, что если бы даже сапоги ихъ выжать, — потекло бы вино... Ужъ, кажется, насосались, а когда я хотѣлъ негра за общій столъ, — чуть опять до драки не дошло. Едва успокоилъ я этихъ чемпіоновъ.

XXI.

Ты спросишь меня, какъ мы здѣсь устроились? Обо всемъ тебѣ писалъ, даже о неудавшемся судѣ Линча, а о главномъ — ни строки. Надо тебѣ сказать правду, — на первыхъ порахъ было очень трудно обладиться. Обыкновеннымъ эмигрантамъ легче: народъ простой и къ землѣ привыкшій. Имъ вполгоря! Ну, а намъ, — сдѣлай одолженіе! Пока холеныя руки научатся грядки копать, — навозишься! Кто помалодушнѣе или къ легкому хлѣбу душой приросъ, — ушелъ еще въ

самомъ началѣ. Лоботрясовъ и лодырей тоже было не мало. Пріѣдетъ, — ахъ да охъ! Этакое великое дѣло, да мы — первые піонеры, да такой благодатью не воспользоваться!.. — и пойдетъ и пойдетъ. Лирика, да и только. А какъ утромъ поставишь піонера хотя бы ростки окопать да полить, — чего легче! — ну, онъ и смокъ и увялъ. Недѣлю другую крѣпится, а потомъ и начнетъ бунты. И это не по немъ, и то у насъ скверно. А въ концѣ-концовъ: „Чортъ знаетъ, что! Да у меня мозги запорошило. Я поглупѣю тутъ!“ И сейчасъ поворотъ отъ воротъ. „Дайте на выходъ, а я сейчасъ обратно, умственнаго труда искать.“ Такъ его и припасла Америка для всякой грамотной перхоти, пріученной растить свое бѣлое брюхо на народныхъ кормахъ! Да и тѣ, что остались, — на первыхъ порахъ, точно новобрачные, все примѣривались да ссорились, пока не облокотились другъ о друга. Теперь углы стерлись. Никто никому локтемъ въ бокъ не лѣзетъ. Лбами не стукаются. Еще и синяки не зажили, а ужъ поняли, въ чемъ, собственно, тайна настоящаго общежитія. Взаимное уваженіе выросло, сообразили, что нельзя свое „я“ товарищу подъ ноги подставлять. Лети-де вверхъ пятками и квась себѣ носъ, а я черезъ тебя перескочилъ, да и былъ таковъ. Ты еще кровь съ образа и подобія смываешь, а я ужъ вонъ гдѣ. Это вовсе не такая легкая вещь, — дружная и общая работа. И нашъ мужикъ въ общинѣ своей семьей клочокъ землицы обрабатываетъ. На бумагѣ все хорошо, а на дѣлѣ надо умѣть иногда и поступиться собою, да и, во всякомъ случаѣ, не самому расправляться, а подождать вечера и большинство голосовъ получить. Это я и называю углами, которые надо было стереть. Теперь зато отлично. Даже такъ, что лучше и не надо. Знаемъ и цѣнимъ людей

постольку, поскольку они этого стоятъ. Другъ у друга въ зубахъ не вязнемъ, куръ въ орлы не рядимъ, да и орловъ въ куриныя клѣтки не сажаемъ. Каждый за всѣхъ, всѣ за каждаго. И такъ спѣлись, какъ никакому хормейстеру не удастся сдѣлать этого съ заправскими горлодерами, хоть обрабатывай онъ камертономъ ихъ лбы до изнеможенія. Теперь по вечерамъ нашему товарищескому суду и дѣлать нечего. Всякій знаетъ свое и не только умомъ, но и сердцемъ чувствуетъ, что за его бездѣльничество и ротозѣйство другіе рядомъ платятся. Не можешь, усталъ, — скажи и уходи. Дѣло по душамъ, никому и въ голову не придетъ придраться. Особливо съ дамскимъ поломъ. На первыхъ порахъ, братъ, такія растопхайки къ намъ залетали, — въ родѣ извѣстной уже тебѣ двоеженки. Явится драная калоша, рукъ ни къ чему приложить не умѣетъ, а претензій до рвоты. Такъ и скажи: не умѣю-де, — мы научимъ, и не только научимъ, но и подождемъ. Нѣтъ, она, шельма, къ чемпіонамъ привыкла, чтобы всѣ за ней вперегонку — кто на полголовы впередъ выскочитъ, тотъ и владай сусальнымъ сокровищемъ. „Я вамъ не кухарка или не горничная. У меня у самой дома судомойки были, — стану я ваши тарелки перетирать". И вдругъ, ни съ того ни съ сего, и скажется дворянская подоплека: „Да мой папаша васъ бы и въ переднюю не пустилъ, на крыльцѣ бы у него настоялись". И вѣдь никакая житейская муштра въ союзѣ съ умною книгой ихъ не передѣлаетъ. Снаружи какъ будто и ничего, а въ потрохахъ сидятъ помѣщичьи дрожди. Сама пришла, не просилъ никто, а мы почему-то должны на густопсовку эту Богу молиться. Зато теперь у насъ товарки — земля ими красуется, и союзъ держится. Нашъ братъ если хорошъ, — ему полцѣны, ну, а хо-

рошая женщина, — подумаешь о ней, — слезы навертываются. Кажется, охранялъ бы ее такъ, чтобы пыль на ея душу не садилась... И мы всѣ чище съ нею: страшно въ ея ясныхъ глазахъ не то что упрекъ, а недоумѣніе прочесть. Другой бы раскорячился, да и пошелъ языкомъ вертѣть, а тутъ нѣтъ. Ставь лапы въ третью позицію и принимай благородный видъ. Есть такія, что оживляющей грозой прошли и воздухъ освѣжили, и все кругомъ расцвѣло отъ ихъ присутствія. Да, теперь работается отлично. Еще годъ-два, — и пріѣзжайте къ намъ учиться въ колонію „Новая Москва“. Мы и сейчасъ на ногахъ, но тогда пойдемъ полнымъ ходомъ. Ты спросишь: откуда это названіе? Кажется, у меня, у Ваньки - Встаньки, славянофильскихъ рычаговъ не было? И дѣйствительно, тутъ я не при чемъ, — это все нашъ русскій патріотъ Гиршъ. Только и мечтаетъ, какъ бы кислыхъ щей да боярскаго квасу добиться, а то совсѣмъ дома. На капустѣ настоялъ, — и мы ее посадили было, да она, подлая, здѣсь въ деревья пухнетъ. Дѣйствительно, развернешь листья, — не затесался ли туда младенецъ. Гиршъ у насъ — староста, и все пускалъ въ ходъ, чтобы хоть на крыльцо костромскихъ пѣтушковъ, прилѣпить. Но мы это отстояли, и теперь я дразню его: для полноты сходствомъ съ любезнѣйшимъ отечествомъ нашимъ слѣдовало бы маленькій погромчикъ устроить и съ него перваго начать. А на это онъ мнѣ весьма основательно и даже не безъ сожалѣнія: „А гдѣ же ты настоящихъ босяковъ и громилъ найдешь? Развѣ спеціально выпишешь изъ Одессы? Такъ вѣдь не отдадутъ: тамъ они тоже нужны. Кто же безъ нихъ будетъ требуемый русскій духъ въ надлежащей густотѣ держать?“

Пишу я тебѣ — теперь уже ночь — днемъ-то не-

когда у насъ: поспѣваютъ персики и миндаль желтѣетъ, да и овецъ мы третьяго дня начали стричь. Въ открытое окно, точно дразнитъ меня, — колышется вѣтка съ цвѣтами. И цвѣты, братъ, не наши, — не блѣдная улыбка сѣвера. Будто бабочки налетѣли на листья и трепещутъ большими яркими крыльями. Чего-де ты въ четырехъ стѣнахъ сидишь, — выползай подъ вѣчныя звѣзды, жалкая Божья тварь! Въ вершинахъ деревьевъ вѣтерокъ разбирается, — каждый сучокъ пересмотритъ, встряхиваетъ. Добрая хозяйка! И шелестъ отъ него такой съ журчаніемъ рѣчонки и говоромъ нашего фонтана, — не наслушаешься. Вспомнишь старую нашу быль подневольную, и дико станетъ: да неужели это вправду тянулось когда-то и теперь тянется у васъ? Сидятъ въ клѣткахъ печальныя птицы и стонутъ: „Ахъ, какъ тяжко, ахъ, какъ нудно!“ А дверцы открыты, — вылетай на свободу, вѣдь цѣлы у тебя крылья, да и маховыя перья въ исправности. Поставь хвостъ рулемъ, вытяни лапки — и смѣло въ недосягаемую высь. Тамъ, въ яркомъ свѣтѣ, въ синевѣ неоглядной, охотника да кречета боишься? И, дуракъ, самъ сдѣлайся голубемъ для голубя, охотникомъ на охотника и кречетомъ на всякаго хищнаго кобчика! Авось, ему не повадно будетъ проклевывать тебѣ голову да пороть животы стальными когтями. „Ахъ, какъ тяжко, ахъ какъ нудно!...“ И не тяжко, и не нудно, а сами вы — слякоть постылая, гниль никчемная, неподвижная.

Ну, прощай пока.

Не хочу писать — миссъ Уокеръ зоветъ, наши идутъ соборнѣ за рѣку, въ синее царство многозвучной и многозвѣздной ночи.

XXII.

Какъ мы устроились?

Вотъ тебѣ всѣ наши шестнадцать томовъ свода съ кассаціонными поправками и министерскими инструкціями:

Что мы всѣ хозяева, ты это уже знаешь. Одинъ (Гиршъ) внесъ много, другой — мало. Рабочая плата каждому и каждой одинаковая. Предполагается, всякій трудится, какъ можетъ. Если ему не по силамъ подымать коряги, какъ мнѣ, — за это еще не резонъ его обдѣлять и обсчитывать. Придетъ пора, и его (вѣдь у каждаго есть) особенность понадобится, и я съ своей крючничьей силой спасую передъ нимъ. Итакъ, за работу — поровну, а изъ дохода (не смѣйся, братъ, — нынче нашими винами весь Маріенстонъ опивается: такія ему мадеры поставили, что глаза у почтенныхъ пьяницъ выкатываются и въ горлѣ скорпіоны заводятся!) — половину распредѣляемъ на паи, а другую опять поровну всѣмъ. Пайщики отъ своего отказались, мы выразили имъ всенародную благодарность, назвали отцами отечества (я предлагалъ Гиршу нацѣпить на хвостъ звѣзду гражданской признательности!) и ихъ долю въ неприкосновенный капиталъ „Новой Москвы“ обратили. Отъ физическихъ работъ у насъ освобождены товарищи: докторъ, онъ же и аптекарь, потомъ садовникъ, винодѣлъ и агрономъ — одно лицо тожъ, и Левинъ на должности Рубинштейна. Первый мѣсяцъ они и составляли собою, такъ сказать, если не бѣлоподкладочную, то бѣлоручную аристократію. Но первый возмутился докторъ: „Что жъ, чортъ васъ возьми, мнѣ дѣлать, если вы, дармоѣ-

ды этакіе, болѣть не согласны? Не для того же я въ „Новой Москвѣ“, чтобы маріенстонцевъ лѣчить, да и у тѣхъ больше не законные научные недуги въ ходу, а просто сплошное членовредительство. Не хочу я такъ, ставь и меня на работу“. Теперь отлично у насъ кукурузную часть ведетъ. „Я, — говоритъ, — дома, въ Бессарабіи, насмотрѣлся. Меня ничѣмъ не удивишь!“ А потомъ Рубинштейнъ обидѣлся: „Вы, — говоритъ, — только по вечерамъ меня слушаете, да и уши у васъ изъ сапожнаго товару. Жаль, что малые, — все бы дѣтскіе башмаки скроить можно было бы, — по парѣ съ каждаго“. Дѣло для него знакомо, — его папаша въ Бобруйскѣ сапожникъ. „Очень нужны вамъ фуги да сонаты! Давай и мнѣ дѣло“. Ну, намъ жалко его рукъ. Для клавишъ надобны. Какъ заскорузнутъ, — прощай, музыка. Мы его по дому. Онъ намъ теперь стѣны разрисовываетъ, и такихъ птицъ выдумываетъ, которыхъ на землѣ и не видалъ никто. Увѣряетъ, что на Марсѣ именно такія. Ему лучше знать. Онъ въ Москвѣ спиритизмомъ занимался. Самъ говоритъ: иначе въ консерваторіи съ голоду бы подохъ. Дальше всѣхъ въ бѣлоподкладочникахъ держался ученый агрономъ. Все съ презрѣніемъ смотрѣлъ на насъ и покрикивалъ да свои книжки читалъ. И вѣдь не объяснялъ, гдѣ, какъ и что, а сквозь зубы цѣдилъ. Ну, мы, чернь непросвѣщенная, молчали, — знали, что обколотится миляга. И вѣдь обошелся, да какъ! Идетъ съ косой впередъ всѣхъ и насъ коритъ „рухлядью“. Ну, разумѣется, теперь, когда плоды поспѣваютъ, онъ при настоящемъ своемъ дѣлѣ. А нальется и золотомъ загорится виноградъ, — мы и совсѣмъ не увидимъ товарища. Придумалъ что-то. „Я, — говоритъ, — шанхайскому коньяку, — на что ужъ василискъ, — кишки выворачиваетъ и обеззараживаетъ, потому что

не напитокъ, а прижиганіе! — носъ утру. По Калифорніи — только и будутъ требовать „красную головку — „Новая Москва“. А садъ у насъ прямо объяденіе. Сейчасъ такимъ духомъ пахнетъ, точно у моей бабушки вишневое варенье закипаетъ алою и бѣлою пѣною, и прямо въ носъ мнѣ бьетъ отъ него сладкій и пряный духъ.

Ты не думай, что у насъ варенья нѣтъ. Наши дамы недѣли черезъ три начнутъ заготовлять его. Фруктовъ и ягодъ столько, что мы и своего не съѣли въ прошломъ году и тысячи на двѣ долларовъ въ сторону продали. Жить можно... А чтобы твоя завидущая душа торпыхалась и сейчасъ меня ненавидѣла, то живопишу тебѣ: передо мной тарелка, и на ней такія произрастанія, отъ которыхъ даже и у слона, — на что звѣрь солидный! — слюнки потекутъ. А рядомъ — нашъ медъ, и такой у него духъ, точно кто-то рядомъ флаконъ съ „вера-віолетомъ“ пролилъ. Помнишь писаря Кукушкина, еще все корпуснымъ горничнымъ на гитарѣ „образованные романсы“ пѣлъ. Непремѣнно бы этимъ медомъ напомадился...

XXIII.

Ты не воображай, что мы все въ животъ да въ наживу.

У насъ принятъ шестичасовой рабочій день. Въ праздники — три часа. За послѣднее насъ не кори. Такъ рѣшилъ нашъ единственный хозяинъ — большинство. Во-первыхъ, трудъ сообща и даже на здѣшней жарѣ — не всегда каторга, а часто и на-

слажденіе. Во-вторыхъ, праздниковъ, — признай ихъ, — столько, что и дѣвать себя некуда. У насъ такихъ три: Новый годъ, 1-е мая и день основанія нашей колоніи. Въ эти работа запрещена! Праздники намъ помогаютъ еще и въ томъ отношеніи, что уравниваютъ наше соперничество съ сосѣдними плантаціями. Тамъ девяти и десятичасовой трудъ, — но, разумѣется, куда же утомленнымъ и нанятымъ людямъ перебѣжать насъ. Не будь праздниковъ у нихъ, они бы, пожалуй насъ смяли! Вышло бы, какъ древле: евреи чтятъ субботу, еже святити ее, а филистимляне бьютъ ихъ въ это время. И Израиль по необходимости долженъ былъ отмѣнить ее въ цѣляхъ военной защиты. А ты думаешь, что здѣшняя конкуренція не та же война? Да и притомъ три часа — и срокъ-то какой? Только-только разойдешься и прелесть жизни почувствуешь. А потомъ выкупался, переодѣлся и изображай изъ себя господина въ воскресный день. Берешь сейчасъ пластронъ, шляпу и представляешь себя неистовымъ красавцемъ! Въ году бываютъ нѣсколько такихъ случаевъ, когда по общему согласію шесть часовъ растягиваются въ двѣнадцать. При сушкѣ сѣна передъ дождями и свозкѣ его въ сараи, при сборѣ винограда, при жатвѣ... Ну, это не въ зачетъ. Пока еще на такое распредѣленіе никто не жаловался, и намъ времени хватаетъ на все. Такъ вотъ я возвращаюсь къ тому, съ чего началъ письмо: не воображай, что мы все въ животъ да въ наживу. У насъ прекрасная, по здѣшнимъ мѣстамъ лучшая, библіотека на трехъ языкахъ, кромѣ русскаго. Въ читальнѣ — газеты англійскія, нѣмецкія, французскія, — о нашихъ я не говорю. Онѣ полностью. Каждый изъ насъ выбираетъ предметъ, который его интересуетъ, и обязанъ, хотя разъ въ недѣлю, обо всемъ имъ прочитанномъ въ

этомъ отношенiи сдать публичную лекцiю. Какъ можетъ! Ни отъ кого не требуется, чтобы онъ былъ Златоустомъ, но грамотно, ясно и понятно должны говорить всѣ. Рубинштейнъ, напримѣръ, повѣствуетъ намъ исторiю музыки, разноситъ впухъ и прахъ старыхъ итальянскихъ мастеровъ, иллюстрируя это все тутъ же на клавишахъ. Нѣтъ бога, кромѣ Вагнера, и Рубинштейнъ пророкъ его. „И не будутъ тебѣ бози, кромѣ Вагнера, и пророцы, кромѣ мене". Гиршъ (и откуда у него это, не отъ паровоза же, въ самомъ дѣлѣ) излюбилъ исторiю древности и всѣхъ Рампсинистовъ сдѣлалъ нашими ближайшими друзьями. Миссъ Уокеръ увлеклась тоже этимъ. Вчера она начала намъ „Американскiе частные союзы и ихъ роль въ государственной дѣятельности". Не министръ? А? Но кто насъ утѣшаетъ въ этомъ отношенiи, — наши дамы. И не ожидалъ я, что въ каждую изъ нихъ спрятался Плевако. Ну, если не въ каждую (дѣлаю уступку твоей насмѣшливой улыбкѣ, то въ нѣкоторыхъ. Почти все это идетъ великолѣпно. Я лишенъ права свободнаго выбора. Мнѣ „волей народа" приходится заниматься сначала географiей и этнографiей Россiи, а потомъ всего мiра. (Мальтбрюнъ и Элизе Реклю, — выручайте, голубчики!) Если бы ты видѣлъ, какъ я самоувѣренно выхожу къ лекторскому столу. Помнишь Александра Дмитрiевича Градовскаго? Но куда ему! Между нами, — у меня плагiатъ во-всю. Кого только я не обобралъ, — и твоихъ лопарей, будь спокоенъ... Прямо валялъ главами изъ твоего „Океана". А теперь, братъ намъ придется расширить нашу „дѣятельность". Вонъ какъ выучился выражаться. Знай нашихъ! Изъ Марiенстона, гдѣ прослышали о лекцiяхъ въ „Новой Москвѣ", къ намъ явилась депутацiя. Просятъ хоть два раза въ мѣсяцъ читать для нихъ по-англiйски.

Обѣщаютъ для этого по сосѣдству выстроить намъ большую залу: „Концерты и чтенія „Новой Москвы“. Что, братъ?! Удалось нашему теленку да волка слопать?! Надъ самой Ріо-Гранде! Разумѣется, съ правомъ и ихъ пасторамъ просвѣщать аудиторію. Понятно, мы не отказались. И знаешь, что больше всего имъ понравилось, — моя этнографія и древности Гирша. Видѣлъ бы ты Гирша!

— Никогда не думалъ, чтобы во мнѣ пропадалъ великій профессоръ!

Дешевле онъ не согласенъ. Что съ нимъ сдѣлаешь!

— Если бы я при этомъ грамотно умѣлъ писать по-русски! — вздыхалъ онъ.

Я, впрочемъ, занялся имъ, и если изъ подлеца Кисляя сдѣлалъ математика, такъ ужъ вдолблю, какъ гвоздь въ стѣну, — грамматику и синтаксисъ въ башку Гиршу.

И вотъ еще что: прикупаемъ по сосѣдству земли и зовемъ изъ Нью-Йорка русскихъ.

Пускай устраиваютъ такія же колоніи, а мы поможемъ!

Рука руку моетъ и обѣ чисты... Изо всѣхъ русскихъ пословицъ — это самая умная.

По праздникамъ, кромѣ лекцій и концертовъ, у насъ балы grand-gala, — не шути съ новомосковцами! Гиршъ, въ качествѣ неистоваго денди (на паровозѣ утончился!), предложилъ сдѣлать обязательными хотя бы смокинги, да мы отстояли честь сѣрыхъ и бѣлыхъ разлетаекъ и кургузокъ. А то бы отъ этой жары совсѣмъ взбѣситься!

Погоди, — свою газету, да еще какую, взобьемъ! Покажемъ мы вамъ, кошкинымъ дѣтямъ, какъ у насъ въ Америкѣ хорошіе люди по-настоящему живутъ.

Пріидете и поклонитесь намъ. Не даромъ Гиршъ грозится:

— Ты только меня „ятямъ" да запятымъ обучи, а это ужъ мое дѣло будетъ Маркомъ Твэномъ стать. Потому „ять"-то самое трудное. А талантъ что, — на талантъ наплевать, его сколько угодно.

Я было его за это вверхъ ногами хотѣлъ да поболтать... Такъ вѣдь онъ меня чѣмъ ушибъ:

— А наша „Новая Москва" не геніальна? А? А кто ее, эту колонію, выдумалъ, — я да ты.

Ну, если и меня въ геніи, такъ я ужъ протестовать не стану.

Вполнѣ согласенъ. Отчего же мнѣ не быть геніемъ, — такъ же сморкаюсь, какъ и Шекспиръ.

XXIV.

И потѣха!

Пріѣзжалъ сюда папа Уокеръ. Элли не торопилась домой, — онъ, по свойственному ему свинству, сѣлъ на поѣздъ — и къ намъ, не предупреждая. Только что мы вышли на работу. Жара во всю,—воспользовались утреннею прохладой. Калифорнійскія Альпы еще въ синемъ туманѣ плавали. Только вершины, будто выхватили изъ тигля, раскаленными утесами жгли блѣдное съ потухавшими звѣздами небо. Птицы уже начинали свою болтовню. Вѣдь каждая знаетъ, что солнце сейчасъ подымется, — нѣтъ, оретъ во-всю, точно она одна объ этомъ догадалась, и не только догадалась, но и солнце выдумала. Надъ Ріо-Гранде стоялъ туманъ. На листву и цвѣты садилась роса.

И только что миссъ Элли раззудилась (мы наши косы здѣсь примѣнили, и она отлично съ ними справляется) да какъ взмахнетъ, а передъ ней, вмѣсто травы — самъ великій свиноводъ. Разинувъ глаза, — себѣ не вѣритъ.

— Здравствуй, отецъ!

Оглядываетъ, видитъ: и мы идемъ въ шеренгу. И только и слышно отъ нашихъ косъ: шрръ-шрръ. Развѣ которая зазвенитъ отъ неловкаго размаха. Красиво это въ чуткомъ утреннемъ воздухѣ выходитъ. А высокія травы такъ и ложатся покорными и тяжелыми рядами. (Наканунѣ мы съ кукурузою пошабашили, — Гиршъ загодя облизывается: „То-то у насъ мамалыга будетъ!"). Видитъ папа Уокеръ: и другія наши дамы съ нами. Да потомъ вдругъ, — точно съ ума сошелъ, — швырнулъ кожаную лакированную шляпу ко всѣмъ чертямъ да какъ затопчется въ землю. Руки въ бокъ, а каблуки такъ и жарятъ джигъ, что ли! А потомъ, не обращая вниманія на дочь, прямо ко мнѣ, — и давай обнимать. Ну, думаю, спятилъ милліонеръ.

А онъ вдругъ: „Мистеръ Станки (во что на американской почвѣ переродился хохлацкій Встанька), это я вамъ обязанъ. Вѣдь изъ Нью-Йорка умирающей уѣхала. А теперь вотъ... Не ожидалъ... Да я самъ теперь могу опять ковбоемъ сдѣлаться. Она у меня молодецъ-молодцомъ. Вотъ если бы тебя, Элли наши съ Бродвея увидѣли, а? Жаль, моментальной фотографіи нѣтъ! Миссъ Гендерхорнъ въ обморокъ бы упала... Ну, Элли, лучшаго подарка ты мнѣ сдѣлать не могла. Человѣкомъ стала. Теперь и ты меня поймешь, и мы ближе другъ къ другу будемъ".

А миссъ Уокеръ улыбается, и, видимо, вся счастлива, — такъ и лучатся радостью глаза.

— Ступай въ домъ, отецъ, и не мѣшай... Сейчасъ у насъ работа идетъ. За завтракомъ поговоримъ.

— Такой я дуракъ, чтобы домой уйти, какъ же... Я на васъ полюбуюсь. А главное, — на этого чистильщика сапогъ. Писали мнѣ отсюда, — только я не вѣрилъ, — каковъ, а!

На меня киваетъ.

— Настоящій американецъ, настоящій: какое дѣло обладилъ!..

И такъ мнѣ руки сжалъ, что я его, если бы не торжественность свиданія, послалъ бы туда, куда ему, навѣрное, вовсе не хочется.

Потомъ сѣлъ на землю.

— А вы работайте!

Запалилъ трубку, и наплевать ему на то, что роса подъ нимъ! Пьетъ воздухъ этотъ, отъ знакомыхъ ему по далекой молодости очертаній горъ оторваться не можетъ.

И зазвенѣли косы. Скоро онъ одинъ позади остался. А тутъ подошли другіе, начали собирать скошенныя наканунѣ травы. Увязывать ихъ въ снопы, укладывать. Кто-то запѣлъ. Пѣсня отъ одного къ другому, какъ огонекъ по навощенному шнурку... Такъ и залетала въ сизой прохладѣ. Птицы и тѣ раззадорились: мы-де лучше можемъ, еще громче, давай. Такіе „благіе маты“ у пернатыхъ подлянокъ оказались: куда нашимъ курскимъ соловьямъ.

За завтракомъ Уокеръ объявилъ:

— Никогда такъ себя хорошо не чувствовалъ.

А какъ мы дали ему нашего коньяку на скорпіонахъ, — онъ вдругъ одушевился и предлагаетъ:

— Вотъ что: принимайте меня въ артель, въ товарищи. Я вамъ на раззаводъ полмилліона жертвую. Вы всю округу подъ себя уберете.

Никакъ Англо-саксонская буржуйная душа понять не могла, что мы совсѣмъ здѣсь не затѣмъ и его милліоны никому не надобны. Таращится: „Какъ это, — что бы деньги и вдругъ не нужны“... А потомъ успокоился и утѣшился:

— И умные люди дураками бываютъ!

XXV.

Люблю я съ лутами оборачиваться Только на этой работѣ и утомишь себя, какъ слѣдуетъ. И размахъ рукамъ настоящій и стройность, — всѣ въ линію идутъ, точно у насъ въ корпусѣ на ученіяхъ. Помнишь, разсыпнымъ строемъ въ атаку: „Солдаты храбрые, впередъ, — дирекція направо“. А даль передъ тобой безъ конца, змѣится по ней наша Ріо-Гранде. Эта „Гранде“ коню по колѣно сейчасъ! А за Ріо-Гранде въ утреннемъ туманѣ сады и рощи мерещатся. Травою пахнетъ, цвѣтами. Точно, умирая, они исходятъ ароматомъ. Есть тутъ одна, въ родѣ нашего канупера. Я ее нарочно собираю и пучками вѣшаю у себя въ комнатѣ. По ночамъ съ нею такъ хорошо дышится, точно не бревенчатыя стѣны кругомъ,а сама прерія безъ конца, безъ краю, и надъ тобою не потолокъ досчатый, — небо бездонное съ милліонами въ великой пустотѣ повѣшенныхъ свѣтильниковъ. Солнце подымется и все засверкаетъ кругомъ. Каждая росинка, отражая его, дѣлается драгоцѣннымъ камнемъ и лучится такъ, что сердце въ груди играть начинаетъ. Скажу тебѣ: и работа! Весь бы свѣтъ скосилъ, кажется. Рука во-всю, коса такъ и блещетъ, звеня, а въ спину

точно толкаетъ кто-то: впередъ, впередъ! Когда заноетъ плечо и остановишься поневолѣ да оглянешься, — а тамъ ужъ, Богъ знаетъ, сколько волнистыхъ линiй побѣжденной травы. И птицы же въ ней! Звѣря! Чуть не изъ-подъ самыхъ косъ вывертываются жирные перепела (по вечерамъ они точно въ окна стучатся со своимъ: „Спать пора, спать пора!")ракетами взвиваются жаворонки, тяжело и грузно бѣгутъ „дадли" — по-здѣшнему, у насъ такихъ дома нѣтъ... А вдогонку, прижавъ уши, сигаютъ зайцы, полевики разметываются во всѣ стороны, точно на нихъ огнемъ брызнули, тушканчики, суслики. Чего-чего нѣтъ на этой благословенной глади!.. А какъ солнце подымется надъ калифорнiйскими горами и угаснутъ ихъ, еще часъ назадъ пламенные, алтари причудливыхъ вершинъ, — тутъ, братъ, начинается настоящая страда. Жаритъ такъ, что дамъ своихъ мы сейчасъ къ дому гонимъ. „У васъ и тамъ дѣло найдется", а мы, „грубая мужчина", въ собственномъ соку, какъ пулярки, варимся. Еще часа два такой работы, — увѣряю тебя, никто не потолстѣетъ, хоть ѣдимъ мы здѣсь, — дай Богъ каждому, кто въ Аллаха вѣруетъ! Идешь потомъ да прямо въ рѣку бухъ и валяешься въ ней, будто пансiонеръ дяди Уокера. Каждая струйка, пробѣгая мимо, нѣжно цѣлуетъ тебя и холодными пальчиками бѣгаетъ по всему намученному на зноѣ тѣлу. Выйдешь изъ этой ласки, и точно не работалъ. Скорѣй домой! Надо сбросить потное платье и привести себя въ порядокъ. А послѣ завтрака — часа два отдыха. Читаютъ, поютъ, играютъ. Кому угодно — лаунъ-теннисъ, футболъ. Все у насъ въ наличности. Такъ что даже дядя Уокеръ отвелъ меня какъ-то въ сторону, да и спрашиваетъ, а самъ, для вѣрности (такая у него манера!), за плечи держитъ:

— Какъ ты думаешь, сколько мнѣ лѣтъ?

— Пятьдесятъ съ хвостикомъ.

— Да, это въ Нью-Йоркѣ... А здѣсь?

И, видя мое недоумѣніе:

— Двадцать пять, чортъ тебя и меня возьми! Двадцать пять. Понимаешь, помолодѣлъ я здѣсь, и если бы не Элли, — сейчасъ бы опять женился, да боюсь, — она смѣяться будетъ.

А сегодня (къ концу приберегалъ) взялъ меня за руку, повелъ въ садъ.

— Мистеръ Станки, покажи мнѣ то мѣсто, гдѣ моя дочь разговаривала съ тобою, когда маріенстонскіе джентльмены хотѣли разнести васъ вдребезги.

А сама миссъ Уокеръ все это время и не намекала мнѣ на бывшую у насъ бесѣду по-душамъ. Даже еще какъ будто отодвинулась отъ меня. И „наединѣ“ начала избѣгать.

Я, разумѣется, притворился: ничего-де не понимаю, — о чемъ онъ это?

Ну, ужъ тутъ онъ встряхнулъ меня за шиворотъ.

— Ты мнѣ не показывай вашихъ дурацкихъ вывертовъ. **Я съ** тобою не въ прятки играю. Если спрашиваю, — значитъ, у меня есть кое-что на умѣ... Святымъ-то духомъ я узнать не могъ, — значитъ, мнѣ дочь все разсказала.

— Объ этомъ не у мужчинъ справляются...

— Это ты правильно... Вотъ съ такимъ разсужденіемъ и я согласенъ. Элли, эй, Элли!

И та точно ждала! Вышла... У насъ гранатники цвѣтутъ, — ну, такъ ея лицо совсѣмъ такое же сдѣлалось алое! И глаза въ сторону.

— Ты меня звалъ, отецъ?

— Нѣтъ, не я! Эти дѣвчонки ничего просто не желаютъ. Веди-ка меня на то мѣсто...

— Да вонъ... Скамейка.

А надъ нею — дерево. Сквозь солнцу никакъ не пробраться...

Цѣлымъ ковромъ астры, точно по зеленому бархату вышили ихъ сплошь нѣжными шелками.

— Хорошо тутъ... У васъ вездѣ хорошо... Ну, вотъ что, Станки... Мнѣ Элли сказала... И я лучшаго мужа ей не желаю. На тебя, какъ на утесъ, можно опереться. Ты настоящій... Такой же, какъ я когда-то былъ, только умнѣе. Еще бы, — сколько книгъ прочиталъ и не спятилъ... И на всякое дѣло и на всякую работу. Ужъ если съ тобой дѣвчонка не будетъ счастлива, такъ я ужъ и не знаю, какого ей рожна больше. Подайте руки другъ другу... Да скорѣе, а то я, чего добраго, старый волкъ, расплачусь... Вѣдь подъ такимъ же калифорнійскимъ солнцемъ я когда-то съ твоею матерью сошелся. И было у насъ такое счастье, — отъ воспоминанія и то задыхаешься. И вотъ что — одну заповѣдь я вамъ дамъ: живите такъ, чтобы оглядываясь вамъ ни за одно мгновеніе не было стыдно другъ передъ другомъ. А теперь: гипъ-гипъ, урра!

И опять лакированная шляпа вверхъ и ноги сами собою начинаютъ что-то въ родѣ джига.

Да вѣдь какъ заоралъ, — всѣ наши высыпали. Объяснять нечего было.

И такое у насъ началось, что я только сейчасъ понялъ столпотвореніе вавилонское, чего никакъ не могъ представить себѣ изъ разсказовъ нашего, помнишь, отца Горизонтова.

Когда придетъ твое поздравленіе, миссъ Элли Уокеръ будетъ уже леди Станки. Тутъ, братъ, всѣ леди! Не очень полыхайся, а то твои демократическіе потроха отъ этого титула, пожалуй, наизнанку вы-

вернутся.

Слушай: какой это дуракъ выдумалъ, что на свѣтѣ горе есть?..

Хорошо жить!...

Ты видѣлъ когда-нибудь плачущаго отъ радости бегемота? Нѣтъ? Ты думаешь, въ зоологіи подобныхъ примѣровъ нѣтъ? Жаль, не было подъ руками моментальной фотографіи, а то бы я тебѣ точное изображеніе папа Уокера прислалъ. Любуйся!

XXVI.

Письма изъ Америки приходили все рѣже и рѣже.

Вина была моя. Мнѣ пришлось надолго уѣзжать изъ Россіи. Они нагоняли меня за границей, и поэтому мой пріятель долго оставался безъ отвѣта. Нѣкоторыя и совсѣмъ пропали. Одни изъ нихъ, навѣрное, украсили коллекціи любознательныхъ Шпекиныхъ, другія застряли на границѣ, — не всегда же удобно даже и не особенно церемонному учрежденію посылать всѣмъ вскрытые конверты. Гораздо проще въ печку: „Гори, гори, письмо любви!“ Да и я самъ, надо сказать правду, сталъ очень беззаботенъ. Другія, яркія и горячія небеса разстилали надо мною бездонную синь. Русская дѣйствительность, убогая и блѣдная, отходила въ совсѣмъ незанимательныя потемки. Эпоха знаковъ препинаній, когда у насъ ко всему ставились точки, а то и многоточія, охватывала душу такою скукой, что не я одинъ уходилъ въ сплошное бродяжество. Богъ вѣсть, сколько за эти годы развелось

нашихъ не помнящихъ родства, Ивановъ-Здравствуй и Ивановъ-Прощай по всему міру. Въ туманахъ сѣвера, въ пустой и глупой жизни вѣчнаго приспособленія къ господствующей тоскѣ сердце совсѣмъ изболѣло. Всѣ чувствовали себя подъ гигантскою пятою, а изъ-за нея свѣта-то немного увидишь! Такъ эта непроглядь намъ обрыдла, что мы, какъ комары ночью, со всѣхъ сторонъ на чужіе огоньки кидались. До Ваньки ли Встаньки было! Мы знали, что тамъ, за океаномъ, дѣла идутъ отлично. Работа во-всю. „Новая Москва“ цвѣтетъ, и не только сама пухнетъ отъ благополучія, но и другимъ помогаетъ. Около образовалось ужъ нѣсколько поселковъ. Къ ней присосѣдились и латыши и эстонцы. Поляки локоть къ локтю стали съ нами. И дѣла и заботы прибавилось, но вѣдь ни отъ того ни отъ другой Станки, Гиршъ и К° не бѣгали. По временамъ мы узнавали и о другихъ чудесахъ. Такъ, напримѣръ, лѣтъ черезъ пять послѣ своей женитьбы на миссъ Уокеръ мистеръ Станки (не шутите, уже полноправный американецъ-гражданинъ!) собщалъ мнѣ нѣчто невѣроятное о колоніи, далеко отъ нихъ, чуть ли не на самомъ сѣверѣ Штатовъ, основанной бѣглыми изъ Сибири. Со свойственною ему стремительностью выраженій Иванъ Ѳедоровичъ писалъ мнѣ: „Ну, и дураки же человѣконенавистники! Какихъ только подлыхъ клише они не навыдумывали. А людская сердечная немочь имъ повѣрила. Помнишь нашего профессора уголовщины? Мы его за надутую важность и конусообразный черепъ Эльборусомъ звали. Тебя онъ, кажется, наградилъ единицей за излишнее разсужденіе, ибо въ его наукѣ все аксіомы, сомнѣнію не подлежащія. Я до сихъ поръ не могу забыть его бездарной, какъ кобыла, на которой палачи нѣкогда драли убійцъ, и злой, какъ

скорпіонъ, теоріи преступности человѣческой воли и необходимости устрашеній. Государственная мстительность была возведена имъ въ основной принципъ высочайшей справедливости, а смѣлость, всепрощеніе, вѣру въ людскую душу онъ называлъ рыхлымъ сентиментализмомъ и поэтическою дряблостью. Тюремщикъ сердцемъ и по случайности ученый, онъ даже о Торквемадѣ восклицалъ: „Великій Торквемада!" Отрицаніе инквизиціонныхъ трибуналовъ и слѣдственныхъ пытокъ приписывалъ еврейской интригѣ. Дома его била жена, снимая для этого туфлю, и послѣ такихъ семейныхъ рукоплесканій онъ особенно бывалъ жестокъ на каѳедрѣ. Помнишь, какъ онъ, явившись разъ съ громаднымъ синякомъ на щекѣ (туфли только что были подобраны новыми каблуками, — подлецъ-башмачникъ добросовѣстный товаръ поставилъ!), вопіялъ о необходимости воскресить для неистовыхъ женъ Нюренбергскую желѣзную „Юнгъ-Фрау" съ гвоздями внутри и костромъ снаружи... Ну, такъ я думаю, на-дняхъ ему въ аду здорово икалось! Ты знаешь, куда я ѣздилъ? Въ настоящую русскую „Утопію". Ничье воображеніе еще не создавало такой, и нужны же были сибирскіе каторжники, чтобы удивить міръ ею. Безжалостныя теоріи криминалистовъ и палачей мстительнаго идеала, — что отъ нихъ остается теперь? Вотъ бы и нашему рыцарю каинова клейма сюда. Какъ бы онъ изумился, узнавъ, что на бѣломъ свѣтѣ завелась небольшая община изъ убійцъ и конокрадовъ, и ею не нахвалятся сосѣди... Народъ суровый, мрачный, — все-таки прошлое игомъ лежитъ надъ воскреснувшей душою. Но работа, тамъ — куда нашей до нея! Благоустройство, чистота и такая, братъ, регламентація, что ни въ чемъ проштрафиться нельзя, не попавъ въ товарищескія ежовыя рукавицы. Не пьютъ вовсе. Былъ

одинъ, котораго на спиртный духъ „нутряной червь“ тянулъ. Община его изгнала безжалостно. По новости онъ для остальныхъ являлъ соблазнъ, нелегко преоборимый. Его и наказывали, били, но онъ не унимался. Выбросили за бортъ, и въ какихъ водахъ онъ утонулъ, — неизвѣстно. Американцы кругомъ, — тоже народъ въ той территоріи жесткій, — не нахвалятся сосѣдями, ихъ стойкостью, вѣрностью данному слову, взаимной помощью, честностью въ сношеніяхъ съ другими. Бѣглые и вопросъ о расахъ рѣшили по-своему. Кому не хватило русскихъ бабъ, взяли такихъ изъ индійскихъ вигвамовъ и поженились. Живутъ хорошо и дѣтей растятъ здоровыхъ, хоть цвѣтъ лица у тѣхъ все на красную мѣдь сходитъ, но силищей они и предпріимчивостью — Тебя Бога хвалимъ! Есть, пожалуй, и такіе, что степного бизона за хвостъ схватятъ, и если тотъ не рѣшится разстаться съ этимъ украшеніемъ, поневолѣ остановятъ. Богатыри! Нашихъ они къ себѣ пускаютъ неохотно. Слишкомъ ужъ мрачная старь закисла въ душѣ. Хоть и сломана была, да въ изломѣ ноетъ еще, назло годамъ не зажила!.. Мнѣ эта своеобразная коммуна напомнила какую-то аскетическую обитель, гдѣ люди забыли смѣхъ и улыбку. Что выростетъ изъ нея, — когда-нибудь узнаемъ, а о подробностяхъ я тебѣ отпишу потомъ... Пока только ясно одно: не такъ плохъ человѣкъ, какъ его рисуютъ кащеи безсмертные, и на однихъ злобѣ да устрашеніяхъ далеко не уѣдешь. Сибиряки даже между собою попа выбрали, и тотъ читаетъ имъ „общественныя“ молитвы. Пока на переселенцевъ нападали индійцы, нужно было оружіе. Ну, а послѣ этихъ брачныхъ союзовъ они съ недавними врагами живутъ по-родственному и пули берегутъ на звѣря. Рыбныя ловли у нихъ отличныя. Одинъ изъ Астрахани даже научилъ икру дѣлать, и та идетъ теперь въ Чика-

го и Санъ-Франциско. Живутъ, работаютъ и дѣлятся артелью“.

XXVII.

Другія небеса! Какъ они захватываютъ чуткую на красоту душу. Обласкаетъ тебя горячее солнце юга, и весь кошмаръ, вся темень сѣвера уходятъ куда-то. Живешь полною жизнью и думаешь, какъ могъ еще наканунѣ тонуть въ слякоти, дышать, промозглою мглою, слѣпнуть подъ вѣчными тучами, зябнуть въ безпощадномъ холодѣ. Отходятъ отмороженныя сердца, и смотришь — не прошло мѣсяца, ты свой между своими. Только въ долгія безсонныя ночи душа плачетъ по далекой иззябшей матери-родинѣ... А тутъ несравненныя декораціи старыхъ народовъ, гдѣ отъ каждаго камня вѣетъ поэзіей легендъ, наивною прелестью весенней любви, можетъ-быть, и сусальнымъ, но все-таки героизмомъ рыцарства. Величавые соборы, изумительные дворцы. Синія теплыя моря, развертывающія такое изумительное кружево бѣлой пѣны по золоту нагрѣтыхъ солнцемъ отмелей... Отдаленные берега за ними и тамъ кажущееся чужое счастье. До своихъ ли бѣдныхъ и скудныхъ былей лицомъ къ лицу съ этою осуществленною сказкой. Все, о чемъ читалось когда-то, длиннымъ свиткомъ картинъ и образовъ развертывается передъ тобою. Ключомъ бьетъ чужая свободная жизнь, не знающая ледяныхъ оковъ; какъ въ засуху настрадавшаяся земля, пьешь воскрешающіе соки неизсякаемаго зарубежья!.. Когда тутъ писать далекому старому другу, да, пожалуй, и не вспомнишь о немъ, благо ему живется хорошо, и судьбу, какъ не-

податливую орясину, согнулъ онъ въ подходящую ему дугу. Жалѣть его не зачѣмъ, завидовать ему — тоже. Вокругъ самого много хоть и чужой, но все-таки и тебѣ открытой радости. Даже не особенно любопытствовалъ, бывало, пробѣгалъ невнимательно его строки: „Нынче мы, братъ, начинаемъ у себя культуру хлопка“.... Ну, и начинай, сдѣлай одолженіе, а меня площадь св. Марка съ прокураціями, соборомъ и палаццо дожей ждетъ... Или: „Отвели мы теченіе Ріо-Гранде и роемъ прудъ, гдѣ бы намъ купаться было вольготно“... И рой, голубчикъ, а вотъ передо мной и безъ рытья лазурная гладь Адріатики на Лидо, мнѣ и рыть нечего. Купайся въ этомъ благословеніи небесномъ сколько влѣзетъ... А то вдругъ: „Вчера мы давали концертъ въ Маріенстонѣ. Нашего Рубинштейна вынесли на рукахъ“... Чѣмъ удовлетворяются! Я вонъ у Колонна въ Парижѣ вчера настоящаго Рубинштейна слышалъ, а завтра въ Grand-Opera теноръ будетъ такой, что всему твоему Маріенстону ни во снѣ увидать ни въ сказкѣ разсказать! И такъ шли не только мѣсяцы — годы тянулись. Дома, когда я возвращался, тоже начиналась иная эпоха. Точки и многоточія не очень-то напугали бодрыхъ, сильныхъ и смѣлыхъ. Прежде они по шею въ слякоти сидѣли, а тутъ откуда-то живыми вѣтрами повѣяло. Слякоть подсохла, и на ней вдругъ новыя поколѣнія оказались. И вышло: никакою муштрою человѣческую душу не убьешь. Какъ молодой дубъ... Пригни его къ землѣ, — корни наберутся въ ней силы и сквозь твою злую лапу ростками къ солнцу подымутся... Захочешь лапу отдернуть, анъ она такъ переплетена молодою могучей гущей, что на вѣки вѣковъ самъ ты къ землѣ ею пришитъ. Высоко надъ тобою поднялась сочная живая зелень, а ты изъ-подъ нея никуда. Лежи у корня грибомъ сырымъ до

первой палки, которой тебя, никчемнаго, разрыхлѣвшаго, слѣпого, съ корешка собьетъ, а чье-нибудь копыто расплющитъ твою глупую, червивую шляпку... Свѣтила человѣчества — маяки, указующіе во мракѣ далекіе берега, вершины, первые встрѣчающіе и послѣдніе провожающіе солнце, красота генія, ума и науки подъ руками. Слушаешь огнедышащія рѣчи, отъ которыхъ въ душѣ у самого подымается все, что спало, и вдругъ американскій гражданинъ Джонъ Станки живописуетъ тебѣ, что Гирша ему удалось всѣмъ „ятямъ" выучить и у нихъ сейчасъ лекціи уже сплошь по-англійски идутъ „великолѣпно". Меньше пятидесяти слушателей нѣтъ, и Рампсиниты давно смѣнились другими, столь же архаическими, династіями, а эти въ свою очередь, безчисленными средневѣковыми Оттонами, Генрихами и Леопольдами... Даже нѣкоторая великодушная снисходительность являлась: добрый малый Джонъ Станки, а все-таки куда ему, толсторылому , до Карловъ Фохтовъ, Мечниковыхъ, Масперо, Шарко, Пастеровъ, которыхъ я-то когда хочу, тогда и слушаю. А при вѣсти о томъ, что одолѣвшій, наконецъ, дебри грамматическихъ „ятей" Гиршъ будетъ два раза въ недѣлю издавать на русскомъ, польскомъ и англійскомъ языкахъ „Союзное Слово", я только пожалъ плечами. Стоило объ этомъ мелководьѣ думать!

XXVIII.

Еще нѣсколько лѣтъ прошло: у насъ и дома стало интересно. Мой старый товарищъ Ванька-Встанька — пожалуй, уже никого и не удивилъ бы. Такихъ, что

взялъ за хвостъ, размахнулся и швырнулъ, а они на всѣ четыре лапы и фыркаютъ отъ неожиданности, народилось не мало. Вотъ бы теперь у насъ Джону Станки, американскому гражданину, настоящимъ ходомъ впередъ ринуться. Да куда ему! Можетъ-быть, и отъ Уокера-отца осталась только могила на великолѣпномъ нью-йоркскомъ кладбищѣ. Милліоны-то всѣ въ горсти у Ивана Ѳедоровича. Не скоро съ такимъ багажомъ разъѣдешься. Къ землѣ тянетъ. И кого удавы своими кольцами не задушили — доллары живо къ одному общему буржуйному знаменателю приведутъ. Я думаю, мистеръ Джонъ Станки изъ „Новой Москвы" — если онъ тамъ еще — забылъ и думать о старой, гдѣ онъ когда-то, голодный и веселый, самого себя разыскивалъ съ оголтѣлымъ сыщикомъ. Поди, у него такихъ маляровъ, какимъ онъ былъ когда-то, не пересчитаешь. Да и тамъ ли онъ?.. Дворецъ-то съ малахитовыми свиньями на одной изъ нью-йоркскихъ авеню цѣлъ. Пожалуй, влѣзло туда наше отечественное чудище и думать забыло о далекой Россіи. И саломъ обросло и щетиной. Теперь сквозь и не прошибетъ его никакая русская пѣсня, и вдругъ — нежданное-негаданное. Сижу у себя въ Питерѣ и на сѣверное лѣто, съ его блѣдной зеленью, бѣлесымъ небомъ и газомъ вмѣсто воздуха, радуюсь — почтальонъ ко мнѣ. Смотрю — марка съ Рузвельтомъ и характерный Ванькинъ почеркъ, точно онъ стальнымъ перомъ непремѣнно бумагу продрать хочетъ, обидѣла она его чѣмъ-то! Раскрываю — и такъ на меня и повѣяло старою молодой былью. Угадалъ меня. Такъ и начинается: „Нѣтъ, братъ, врешь, ты мою душу милліономъ не купишь — себѣ дороже! И Элли такая же, какъ и я, не очень-то ее Торвальдсены да Мурильо отечественнаго (читай родительскаго — все въ геральдическомъ смыслѣ почтеннѣе... Могутъ по-

думать, что покойный Уокеръ не самъ былъ своимъ предкомъ, а насчитываетъ ихъ добрую сотню до Авгіаса, конюшни котораго и свиные хлѣвы чистилъ Геркулесъ!) палаццо занимаютъ. Мы въ этихъ хоромахъ устроили пріютъ для эмигрантовъ, а что было хорошаго изъ картинъ и статуй (олеографіи и младенцы съ завернувшимися щеками благополучно въ подвалъ сложены!) перевезли въ „Новую Москву", въ нашу общественную залу. Ты меня забылъ, и мнѣ на тебя начхать: силой милъ не будешь, я бы и не писалъ тебѣ, невѣжѣ (опять скобки — не отвѣчать на письмо все равно, что протянутую руку не пожать), да ужъ очень утѣшила меня вѣстями о нашемъ кружкѣ нѣкая Татьяна Аникѣева. Она говоритъ, будете ему писать,— обо мнѣ напомните: „Воробьиное яйцо". Сейчасъ поймутъ, въ чемъ дѣло. Вотъ, братъ, алмазъ чистѣйшей воды! Я о ней давно слышу. Она у здѣшнихъ духоборовъ — прямо-таки душа. И школа у нея, да и другого дѣла до пропасти. А она ничего не боится и ни отъ какой работы не прочь. Смотрю я на нее и въ горделивомъ помѣшательствѣ думаю: совсѣмъ я, только что она хилая. Знаешь, такія „fausse maigre" есть. Посмотришь, еле-еле душа въ тѣлѣ, а она, какъ ниточка сыръ, всякаго пополамъ перерѣжетъ, а жалѣвшаго ее вчера ассирійскаго быка сегодня на кладбище провожаетъ. Онъ-то, семипудовая дубина, кикнулъ, а она, пигалица, прыгъ-прыгъ съ вѣтки на вѣтку, чиликъ-чиликъ, — преблагополучно живетъ. Сошлись мы всѣ съ ней — вотъ какъ! По душамъ. А моя жена забрала ее къ себѣ въ спальню, чтобы и ночью не разставаться. Ужъ очень ей „воробьиное яйцо" (твое дурацкое сравненіе) по сердцу пришлось. „Я, — говоритъ, — всякихъ русскихъ женщинъ видѣла, а такой нѣтъ!" Она съ подростками совершаетъ обычное здѣсь

путешествіе по Сѣвернымъ Штатамъ. Свою Канаду объѣхала въ прошломъ году, а въ этомъ — къ югу и попутно завернула, своя къ своимъ, т.-е. къ намъ въ „Новую Москву“. Если бы ты видѣлъ, какъ у нея глаза сіяютъ, когда она знакомится съ нашимъ дѣломъ. И намъ радостно. Значитъ, въ самомъ дѣлѣ хорошо, русскій теленокъ, да волка съѣлъ, ежели такія Аникѣевы въ нашу „Новую Москву“ съ союзными колоніями влюбляются. А какой у нея Митька растетъ. Вотъ, братъ, богатырь и ничѣмъ его не ушибешь. Чуть что не по его „убѣжденіямъ“ (каковъ клопъ? А?), онъ зубъ за зубъ и ни за что не уступитъ. Не очень-то за него схватишься. Какъ бы не наколоться! И учится, да и по-американски на футболѣ, въ лаунъ-теннисъ, — хоть сейчасъ ему на голую грудь медали вѣшай, первый чемпіонъ. Я съ нимъ схватился было и одолѣлъ, но не скоро. При чемъ онъ утѣшился: въ слѣдующій разъ, когда мы увидимся, я васъ въ швейцарской борьбѣ на оба плеча уложу. Каковъ! Россію знаетъ вотъ какъ и только и ждетъ своего термину, чтобы ей послужить. „Что здѣсь! Въ Америкѣ, я не нуженъ. Здѣсь такими хоть прудъ пруди, а дома — и мои руки понадобятся“... Посмотрѣлъ я на „воробьиное яйцо“. Сіяетъ, значитъ, одобряетъ Митькину неустрашимость. „Ну, — думаю, — если мать ничего противъ якутовъ не имѣетъ, чего мнѣ съ суконнымъ рыломъ соваться!“

XXIX.

Только что вернулся изъ Манджуріи.

Нервы были разбиты. Весь подъ впечатлѣніемъ

безпримѣрнаго разгрома, — я еще не пришелъ въ себя и не могъ разобраться въ наканунѣ пережитыхъ впечатлѣніяхъ. На Россію нашла грозовая туча, и мнѣ казалось, что изъ-подъ ея громовъ и молній не выбраться, такъ отъ края и до края оболокла несчастную страну. А снизу въ отвѣтъ глубоко оскорбленному народному чувству всколыхались до сихъ поръ спавшія стихіи. Сколько мы ни всматривались кругомъ, никакъ не угадывали, откуда этому хаосу грянетъ властно творческое: да будетъ свѣтъ! Потомъ уже возобновилась титаническая борьба, а пока все кругомъ было пришиблено, оцѣпенѣло. Казалось, созидательные источники изсякли и земля точитъ гной глубокихъ ранъ. Въ одинъ изъ такихъ отвратительныхъ дней я сидѣлъ у себя. Не хотѣлось никого видѣть. Мерещились поля оставленныхъ битвъ съ грудами труповъ у подбитыхъ орудій, въ грязи траншей, съ лужами крови на желтыхъ поляхъ, съ сожженными деревнями, точно показывавшими безстрастному холодному небу головни своихъ фанзъ и обгорѣлыя кумирни...

Слѣпо бѣжали куда-то люди въ синихъ курмахъ, и по всему этому простору неистово грохотали еще уцѣлѣвшія пушки, съ визгомъ проносились и лопались въ высотѣ шрапнели, оглушительно разрывались, посылая кругомъ громадные осколки, металлически стонавшія шимозы... Ревъ атаки, топотъ убѣгающихъ коней, сотни повозокъ съ ранеными и уходящіе къ Харбину десятки, сотни поѣздовъ съ такими же умирающими... Сознаніе только что совершившейся на глазахъ великой неправды дразнило воображеніе безчисленными призраками...

За окнами было скверно.

Въ сѣромъ туманѣ тонули улицы съ едва намѣченными мокрыми домами. Ноги усталыхъ коней мѣ-

сили на мостовой вонючую слякоть. Люди ходили какъ видѣнія, рождавшіяся и исчезавшія во мглѣ. Насквозь пронимало влажнымъ холодомъ... Ингерманландскія болота будто враждебную рать сдвигали вокругъ громаднаго города — тифъ, лихорадки, горячки, скарлатины, дифтериты, инфлуенцы. И, точно, навстрѣчу имъ, тянулись къ многочисленнымъ кладбищамъ безконечныя похоронныя процессіи, несли и везли гроба, и самая мысль о смерти уже не пугала. Казалась освобожденіемъ отъ всего этого ужаса кругомъ.

Начало смеркаться. Въ прихожей позвонили...

Я только что хотѣлъ приказать: „не принимайте, меня нѣтъ дома", какъ рядомъ раздались увѣренные, рѣшительные шаги.

— Узналъ?..

— Вернулся?..Встанька... Ты!

— Развѣ я не писалъ тебѣ: Ванька-Встанька вернется, когда понадобится дома!

Мы обнялись. Такой же широкоплечій, короткій, сильный... Только въ густыхъ волосахъ бѣлыя пряди, да бородой всего обнесло, и она въ серебряныхъниткахъ... Господи! Какъ на меня пахнуло молодостью, ея простымъ и подчасъ глупымъ счастьемъ, радостью впроголодь и вѣрою въ такихъ потемкахъ, когда самый свѣтъ является ложью, сказкой... Когда я держалъ его руки, мнѣ показалось, что мы опять юные, мощные, безъ оглядки идемъ въ радужную даль, прямо къ ея ослѣпительному солнцу.

— Вернулся... Вернулся... — только и повторялъ я.

— Славное время у насъ скоро будетъ!

— Откуда ты это? Какое время?

— Ослѣпли вы, не видите. Намъ со стороны яснѣе. Смотри, какъ глупая евангельская дѣва — проспишь... Ну, вотъ.. И я понадобился... И мнѣ черезъ океанъ

родина крикнула: скорѣй, назадъ... Бросилъ все...

— А жена?

— Со мной. Сегодня за обѣдомъ я тебя съ ней познакомлю. И въ бурю и въ вёдро — надежный товарищъ. Въ бѣдѣ и въ счастьѣ. Деньги будутъ нужны — деньги есть, силу захочешь — будетъ. Я вѣдь жизни нисколько не поддался. Не смокъ. Каковъ былъ, таковъ и сейчасъ... Хоть завтра подъ чердакъ на перекладину, стѣны красить! Только теперь мы пригодимся для другого дѣла. Читали мы тебя... Знаю, сколько у тебя на душѣ насолилось тоски... Ну, да совладаешь и поймешь: наступаетъ настоящее великое счастье. Черезъ тысячу лѣтъ намъ будутъ завидовать, что мы жили въ такіе великіе дни.

И точно туча подъ вихремъ сплыло отчаяніе.

И когда вечеромъ мы сидѣли съ нимъ, рука за руку, вся жизнь пріобрѣтала въ нашихъ глазахъ особое значеніе.

— А ты знаешь, кто еще сюда ѣдетъ?

— Ну?

— „Воробьиное яйцо". Я теперь, говоритъ, дома нужнѣе, а въ Канадѣ и безъ меня справятся! И Митьку съ собой везетъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

